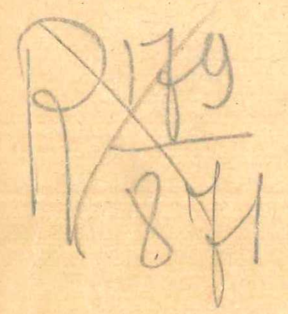
С. Я. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ



„ПРИБОЙ"

С. Я. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

ЗА 50 ЛЕТ



19 • ПРИБОЙ • 29

Обложка работы
А. ЛЕО

Ленинградскй Областлит № 28305.
25 л. Тираж 4000. (X. 20. 12572/Пр.)

I

ВОСПОМИНАНИЯ

Тема предлагаемых воспоминаний — пережитое за 50 лет взрослой жизни — я поступил в университет в 1872 г. — быт, общественная атмосфера, люди и события.

Пятьдесят лет назад в нравах, в общественных настроениях живо было еще прошлое, дореформенное, и на моих глазах входило в жизнь новое, боровшееся против старого, отживавшего. Воспоминания об этом старом, отмиравшем и о новом, входившем в жизнь, встречи с людьми старого уклада, цепко державшимися за давнее, с людьми, входившими в жизнь с дерзновенными планами перестройки жизни — таково содержание предлагаемых воспоминаний.

И моя личная жизнь, поскольку она переплеталась со старым и новым, с людьми и событиями, со всем тем, с чем сталкивала меня жизнь.

КРЕСТЬЯНСТВО

В 1878-м году я окончил Московский университет и тотчас же поступил земским врачом в Скопинский уезд, Рязанской губ. Мест было сколько угодно. Мой курс и предшествовавший были целиком взяты на войну (тогдашняя Турецкая кампания), и мы только трое с нашего курса не были взяты на военную службу, поэтому нужда во врачах была большая.

Выбрал я эту черноземную полосу, потому что искал именно ее. В моих родных владимирских местах мне не хотелось устраиваться. Все я там знал; в селе, где я вырос и с которым долго

был связан, я знал не только каждый двор, каждого крестьянина, но знал, чья телка, чей жеребенок. Мне хотелось нового, незнакомого. И народ там был не тот, который тянул к себе нас, семидесятников, не тот, казалось мне, нуждающийся и страдающий, которому нужны мы.

В среднем, крестьянство моих родных мест было зажиточным, крепостного права не знало, — мы приписаны к царским конюшням — говорили крестьяне, были хорошие заработки на месте, выгодные плотничьи и столярные промысла в Москве. Когда мы, студенты, приезжали домой на каникулы и заводили с нашими отцами горячие споры о народе, о бедности его, о необходимости отобрать землю крестьянам, старшие не раз побивали нас, указывая, что и наделы у крестьян достаточны и земли кругом сколько угодно, сдается она ни по чем, а крестьяне все-таки не берут ее, потому что достаточно своей земли, что они больше и легче зарабатывают в Москве своим плотничанием, что мы зря суемся к народу с нашими советами и помощью и всем тем, что мы вычитали в книжках. И мне казалось, что я нашему крестьянству не так уж нужен и что там, в других местах, про которые мы слышали и читали, больше нужды во мне, как враче, и в наших советах о новом устройстве крестьянской жизни.

Я нашел, что искал, и встретил даже больше того, что ждал. Действительность оказалась более жестока, более страшна, чем то, что вычитывали мы в книжках, о чем говорилось на наших молодых собраниях. За десятки лет моих скитаний по России я видал всякое крестьянство, но такого бедного, такого придавленного и беспомощного не видал нигде.

Помню мое первое впечатление от крестьянской избы в селе Милославском, где помещался мой земский пункт. Низенькая изба, как гриб, покрытая огромной шапкой старой перегнившей соломы, топилась «по-черному». Дымом полна была верхняя половина избы под черным от сажи потолком, и нужно было нагибать голову, чтобы дым не слепил глаза. Между порогом

и печью стояла огромная лохань, и при мне ввели в избу корову кормить ее из лохани, а под лавкой помещались молоденькие ягнята, только-что родившийся теленок. И мой фельдшер, Антон Андрианович, всегда отдавал коптить окорока в эти избы, уверяя, что свинина там коптится еще лучше, чем в городских коптильнях.

По утрам дымился жалкий дымок над соломенными крышами, а к весне и дымки становились редки. Нечем было топить и нечего было стряпать: из пяти — шести изб сносили в одну горшечки с кашей для ребят, а взрослые ели только хлеб, запивая его водой — квас варили в редких избах. Молоко шло только для ребят. Считался зажиточным тот двор, где своего хлеба хватало до великого поста, большинство с зимнего Николы, с рождества начинали прикупать хлеб.

Округа бунтовала во время объявления воли, не приняла землю и вышла на «нищенский» надел, по четверти десятины на душу. Кругом залегали помещичьи земли, и бились люди, как в паутине, и нельзя было не снимать помещичьей земли, не отрабатывать за выгон для своего скудного скота.

Крепостное право исчезло, но оно жило в правах, во взаимоотношениях. Осенью, когда крестьяне разбирали земли на следующий год, управляющие помещичьих имений — помещики уже тогда редко сами вели хозяйство — сдавали землю в аренду только под условием обработки известной доли помещичьей земли и при этом не спрашивали, сколько тот или иной домохозяин желает обработать барской земли, а «записывали» на двор столько десятин, сколько по их соображению данная семья может осилить, и при малейшем сопротивлении двор вычеркивался и оставался без земли. А нужно было платить подати, и подати крестьянин той округи мог платить только из денег, взятых под обработку барской земли.

Разговоров о плате тоже не было. За 5 р. 50 к. с десятины крестьянин обязывался вывезти навоз на поля помещика, вспахать, выборонить, сжать и свезти хлеб на барское гумно —

сделать ту работу, которая в моих местах, где земля была хуже и урожай ниже, оплачивалась в то время 18-ю, 20-ю рублями. Цены на труд были удивительные — в рабочую страдную пору взрослый рабочий со своей лошадью получал 40 — 50 коп. на своих харчах, баба 25 — 30 коп. Помню, мальчик-подросток, подгонявший от зари до зари лошадей на барской молотилке, получал 5 коп. в день также на своих харчах.

И отхожие промыслы были особенные.

Приезжал подрядчик нанимать рабочих, и в волости составляли списки крестьян-недоимщиков. И опять-таки крестьян-недоимщиков не спрашивали, желают ли они идти на те или иные заработки, а записывали в волости и цены устанавливали также в волости, по соглашению старшины и писаря с подрядчиками.

Местные крестьяне были землекопы и нанимали и увозили этих крепостных-рабочих на земляные работы, куда неохотно шли вольные рабочие. Они, крестьяне моего медицинского участка, строили Бендеро-Галацкую железную дорогу, строили дорогу на Урале, а при мне увозились копать торф во владимирских болотах. Только «вольные», не состоявшие недоимщиками, — таких было немного — тогда могли выбирать себе заработки и уезжали в Москву извозчиками, ночными сторожами, подручными дворников.

Помню крестьян из моего родного владимирского села, уходивших в Москву на плотничьи работы: они возвращались оттуда здоровые и веселые, франтами, непременно в козловых сапогах со скрипом, в галошах, в которых щеголяли в сухие и жаркие дни нашего храмового праздника на Илью-пророка. Привозили гармоники, самовары, всякие гостинцы для семьи, привозили московские слова, московские манеры, вольные речи. Скопинские крестьяне приезжали, а случалось и приходили пешком сотни верст, худые и истощенные, оборванные и привозили с собою поломанные кости, страшные торфяные язвы и... сифилис.

Сифилис переходил на жену, жена своим сифилитическим ртом жевала соску для ребенка и пихала ему в рот. Ели из общей чашки, общими ложками, заболевали старики и старухи. Я знал дома, где не оставалось ни одного не зараженного члена семьи: помню деревню, где не было ни одного дома без сифилиса. Из десяти тысяч посещений за первый год только на одном медицинском пункте около тысячи падало на больных сифилисом. Как правило, сифилис распространялся не путем половых сношений, свежих первичных заболеваний почти не встречалось, а сифилис был давний, укоренившийся — много являлось с изъязвившимися гуммами третичного сифилиса, с обширными язвами на голени, которые мешали работать и поневоле гнали к доктору.

. . . .

Кулаки были пришлые, городские мещане, съемщики фруктовых садов, арендаторы мельниц, державшие лавки и кабаки в деревнях, строившие на купчей земле среди полей амбары для ссыпки хлебов. Толща крестьянская была серая, мало расслоившаяся по достатку и по источникам существования. Редки были не соломенные крыши в деревнях, почти все ходили в домотканных паневах и поддевках, единичны были крестьяне с купчей землей.

Крестьяне были прикреплены к помещику. Живо было крепостное право. С раннего утра, подолгу простаивали они с непокрытыми головами у барского крыльца в ожидании выхода барина или управляющего.

— Вы наши отцы, мы ваши дети... — была традиционная фраза.

Так и ко мне обращались они в первое время, пока не привыкли.

А земля была благодатная, добрый чернозем. Хорошо родились, если не было засухи, пшеница и просо. Начиналась степь, тянувшаяся к Дону, протекавшему в южной части моего меди-

цинского участка, а за Доном шли еще более тучные земли. И какая-то особая мягкость и ласковость лежали на далеко стелющихся полях с переливающимися разноцветными полосами ржи, пшеницы, проса и гречихи. Не было наших владимирских болот, угрюмых, молитвенно строгих еловых лесов. Зелеными купами вставали редкие рощи зеленых дубков и белых березок, таких белых и таких радостных березок. Текли задумчивые речки в черных берегах, опушенных ольхой и хрупкими ракитами, тихо, неуверенно вились они, бродили по тихим полям, словно не знали, словно все думали, куда им податься, где бы отдохнуть.

И люди были добрые, ласковые, добрее и дружелюбнее наших северных лесных, более суровых крестьян. Семейные отношения складывались мягче, и как-то не приходилось мне встречать там в знакомых деревнях чеховских мужиков. Таких красивых, таких тонких, нередко изящных крестьянских лиц я не встречал больше нигде в России. По-другому и иные песни там пелись, задушевнее и красивее звучали голоса.

Покрывала печаль благословенные земли. Редко собирались хороводы в деревнях, мало было веселья на усталых печальных лицах. А осенью, когда свозили хлеб с полей и оставался сухой злой бурьян по межам, и сырая мгла окутывала низенькие, словно враставшие в землю избы с подслеповатыми, из кусочков, стеклами окон, тоска ложилась на землю. Носился чибис над пустынными полями и припадал к земле и взвивался ввысь и человечьим, надрывным голосом рыдал над печальной землей.

Мало было школ, и нищенски они были обставлены; и вот через сорок лет, во время войны, когда только-что начиналось революционное движение, возвратившийся из отпуска санитар земского союза привез в Псков удивительное прошение, подписанное крестьянами одной из деревень Скопинского уезда, бывшего моего медицинского участка. Это был приговор сельского общества, в котором они просили меня, председателя северного фронта, чтобы я отпустил этого санитара им в деревню «для просвещения народа», так как этот санитар, их односельчанин, оказался очень пригоден «для просвещения народа насчет новых обстоятельств»; было удивительно, что в числе подписей значились женщины и «девицы», но, очевидно, за сорок лет там не оказывалось людей, которые просвещали бы крестьян насчет всяких обстоятельств, очевидно не оказалось таких людей около них и при новых обстоятельствах, и вот они молили, чтобы наш санитар, уже просветившийся в Риге и Пскове, явился бы их наставником «в новых обстоятельствах».

А потом донеслись слухи, что самая злая аграрная буря пронеслась на этих черноземных полях, что именно эти добрые, ласковые и, казалось, такие покорные крестьяне особенно неистово жгли, грабили, разоряли.

СРЕДИ НАРОДА

Отношения с крестьянами сложились у меня благожелательные, доверчивые. Правда, в первое время приходилось наталкиваться на опасливое, заподозривающее отношение и слышать в разговорах неизменные фразы: «ну кончено», «само собой», «это вы правильно», «чего уж», — всякие словесные экивоки, которыми крестьяне обхаживают нового человека, не крестьянского облика, но скоро экивоки и замысловатые подходы кончились, и пошли разговоры «по душам».

Все об одном и том же. О земле, о тесноте, о хлебах, о барах, об аренде, о курице, который выйти некуда. В воскресенье и праздничные дни, когда случалось быть дома, к моей заваленке собирались старики, солидные крестьяне, и велись долгие беседы о начальстве, о земельной нужде, о трудности жизни и об их крестьянской немощи. И все разговоры сводились к беседе о «белых водах», о «теплых водах», где земля не делена, где трава и хлеба стена-стеной, где зерно такое крупное, словно и не рожь, где начальства мало — почитай, что и совсем нет. . .

Теплые воды — и такая земля есть — это уж без сомнения, но

только где они, как достигнуть — никому не знаемо. Ходоков послать — куда послать? Вот кабы верного человека найти, бывалого, который все бы обсказывал, чтобы на знати было — нету такого. [1]

Опять же, кабы можно было в казаки переписаться. Были слухи, будто можно, только в точности неизвестно... Вот на Кубани есть хорошие земли. Пробовали из села ездить на заработок, на косьбу, плата неслыханная, — три с полтиной в день косарю да бабе два рубля, — только казаки там крепко засели, не пускают.

Разговоры неизменно кончались заключением, что так дальше жить нельзя, народу все нарождается, а земли все меньше и меньше, — какое никакое должно выйти решение насчет земли, беспременно выйдет.

И эта мысль о земле, о неизбежности решения земельного вопроса стеной стояла в крестьянских душах, и в эту стену бессильно билась практика жизни, начальственные разъяснения, правительственные окрики. Помню, в то время был издан знаменитый циркуляр министра Макова, оповещавший население, что появились злонамеренные люди, которые рассказывают, что будет нарезка земли крестьянам, что верить этим людям не следует и что никакой прибавки земли крестьянам не будет, таков был удержавшийся в моей памяти общий смысл циркуляра. Оглашение циркуляра было обставлено очень торжественно, в волость сгонялись по несколько человек из каждой деревни, циркуляр читался в присутствии начальства.

Дело было летом в какой-то праздник, у меня был прием больных, приехавших несмотря на праздник. Вернувшиеся из волости крестьяне уселись на завалинке, как раз под моим открытым окном, и на вопросы обступивших крестьян, что вычитывали в волости, ответили — и я сейчас помню этот ответ, так поразил он меня своей неожиданностью:

[1] В то время переселенческая волна в Сибирь еще не поднималась.

— Манифест от царя... Хотел царь дать землю крестьянству, да министры отсоветовали.

Так преломились в крестьянских душах такие ясные, казалось бы, не оставляющие места для сомнений слова министерского циркуляра.

Царь худо с землей распорядился, обидел крестьянство, но все-таки волю дал, освободил народ от господ. Это помнили и по-старому ждали, что в конце-концов царь исправит ошибку и распорядится нарезать крестьянам от барской земли.

В тех местах не было заподазривания пропагандистов, как случалось в других местах. Только раз старик крестьянин после молебна в церкви о спасении государя от покушения Соловьева обратился ко мне с вопросом по поводу злонамеренных людей.

— Сказывал мне один человек, будто это барские сыновья... отняли у них народ, ну, они и бунтуют. Как думаешь?

О «злонамеренных» людях местные крестьяне кое-что знали. За три года перед моим поступлением в земство в Мураевню, большое село Данковского уезда, в десяти верстах от моего пункта, приехали из Петербурга на лето к земскому врачу Покрышкину студенты (одного фамилия Сергеев). Они поселились в крестьянской избе, завели знакомство с крестьянами, давали им книжки, вели беседы. Это была одна из ранних изолированных попыток хождения в народ, немного наивная и не очень страшная. Студенты не скрывались, жили под своими фамилиями, книжки, которые я видел у них,[1] были легальные: Мордовцев, Костомаров, популярные издания.

Возникло громкое дело. Доктор Покрышкин, студенты и несколько крестьян были арестованы, долго сидели в тюрьме и были сосланы, доктор в Олонецкую губ., студенты и крестьяне — в Пермскую губ.

История наделала большого шуму в округе и долго помни-

[1] Как раз в это лето я жил в этом селе в семье помещика, в качестве репетитора, и бывал у студентов.

лась. Сосланные никак не укладывались в понятия «злонамеренных людей и барских сыновей. Доктор Покрышкин, пожилой уже человек, пользовался большой популярностью среди крестьян как земский врач, никаких дурных дел и худых речей за студентами не числилось, а крестьяне были доброй жизни и хорошего поведения, и тоже не мальчишки — женатые люди, и между ними староста, уважаемый человек.

МОЯ МЕДИЦИНА

Земская медицина в уезде была примитивно поставлена, как и все дело. Уезд был разделен на два участка, и мне пришлось обслуживать огромную территорию. Кроме старой больницы в городе, в уезде не было ни больниц, ни приемных покоев. И всем медицинским участком мы ведали только вдвоем с фельдшером Антоном Адриановичем. Акушерки не полагалось.

В сущности, настоящим представителем медицины в участке долго был этот фельдшер, так как служил давно, а врачи постоянно менялись и, очевидно, занимали место только до первой возможности устроиться в городе или в более благоустроенном земстве. Антон Адрианович был солидный человек лет под сорок, благообразный, с брюшком, страдал астмой и говорил с одышкой, медлительно и внушительно. Крестьяне почитали его, особенно бабы, и я знал, что в первое время моей работы бабы забегали к нему на дом, минуя меня, молоденького врача.

Жил он в чистенькой избе, с половиками, вязаными салфеточками, с занавесочками, с геранью и фуксией на окнах — на городской лад. И жена у него была городская, тонная. Брат ее служил бухгалтером в земской управе, о чем она не уставала напоминать мне при разговорах. Жили полным хозяйством, с курами, гусями, свиньями, и не переводилась у него ветчина, выкопченная в крестьянских избах.

Был у Антона Адриановича личный враг, знахарь, живший в нашем же селе отставной солдат, пользовавшийся широкой

известностью в округе лечением сифилиса. И первое, с чем обратился ко мне Антон Адрианович — была просьба искоренить при посредстве врачебного отделения и полиции ненавистного ему знахаря, причем рассказывал, как знахарь портит народ, сажая «на пары», давая сулему в крепкой водке, отчего вываливаются зубы и гниют челюсти. Указывая на соблазн — телеги с больными стояли у нашей амбулатории, и такие же телеги, иногда в неменьшем количестве, у двора знахаря. Антон Адрианович удивлялся моему равнодушию и отказу принимать карательные меры, но скоро стал успокаиваться и регулярно сообщать мне, как все реже и меньше останавливаются телеги с больным у двора знахаря. Раз он пришел ко мне не в урочное время, задыхающийся от астмы, и с великим торжеством объявил, что знахарь укладывается на возы и уезжает искать практику в дальнее село в другом участке.

Моя амбулатория помещалась в обыкновенной избе, в которой раньше жили рабочие экономии, и, если не считать маленькой полутемной клетушки, состояла из одной комнаты с перегородкой, за которой помещалась аптека. Ожидальной не было, и в зимнее время комната была набита стоявшими плечо к плечу больными, и мне приходилось выслушивать больных тут же при всех и только женщин уводить за перегородку.

Больной или больная наклонялись к моему лицу и шопотом рассказывали про свои недуги. Наставления я делал громко и — в этом была хорошая сторона — использовал аудиторию для маленьких лекций о питании грудных детей, о вреде для больных соблюдения постов, о необходимости прививать оспу, об осторожности в семье, где есть сифилитический больной, и пр., и пр.

С 30 и 40 человек в день, число посещений постепенно выросло до 100 — 150, и был один день, когда мы с Антоном Адриановичем от 6-ти час. утра до 2-х час. ночи приняли 250 человек. Помимо таких приемов на месте, два раза в неделю нужно было

выезжать на пункты, где также были амбулатории. Дни были заполнены приемами, так что на эпидемии и по вывозу больных приходилось выезжать поздно вечером или ночью, чтобы вернуться к утреннему приему. А когда возвратившиеся с Дуная солдаты занесли сыпной тиф, поневоле большую часть ночей приходилось проводить в санях, в переездах из деревни в деревню, пока я сам не заразился и не отвезли меня в клинику Захарьина.

Должно быть сыпной тиф давно не заглядывал в уезд — эпидемия широко разлилась по деревням, — заболевали целыми семьями от мала до велика. Помню одну семью. Все члены семьи — больше десяти человек — лежали в тифу, на ногах была только молодуха, только-что оправлявшаяся от тифа и с белым как снег лицом, еле бродившая и тем не менее стряпавшая, возившаяся с больными, убиравшая скотину.

Скоро выяснилась необходимость больницы. Можно сказать, она сама пришла ко мне.

Как-то в морозный день в конце большого приема, когда сани с больными, целыми рядами стоявшие перед амбулаторией, разъехались, у крыльца амбулатории на снегу оказался большой сверток войлока, а в войлоке голый сыпно-тифозный в бессознательном состоянии, тщедушный паренек 15 — 16 лет. Потом удалось дознаться, что привезла его и подбросила мачеха, вдова, нищая из соседнего уезда, жившая подаяниями и имевшая кучу своих малолетних детей.

Больного пришлось поместить в каморке за аптекой и продержать до выздоровления — у него скоро наступил кризис. Потом привезли после жестокой метели найденных в сугробе двух обмороженных, которых пришлось отхаживать и у которых впоследствии пришлось ампутировать пальцы на руках и ногах; привезли раненого пулей, пришлось оперировать; потом приехала диаконица с карбункулом и Христом богом просила оставить в каморке под моим надзором. Заняли и аптечку. А потом пришлось класть и в мою собственную квартиру. Городская

больница была переполнена, и при том тогда крестьяне еще по-старинному боялись идти я городскую больницу.

В ближайшем земском собрании я возбудил вопрос об устройстве больницы. В больнице мне отказали, и вершивший медицинские дела в собрании местный землевладелец, профессор гигиены медицинского факультета Московского университета, Медведев от большого ума предложил мне предварительно произвести санитарно-медико-статистическое обследование моего участка (полуезда) и потом уже поднимать вопрос о больнице.

Пришлось самому устраивать больницу кустарным способом. Тотчас же после собрания я поехал в Москву и уговорил И. И. Мусин-Пушкина, в чьем имении и доме помещалась амбулатория и моя квартира, пристроить к старой избе сруб для двух комнат, мужской и женской. Он охотно согласился, и при мне же управляющему было отдано распоряжение отпускать на больницу ежедневно ведро молока и сколько нужно хлеба, гречневой крупы и капусты.

Посоветоваться было не с кем, пришлось самому придумывать подходящее устройство уборной, вентиляции. Как-то все удавалось, и вентиляцией я стал даже гордиться. Больных я обложил (кто мог платить) платой в 20 коп. в день, на что покупался керосин, дрова, мясо, масло и всякий приварок. Моя кухарка стряпала обед на больницу, принанятая солдатка с села ухаживала за больными. Конечно, приходилось приплачивать, конечно, бывали нехватки, но дело как-то обходилось. Иногда родные больных, видя нашу бедность, привозили пшена, баранины, курицу. Случалось даже чайком баловались — хлыстовская богородица, пролежавшая в больнице около двух месяцев из-за огромного плевритического эксудоза, пожертвовала фунтик чая и сколько-то сахару. Вышла больничка на десять человек, случалось доходило и до пятнадцати и приходилось класть на полу.

Я с некоторым конфузом оглядываюсь на прошлое и на мою больницу; но делать было нечего. Как-то дело обходилось благо-

получно, и я не припомню случая, где мне пришлось бы раскаиваться. Был, впрочем, единственный случай, когда от сыпнотифозного мальчика заразился лежавший в той же каморке больной с огромными язвами третичного сифилиса, но и он поправился, и даже оказался в выигрыше — огромные упорные язвы высохли в несколько дней и после тифа открылись в гораздо меньшем размере, и больной как-то особенно быстро стал поправляться. За год с небольшим существования больницы (до моего ареста) в больнице не было ни одного смертного случая, и оперированные поправлялись без осложнений.

Больные были не взыскательны и одобряли мою больницу — и обстановка и пища, которую они получали, были все-таки лучше того, что видели они дома. Все было по-домашнему, посемейному, настроение в больнице было дружное и, как бы сказать, ласковое. У меня остались в памяти хорошие зимние вечера в больничке. Ярко светит большая керосиновая лампа, подвешенная к потолку, где мною велено было прорубить отверстие для вентилирования комнаты. Увлекавшийся Некрасовым сапожник с дальнего села медлительно и с большим чувством читает некрасовские стихи, и все слушают: и обмороженные люди, и хлыстовская богородица, с кротким умиленным лицом, и каменная, застывшая в каком-то страдальческом недоумении, дьяконица. И все остаются довольны, и моя библиотека была достаточно велика, чтобы не было недостатка в книгах для больницы.

Никаких упреков и нареканий от больных не приходилось слышать и с некоторыми, как, например, с хлыстовской богородицей и тем же сапожником, образовалась большая дружба.

Работы было много, и явилась можно сказать ярость к работе, своего рода азарт, знакомый вероятно многим, кто готовился к желанной деятельности и со скамьи учебеного заведения входил в нее. И чем больше наваливалось работы, чем труднее было дело, как с устройством больницы, тем сильнее поднималось желание сделать, овладеть, придумать. Моим азартом заразился и Антон Адрианович. Перестал жаловаться на чрезмерность работы и наоборот, когда на приеме оказывалось менее больных, имел несколько сконфуженный вид, начинал придумывать объяснения, говорил о непогоде, об ярмарке где-нибудь в округе.

Доверие крестьян к нашей медицине было полное. Так легко было получить это доверие и даже некоторую славу... Наибольший процент больных давали сифилис и малярия, — результаты лечения сказывались быстро: хина, ртуть и иодистый калий поднимали людей на ноги и возвращали к работе. Слухи о выздоровлении от долголетних язв третичного сифилиса, конечно, быстро распространялись по уезду и, когда удалось вылечить крестьянина, страдавшего эпилептиформными припадками на сифилитической почве, ко мне стали привозить тяжелых истеричек, — кликуш, психических больных и раз позвали к сумасшедшему, сидевшему несколько лет на цепи в хлеву.

Помню один случай, принесший мне большое удовлетворение. Как-то ночью в моих поездках по сыпно-тифозной эпидемии, я заехал в дальнюю деревню, в которой раньше не бывал, и, собираясь отыскать старосту, зашел в единственную избу, где светился огонек. На кровати лежал сыпно-тифозный крестьянин, жена его мочила простыню, сшитую из полос холста, на столе стояла бутылка с водкой.

— Что вы делаете? — заинтересовался я.

— Да, вот собираюсь хозяина обертывать в холодное.

И когда узнала, что я доктор, пояснила:

— Наслышаны мы, что ты все велишь в холодное завертывать, да водкой отпаивать — вот я и пользую.

Я крепко верил в лечение тифа холодными ваннами и, за невозможностью практиковать их, обертывал больных в холодные мокрые простыни и, как практиковалось в клинике Захарьина, с седьмого, восьмого дня, назначал водку через два часа по

столовой ложке («привычное возбуждающее», как объяснял нам при обходах Захарьин).

И вообще крестьяне охотно и доверчиво шли навстречу моим советам и пожеланиям. Помню, в огромном селе вспыхнула эпидемия натуральной оспы. Оспопрививание плохо было поставлено в уезде, и мне приходилось наспех налаживать его. Я собрал сход и объяснял, как распространяется болезнь и как нужно оберегаться ее. Меры крестьяне придумали сами тут же на сходе. Постановили на зараженных домах нарисовать кресты, объявить, чтобы в дома эти никто из здоровых не ходил, а сообщались бы только через окошко, и выбрали десять человек, чтобы наблюдать за порядком и помогать мне и фельдшеру.

Скоро у нас с Антоном Адриановичем явились помощники. Медицинский персонал увеличился таким же явочным порядком, как и создалась моя больница. Ко мне приехал студент Медико-хирургической академии Иннокентий Пьянков, убежавший из ссылки из Пинеги, направленный ко мне из Петербурга и по паспорту значившийся Павлом Алексеевичем (фамилию я забыл). Мне удалось убедить земскую управу в необходимости иметь помощника фельдшера. Павел Алексеевич был официально зачислен помощником фельдшера с жалованьем 15 руб. в месяц. Человек он был тактичный, превосходно работал всю зиму, и, что для меня было очень важно, у него сложились должные отношения с фельдшером Антоном Адриановичем.

Работать нам стало легче. А летом приехали трое моих друзей, студентов-медиков. Двое из них получили потом широкую известность: Сергей Васильевич Мартынов, после 1 марта ставший членом Исполнительного Комитета партии Народной Воли, и Петр Петрович Кащенко, будущий председатель обще-университетских сходок, сыгравших большую роль в московском студенческом движении, сделавшийся потом известным психиатром. Приехала сестра Веры Николаевны Фигнер — Евгения Николаевна, после того, как им с Верой Николаевной пришлось

скрыться из Саратовской губ. от готовившегося ареста. Евгения Николаевна работала в качестве бесплатной фельдшерицы. Народу стало много, приехала из Москвы моя сестра-акушерка, помогавшая мне в разъездах по участку. Работать стало легче. В страдное время все гости привлекались к работе, заблаговременно готовили порошки, научились у Антона Адриановича делать мази и пилюли.

То было веселое, радостное лето. Москвичи отдыхали, объедались бараниной, я закупил десяток овец на ярмарке, и благодушествовали. Евгения Николаевна пела своим прекрасным сильным голосом «Бурный поток, чащи лесов». И бедный Кащенко, которому нужно было готовиться к экзамену, избравший себе местожительством чердак, должен был скрываться от общества туда по лестнице, которую он поднимал за собой, чтобы сделаться недосягаемым.

Была идиллия. Мой медицинский пункт помещался на краю уезда в углу трех уездов: Скопинского, Раненбургского и Данковского, за все время становой ни разу не заглядывал в мое село, и, времена были еще мягкие, необостренные, скопление подозрительных людей у меня не возбудило ничьего внимания.

Помню, как-то в Скопине я случайно прочитал передовицу «Московских Ведомостей», где правительство поучалось насчет распространения революционной пропаганды по деревням и была включена фраза, приблизительно такого смысла: «а Иванчин-Писарев все еще продолжает быть на свободе». А через два дня ко мне приехал на тройке с бубенцами этот самый Иванчин-Писарев барином, по-барски одетым. Он приехал повидаться с Евгенией Николаевной Фигнер и посетить старые места, где он работал в перерывах своего хождения в народ. И была любопытная встреча его у меня в доме с приехавшей ко мне в гости помещицей, которую он, служа кучером у другого барина, отвозил как-то в ее имение. Помещица не узнала в петербургском джентль-

мене кучера, которому когда-то давала на водку, и они много беседовали, как люди одного круга, Иванчин-Писарев был тоже родовитый помещик.

Идиллия недолго продолжалась. Уехали в Москву студенты сдавать выпускные экзамены, осенью уехала Е. Н. Фигнер, через три месяца арестованная в Петербурге по делу взрыва Зимнего дворца, сосланная потом на поселение в Сибирь, где вышла замуж за Михаила Петровича Сажина, освободившегося от каторги.

Уехал и Пьянков, мой помощник, фельдшер Павел Алексеевич, он был товарищ и приятель Плеханова; в ту же зиму он был арестован за набором в тайной типографии издававшейся тогда нелегальной газеты «Черный Передел». Его судьба сложилась не совсем обыкновенно. Он сослан был в Сибирь, в родную Сибирь, где он родился и откуда поехал учиться в Петербург. Изредка я получал о нем сведения. Мне говорили, что он женился на вдове казненного Квятковского, и, когда его брат, ведший крупное винное дело, умер, оставивши малолетних детей, взял в свои руки его дело, перенес его в Амурскую область, организовал какие-то огромные другие дела, сделался миллионером, и как называли его, финансовым королем Приамурья. Был крупным общественным деятелем, сосредоточивал свои заботы и, тратил свои деньги на народное образование,—от Никольско-Уссурийского до Владивостока, выстроил гимназию, был организатором целого ряда культурно-просветительных учреждений Приамурья. Через 35 лет после манифеста 17 октября он разыскал меня в Петербурге. В общем имевшиеся у меня сведения о нем подтвердились. Он приехал в Петербург по своим делам и между прочим по книгоиздательству, которое он хотел организовать в огромных размерах в Приамурье. У нас образовались некоторые общие планы, но он скоро после нашего свидания умер от воспаления легких.

Он обедал у меня, и помню странное мое впечатление: за моим столом сидел не миллионер и финансовый король, а не очень

изменившийся, только постаревший мой помощник фельдшера Павел Алексеевич.

Мы остались не одни с Антоном Адриановичем: приехала из Петербурга О. А. Мацнева, исключенная из Петербургских медицинских курсов, поучиться медицине, поработать практически, чтобы сделаться фельдшерицей.

ХЛЫСТОВСКАЯ БОГОРОДИЦА, «САПОЖНИК» И ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Именно в больнице у меня образовались крепкие знакомства кое с кем из местного крестьянства.

Дольше всех прожила, как я уже упоминал, хлыстовская богородица. Появление ее произвело некоторую сенсацию. Она была известна на всю округу, как бывшая хлыстовская богородица. Антон Адрианович, знавший всех и все в моем медицинском участке, говорил, что она была знаменитая красавица и знаменитая хлыстовка, совращавшая многих в хлыстовскую веру, гнездившуюся в южной части моего участка, примыкавшей к протекавшему там Дону. Как о хлыстовской богородице, говорили о ней и кухарка моя из другого села, и больные, среди которых она очутилась.

И было вместе с тем какое-то особое отношение к ней, — осторожное, бережное, и, я бы сказал, почтительное. Никто не упрекал ее прошлым, не шутил с ней и над ней и — что меня особенно поразило — не совсем опрятные разговоры и не очень приличные слова прекращались в больнице, когда она выходила из своей женской комнатки в мужскую.

Следы редкостной красоты сохранились и в лице тридцатипятилетней женщины, и лежало на нем в ее прекрасных глазах какое-то особое выражение внутренней тишины, примиренности, человеческой ласковости. И в те светлые, радостные зимние вечера, про которые я говорил, в нашей больничке, она вносила именно эту тишину, ласковость в то, как она слушала Некрасова, как утешала тяжелых больных.

Я знал, что она уже давно присоединилась к церкви. Я был у нее в гостях. Она вышла замуж за своего двоюродного брата, тоже хлыста и также присоединившегося к церкви, и у него было такое же красивое лицо, с задумчивыми глазами и с тем же выражением сокровенного, притаенного, как и у нее.

Жили они в чистеньком, опрятном домике, с цветочками в палисаднике, на берегу маленького, совсем там «тихого» Дона. У них была деревенская лавочка — муж не занимался деревенским кредитованием и ссыпкой хлеба, а только своей лавочкой. Землей они не занимались, жили вдвоем, бездетные. Тишина и покой были в светлой, опрятной, с крашенными полами и половиками прибранной горнице, с картинками из священного писания на стенах, с душеспасительными книжками на полочках.

И от всего их облика, от бесшумных движений, от коротких, ласковых слов, которыми они обменивались, от беззлобивых разговоров о житейских делах веяло тишью замиренной души, успокоившегося сердца. Очевидно, кончились для них бури душевные, нашли они мирную пристань, тихую обитель и должно быть только друг с другом, один на один в тишине безмолвных вечеров говорили они о тайном, о сокровенном, что лежало в глубине их душ, смотрело из их задумчивых глаз.

Мы были приятелями. Когда меня отвезли тифозного в Захарьинскую клинику, в участке распространился слух, что я умер, и в двух, трех ближних селах крестьяне отслужили панихиду за упокой моей души. Помню, в один из первых приемов после моего возвращения из клиники я увидел в окошко, как по сельской дороге прошла странница с подожком и с котомкой за спиной, и промелькнуло для меня что-то знакомое в фигуре странницы. На другой день Антон Адрианович, смеясь, рассказал, что то была хлыстовская богородица, которая дала обет по случаю моей смерти сходить к Тихону Задонскому помолиться за мою грешную душу, что она узнала на селе о моем выздоровлении и вернулась домой, застыдившись зайти ко мне.

Сдружился со мной и сапожник, любитель Некрасова, о котором я уже упоминал, тоже долго, одновременно с хлыстовской богородицей, пролежавший у меня в больничке. Он был бобыль, землей не занимавшийся, деревенский грамотей и ходатай, писавший прошения и жалобы, выступавший перед начальством и пользовавшийся у начальства репутацией смутьяна и беспокойного человека. Кажется, никому в такой мере не понравилось устройство моей больницы и вся моя медицина, как ему. И когда у меня сделан был обыск жандармами, через короткое время ко мне явился этот сапожник вместе со старостой того дальнего села и сделали мне неожиданное предложение. Они решили, что после обыска на службе в земстве меня не оставят, и на волостном сходе постановили устроить в своей волости собственную медицину и меня пригласить врачом. Присоединилась к предложению и смежная волость, все было обдумано с той хозяйственной обстоятельностью, с какой принимаются подобные крестьянские решения. Положено было мне жалование 700 руб., хорошая изба с отоплением и огород. Кроме того, лечить принадлежавших к этим двум волостям я должен был бесплатно, но со всех других волен был брать плату за свои труды и за стоимость отпускаемых лекарств. Когда я заявил им, что без больнички, без приемного покоя я лечения в деревне не понимаю, посланцы, оказывается, предусмотрели и это и выработали сложную систему прокормления своих за общественный счет и взимания платы с посторонних.

Я не очень верил в благополучный конец моего обыска, но предложение устроиться вольным доктором, как называли мое будущее положение эти посланцы, устроить новую вольную сельскую медицину меня соблазняло, и условно я согласился.

Деревенская мысль, очевидно, продолжала упорно работать в том же направлении, и даже, когда я уже сидел в скопинской тюрьме, раз меня вызвали к воротам, там ждали, желали повидаться со мной те же сапожник и староста, пожелавшие узнать, правда ли, что меня скоро выпустят, и сообщившие, что они меня ждут и что насчет больницы и всего прочего все обмозговано.

Наиболее близкие отношения сложились у меня с крестьянином соседней деревни Дмитрием Васильевичем, который около года возил меня на своих лошадях по участку, пока я не собрался купить себе лошадей. [1]

Выезжать в участок приходилось часто, в особенности во время эпидемий сыпного тифа, когда я, пока не свалился, посетил по деревням несколько сот сыпно-тифозных.

Дмитрий Васильевич приезжал за мной в сумерки, приемы в амбулатории оканчивались поздно, и поневоле приходилось ночью объезжать участок. Я привык еще в университете мало спать, три-четыре часа хорошего сна в розвальнях или телеге, набитой доверху сеном, где можно растянуться во всю длину, были для меня совершенно достаточным отдыхом. Приедешь в деревню, обойдешь со старостой с фонарем избы, где были больные, и дальше едешь, а к утру — к приему нужно было возвращаться домой.

И вот эти ночные поездки были долгими беседами с Дмитрием Васильевичем о всем том, чем болело его сердце и над чем, очевидно, давно и тяжко думал этот крупный крестьянский ум. Он рассказывал мне, как живут крестьяне, как управляются со своим хозяйством помещики, что делается в волостных правлениях.

Когда мы проезжали ночью через затихшие, бессветные, словно мертвые деревни, мимо старых помещичьих домов, с покосившимися колоннами, откуда бросались на нас огромные псы, он рассказывал, как, вот в этом селе не принимали воли, отказывались брать глину, которую желал отвести крестьянам помещик, как два года стояли тут солдаты, вынимали рамы, снимали крыши с изб, как усмиряли и как все не покорялись люди усмирителям. Как вот в этом полуразрушенном каменном здании бывшего винокуренного завода крепостные сварили

[1] Земских лошадей мне не полагалось, и я должен был разъезжать по участку на свой счет.

в котле своего жестокого барина, как широко пользовался помещик в другом имении правом первой ночи и как трагически погиб он. Он говорил холодным, бесстрастным голосом; не слышно было в нем ни жалоб, ни негодования, тонкое, строгое, редко улыбавшееся лицо оставалось бесстрастным, и только по тому, как упорно возвращался он к тому старому, порой страшному и всегда печальному прошлому, как глубоко входил он во все горестное и жуткое, чем полна была крестьянская жизнь, я понимал тяжелую напряженную думу и негодующее сердце этого строгого, замкнутого в себе человека. И тогда оживали передо мною мертвые избы, и вскрывалось то, что лежало глубоким пластом на дне этих кротких, казалось, таких покорных людей.

И весь он резко выделялся из среды тогдашнего заурядного крестьянства. Он был грамотнее других, две зимы извозничал в Москве, почитывал там газеты, кругозор его был шире и не ограничивался мечтами о белых водах и ожиданием решения вопроса о земле сверху, от царя. И другие вопросы предлагал он мне. Как живут люди в других государствах, какое там управление и почему там жизнь сложилась так не похоже на нашу русскую жизнь, он знал, что не похоже. И другие книги, не стихи, не Некрасова, какие давал я грамотной и полуграмотной молодежи, выбирал он и брал из моей библиотеки.

Семья его была большая, жив был еще отец, кроме него было два брата, один из них по зимам извозничал в Москве. Жила семья скудно, но лучше других. У них был обычный нищенский надел, они также «обязывались» разбирать барскую землю в том размере и по тем ценам, как устанавливал управляющий, но семья успевала во-время «очищать» подати, и не посылали их в волостном правлении «на торфа».

Отец был старый, рано износившийся; домоправителем и представителем семьи на сельских сходах был старший из братьев, Дмитрий Васильевич. Я знал, что он пользовался огромным авторитетом среди окружного крестьянства, и, несмотря на свою молодость, он был всего на 3 — 4 года старше меня, ему

было 26 — 27 лет, намечался в старшины на волостном сходе. Как-то я спросил его, почему он отказался быть старшиной. Он сурово ответил:

— В старшинах ходить — совесть потерять.

И потом прибавил:

— И тоже у начальства на побегушках не больно охота.

Наша дружба продолжалась и после того, как я перестал ездить с ним. И он часто бывал у меня, и я заезжал к нему в гости, пировал на свадьбе, когда женили младшего брата.

ДВОРЯНСТВО

Не на себя работал крестьянин. Куда-то, в пространство утекал его хлеб, кто-то уводил его коров, жеребят, ягнят, кому-то несли яйца крестьянские куры. И, оглядываясь на прошлое, я спрашиваю себя, куда, в какую прорву, уходило все это?

Да, конечно, казна, государство. Государство прежде всего. Государству шли подати, для уплаты которых крестьяне должны были осенью, почем ни попало продавать только-что обмолоченный хлеб и «обязываться» с осени разбирать барские земли; для него черноземные мужики отправлялись в неведомые края копать чужие земли, чтобы отработать свои недоимки и заработать сифилис для себя и семейства.

Это было безличное, общее тяготевшее над всем крестьянством, за счет которого расширялись границы государства российского, велись войны, шла своеобразная государственная работа на окраинах, обрусение Польши и Финляндии, обращение в православие мусульман и язычников и проч., и проч.

А потом дворянство, помещики. Эти были тут налицо. Помещичьи земли облегали крестьянские дворы, и знаменитое «курицу выпустить некуда» звучало реальным смыслом.

Фактически по-старому крестьяне были прикреплены к помещику. Главным и бросавшимся в глаза потребителем народного труда было дворянство, и оно, казалось, являлось той бездон-

ной прорвой, куда уходило крестьянское добро. Казалось... Это было так, но, вспоминая тогдашние времена и скопинские места, я с некоторым изумлением оглядываюсь на результаты этой дворянской эксплуатации народа.

Дворянство беднело, а не богатело, не распухало, а тощало. Тогда уже шло во-всю дворянское оскудение. Я знаю много случаев, когда на моих глазах куда-то уплывали, как крестьянский хлеб, помещичьи земли, и как-то не припомню случая, по крайней мере в моем медицинском участке, занимавшем пол-уезда, чтобы дворянин-помещик прикупал земли, расширял свои владения.

Пусто было в дворянских усадьбах. В огромных, когда-то шумных домах с колоннами доживали старики, сыновья которых где-то командовали в войсках, где-то служили губернаторами, исправниками, департаментскими чиновниками, инженерами и приезжали изредка, раз в два-три года, в имение вместо подмосковной или петербургской дачи. И жили там управляющие немцы, латыши и те же мещане из города, лучше немцев приспособившиеся к особенностям тогдашнего помещичьего хозяйства. Встречались и совсем покинутые хозяевами, наглухо заколоченные, развалившиеся помещичьи дома. Были и совсем деклассированные, влившиеся в разночинскую массу дворяне, отцы которых играли значительную роль в уезде.

Не часто встречался помещик, сидевший на земле и сам ведший хозяйство. Большинство не занималось землей как источником существования. Дворяне-помещики жили где-то далеко от своей земли, на казенном жалованьи, на легких хлебах, в банках, на железных дорогах, на службе у капитала, во всяких предприятиях, где в те времена дворянское имя, в особенности громкое, ценилось выше диплома и знания, а земля, имение были дачей, где все-таки нужно было вести нудные разговоры с управляющим, с мужиками и где не было подходящего общества.

Управляли управляющие, приказчики, и хозяйство в большинстве случаев велось тем же путем «обязывания» крестьян

принудительной обработкой. Случалось, приезжали ученые агрономы из остзейских провинций с навыками ведения дела в баронских хозяйствах, пытались заводить новые порядки, сельскохозяйственные машины, обработку собственным инвентарем. Но оборотного капитала не было, усовершенствованная обработка оказывалась менее выгодной, чем использование ничего не стоящего крестьянского труда, и кончалось тем, что сельскохозяйственные машины ржавели в сараях, а ученые управляющие постепенно переходили к местным мерам хозяйствования или уступали место юрким приказчикам, в поддевках из тонкого сукна, в картузах с блестящим козырьком, что носились целые дни на бегунках по полям и так превосходно знали крестьянскую психологию и особенности местной сельскохозяйственной культуры.

В соседних губерниях встречались культурные хозяйства, опытные поля, обработка машинами, семенное хозяйство — ничего подобного я не припомню в той местности, где я жил.

Дворяне-помещики уезжали не только от своих земель, но и вообще от местной жизни. Было земство, плохонькое, неналаженное, но земство, где все-таки платили жалованье. И в высокой степени характерно, что земское дело в этом дворянско-помещичьем уезде обслуживалось не дворянами, а или пришлыми людьми или иносословными. Председателем земской управы был онемеченный русский разночинец, родившийся и воспитывавшийся в Лифляндии, с совершенно русской фамилией, но плохо владевший русским языком. Кажется, он приехал в наш уезд управляющим, потом купил маленькое именьице и должно быть за то, что он был полунемец, считался деловым человеком, аккуратно являлся в управу в положенные часы и с сигарой во рту, ломаным русским языком отдавал нужные распоряжения, и был выбран председателем земской управы. Один член управы был скопинский купец, другой крестьянин, бывший гуртовщик, ликвидировавший свои дела и доживавший

свой век в усадебке на краю города.[1] И не то, что земство было внове, — оно уже существовало около десяти лет — но к нему, к службе в нем было какое-то особенное отношение поместного дворянства, как к чему-то несерьезному куда настоящему дворянину не слишком подобает идти.

Дворяне являлись на земские собрания, иногда приезжали даже из других городов и всегда составляли большинство, но, казалось, они отсиживали скучное дело, в роде того, как в старинные времена почтенные купцы из почета отсиживали в городских думах. Это не мешало, конечно, им вести в собраниях свою помещичью линию, перекладывать тяжесть земского обложения на крестьянские земли и при голосованиях давать соответствующие инструкции старшинам — гласным, безмолвно сидевшим в сторонке. Им не нужно было ни народное образование, ни медицина, и бюджет на них систематически обрезывался. Вспоминая прошлое, я думаю, что это было исключительное земство.

И молодое, подраставшее дворянское поколение целиком уходило от земли. Сыновья более богатых и родовитых помещиков поступали в Александровский лицей, в Училище Правоведения, в Пажеский корпус; среднее дворянство шло в кадетские корпуса и отчасти в гимназии. Из либеральных профессий особым престижем тогда пользовалась профессия инженеров и, отчасти, адвокатура. Медицинский, математический и филологический факультеты заполнялись преимущественно разночинцами, в особенности детьми духовенства. А в Петровскую земледельческую академию в мое время из местного дворянства не шли.

Во время студенчества я имел обширное знакомство в среде студентов Петровской академии, там были уроженцы Архангельской губ., Сибири, Поволжья и Прикамья, были уроженцы далекого юга, но я как-то не могу припомнить студентов из

[1] Родной брат известного тогда в Москве доктора П. И. Бокова, тесно связанного с Чернышевским и людьми 60-х годов, — говорили, вместе с Сеченовым выведенного в романе Чернышевского «Что делать».

Рязанской губ. Как будто они наименее нуждались в сельскохозяйственных знаниях, в повышении земледельческой культуры. Я слышал, что потом состав студенчества Петровской академии значительно изменился, но так было в мое время, и я твердо помню, что ни в одном имении моего медицинского участка не было управляющего из студентов Петровской академии.

Люди не шли к земле, отворачивались от земли. С юности уже предопределяли свой путь, шли куда угодно, только не к земле, к сельскому хозяйству, как к постоянному занятию, как к источнику жизни.

. . . .

Я не говорю о латифундиях, о дворянах, владевших тысячами десятин. Те в большинстве случаев были на верхах государственной жизни, при дворе, у кормила власти и имели совсем особые источники дохода. И потом они не принимали никакого участия в местных делах и почти не заглядывали в свои имения. Я говорю о средних дворянах-помещиках, которые не имели вилл в Риме и Ницце, зависели от земли и поневоле толклись на месте, если не служили и не работали на отхожих промыслах.

Нигде, насколько мне известно, не складывались обстоятельства так благоприятно для дворянского землевладения, как в данном случае. Хорошая земля, поразительно дешевый крестьянский труд, при этом не отвлекаемый от земли фабриками и заводами, которых почти не было в уезде, и вот, при всех этих условиях дворянское землевладение шло на убыль, и помещики, разоряя крестьян, разорялись и сами...

И опять я задаю себе вопрос: куда, в какую прорву уходило все это — и помещичье добро и крестьянский труд? Да, были кулаки, но я говорил, уже, какие-то набеглые, несолидные, неоседлые. Приезжали купцы, покупали на сруб помещичьи рощи, сводили их и опять исчезали, но случаи перехода дворянских имений в купеческие руки были тогда еще редки.

Я знаю, что потом многие из помещиков вернулись к земле и занялись ею на другой манер, пошли в земство. При дворянском царе Александре III снова собрались около престола и внедрялись в местную администрацию, но это были последние судороги умирающего тела, тени уходящего дня. Как-то долго спустя мне пришлось присутствовать при разговоре помещиков в рубке первого класса роскошного волжского парохода. Огромный, плотный, со щетиной седоватых волос губернский предводитель дворянства одной из волжских губерний доказывал присутствовавшим, что реформы Александра III пришли слишком поздно, когда уже значительная часть земли уплыла из дворянских рук, а остальная заложена и перезаложена в банках. Помню его фразу:

— Мы теперь в сущности являемся не владельцами, а банковскими управляющими наших имений. На банки работаем. В нашей губернии совсем мало осталось дворян на местах, приходится назначать в земские начальники армейских офицеров, каких-то телеграфистов...

В слово «телеграфистов» вложена была достаточная доля презрения.

Реформы и «воспособления» дворянского царя не остановили процесса умирания дворянства как сословия. В литературе прочно утвердилось мнение, что все дело в психологии дворянства, в их неумении приспособиться к новым условиям жизни и освободиться от традиций и психологии крепостных времен... Но нет ли здесь, в этой бесхозяйственности, в этом деловом распутстве, в какой-то невыработанности должной техники жизни общенациональных черт, присущих и купечеству и культурным, интеллигентным людям и всему народу? Здесь не место развертывать эту тему и может быть в будущем мне придется возвратиться к ней, как к результату долгих житейских наблюдений.

И. И. МУСИН-ПУШКИН

Медицинский пункт, моя квартира и изба, где были приемная и аптека, находились в селе Милославском, в имении крупного помещика Мусина-Пушкина, который жил постоянно в

Москве и предоставлял земству бесплатно все эти постройки.

Мусин-Пушкин по тем временам являлся характерной фигурой. Ему было за пятьдесят лет, и по годам и по духовному облику он относился к людям 40-х, 50-х годов и нес в себе все то, что было присуще людям тех времен. И проделал ту же эволюцию. По окончании Московского университета уехал в Германию и несколько лет штудировал там немецкую философию. Знавшие его молодым человеком говорили мне, что он усердно готовился к кафедре и писал оставшуюся недоконченной диссертацию по философии.

Как-то после земского собрания, он заехал в свое имение, в которое редко заглядывал, и долго засиделся у меня. Мы говорили о Московском университете его и моего времени, о германской науке — он воодушевился, и помню, когда ему нужно было что-нибудь определить общими определениями или выразить очень интимную мысль, он прибегал к немецкому языку, приводил немецкие цитаты.

Повидимому, все то новое, что входило в русскую жизнь с конца пятидесятых годов, захватило его и отвлекло от профессорской кафедры. Я знал, что он радостно приветствовал появление земских учреждений, и в Московской губ., где у него было основное большое родовое имение, с самого открытия земства был бессменным гласным уездного и губернского земства, был, насколько мне известно, членом первой московской губернской земской управы и играл значительную роль во всех лучших начинаниях земства. Он был гласным и в Скопинском уезде, неизменно являлся и на наше земское собрание, произносил прекрасные речи, лучшие, какие приходилось мне там слышать — о народном образовании, о той же медицине; но он был одинок, поддерживали его трое — четверо гласных, и его деятельность не сказывалась на работе нашего земства.

Высокий, крупный, с седеющими баками и подслеповатыми присматривающимися глазами, корректно одетый, он резко отличался по своим манерам и всему облику от местных дворян.

Мусин-Пушкин был джентльмен, образованный, добрый, благожелательный человек, был известен в Москве своею благотворительностью и всегда шел навстречу моим попыткам уладить мой медицинский пункт.

И вот у этого джентльмена, доброго, просвещенного человека, именно у него мальчик-подросток за день работы на барской молотилке получал 5 коп. на своих харчах. В его имении была та же система хозяйства — принудительная раздача земли, «обвязывание» крестьян с осени, именно в его селе крестьяне жили нищими и полуголодными. У него было не хуже чем в соседних имениях, но и не лучше. И так же далек он был от земли.

Я застал еще немца управляющего, жившего в другом соседнем имении Мусина-Пушкина, в Масальском, даже ученого немца — агронома. Повидимому, немец пытался сначала что-то сделать, как-то по-другому поставить хозяйство, но в мое время он вел хозяйство по проторенному пути эксплуатации крестьянского труда, тяжело пил и почти не выезжал из дому, в соседнее Милославское совсем не являлся.

Грубого немца заменил русский приказчик, мещанин ближайшего города, кругленький и толстенький, ласковый и обходительный. Своего рода знаменитость, славившийся уменьем находить новые источники дохода в самых запущенных имениях и выжимать из крестьян последние остатки не выжатого еще в пользу помещика крестьянского труда.

Мусин-Пушкин был родовитый дворянин и получил от отца миллионное наследство, но оно куда-то уплыло, и в то время, как я его знал, главное имущество — большое богатое имение в соседней губернии было уже продано, а два оставшиеся в нашем уезде имения были обременены банковскими и иными долгами — он уже «оборачивался», как определяли всезнающие городские купцы таких помещиков, и начинал скатываться вниз.

Его родные рассказывали мне, что одно время он сильно играл

на бирже и там потерял значительную часть своего состояния, но, зная его отношение к своему хозяйственному делу и его манеру жизни, я думаю, что и без игры на бирже он разорился бы и скатился вниз, как скатывались и другие дворяне в то время, не игравшие на бирже.

Он редко заглядывал в свои имения и не всегда даже заезжал с земского собрания, хотя город был только в 20-ти верстах от имения, и ограничивался вызовом в город приказчика. И когда я теперь вспоминаю, как мало отдавал он времени и внимания имению, в котором я жил, как он при мне выслушивал отчет старосты или приказчика по состоянию имения, мне думается, что у него было, как бы сказать, некоторое брезгливое отношение ко всему своему хозяйственному делу, что он уже тогда считал свое дело обреченным, и только бессильно барахтался, будучи не в силах найти какой-нибудь выход кроме того, что было заведено, что все-таки давало возможность уплачивать проценты по долгам и оборачиваться.

А манера московской жизни его была та же прежняя, налаженная на широкий лад, которую он, очевидно, не мог или не желал изменить. Он занимал со своей семьей большой двухэтажный особняк, набитый гувернантками, боннами, прислугой, и за его стол всегда садилось много народу. Его дети говорили по-французски и плохо выговаривали русские слова. Мусина-Пушкина продолжали еще считать в Москве богатым человеком, и он тоже не мог или не желал разбивать эту иллюзию. К нему обращались за пожертвованиями на разные благотворительные учреждения — он не отказывал, в его приемной часто являлись просители и не уходили от него с пустыми руками.

Помню, раз, в один из моих приездов в Москву, он провожал меня после обеда вниз по лестнице — внизу у лестницы стояла пожилая дама в трауре, бедно одетая, совала Мусину-Пушкину какую-то измятую тетрадь, в роде паспорта, и я расслышал, как она рекомендовалась.

— Княгиня...

Он сконфуженно рылся у себя в портмонэ, вынул, не считая, несколько ассигнаций и подал их княгине.

Все пошло прахом. Он умер буквально в нищете. Обнищавшая семья где-то приютилась в оставшемся домике с маленьким кусочком земли, а сам Мусин-Пушкин переехал в Петербург, где его пристроили в какому-то допотопному учреждению на ничтожное жалованье, которого еле хватало, чтобы не умереть с голода. Под конец он почти совсем ослеп и, говорили мне, его раздавила чья-то карета, когда он переходил через улицу.

САФОНОВ

Недалеко от меня жил суровый, угрюмый старик-помещик чуть ли не единственный, который плотно сидел на земле, сам, без управляющего, вел крупное хозяйство и преуспевал, а не спускался вниз. Где-то далеко была у него дочь замужем, при мне ни разу не приезжавшая к отцу, и жил он одиноким стариком в своем большом, тоже состарившемся доме, с потемневшими колоннами, с покинутыми людьми службами, с заросшим густой травой двором.

Он был весь в прошлом, в крепостной России. Был обиженный освобождением крестьян, озлобленный, непримирившийся. Он не признавал земства, игнорировал его, не платил земских сборов за свою землю, упорно отказывался быть гласным и не участвовал ни в каких выборах.

Всю волость и в особенности свое село он держал в ежовых рукавицах.

Всем было известно, что он в родстве с одним из министров. Губернатор при редких объездах губернии считал необходимым сделать визит Сафонову, а местное начальство, становой пристав должен был предварительно переодеться во флигеле старосты в парадную форму, прежде нежели быть допущенным в комнаты.

По-старому старшина и староста являлись к нему докладывать о всем, что случилось в волости и в селе, по-старому кре-

стьяне не смели начинать уборку своего хлеба — и крестьянский хлеб осыпался, пока не управятся с уборкой барского хлеба.

Повидимому, он игнорировал, не хотел признавать ничего из того, что вошло в жизнь с шестидесятых годов. Он приказывал выбирать в гласные только старшину, не терпел, чтобы *его крестьяне* ходили судиться к мировому, и очень доволен был, когда по-старому крестьяне приносили ему свои жалобы, приходили разбираться в своих делах. Он создал вокруг себя особый уголок жизни, куда не проникало ненавистное новое и жило почти полной жизнью старое прошлое.

Я долго не верил, пока сам не убедился в справедливости, рассказам моего фельдшера, что Сафонов не позволял даже своим крестьянам лечиться у земского врача и у него, земского фельдшера. За все время моей службы из этой волости ко мне не поступало ни одной бумаги, какие получались из других волостей — приехать, «по случаю появившейся на людях болезни». — Ни разу не вызывали меня оттуда к больному. Больные из его села приходили лечиться в мою амбулаторию, но записывались жителями других дальних деревень. На почве этого происходили комические сцены, когда фельдшер, служивший на пункте с основания его и прекрасно знавший окрестное население, начинал допрашивать какую-нибудь бабу, не из Сафоновского ли села она. Смеялась баба, хохот поднимался в толпе больных, но баба упорно настаивала на своем и записывалась, как жительница других мест.

Велико было изумление Антона Адриановича, когда приехал экипаж от Сафонова с приглашением меня навестить больную экономку его. Антон Адрианович уверял меня, что за десять лет его службы это был первый случай, когда Сафонов обратился к земскому врачу, а не к вольному доктору из города, куда он несмотря на дальность расстояния всегда обращался в случае нужды.

Меня встретил кряжистый старик с коротко остриженными седыми волосами и со строгим, красивым лицом. Он был подчеркнуто любезен и предупредителен и после осмотра больной настоял, чтобы я остался завтракать.

Мы сидели вдвоем за большим обеденным столом. В стороне в глубоком кресле дремала древняя старушка — родственница Сафонова, за креслом стоял человек и зеленой веткой отмахивал мух от головы старушки. Далеким прошлым, давно ушедшим веяло от больших безлюдных комнат, от старых портретов, смотревших со стен, от бесшумно входившей и выходившей прислуги, от казачка с сонным усталым лицом, от громадных часов с бронзовыми инкрустациями, игравшими давно забытую арию и так трудно и казалось неохотно отсчитывавших все уходившее и уходившее время.

Я приехал не особенно рано, у крыльца с колоннами уже стояла толпа крестьян без шапок, я довольно долго провозился с больной, и, когда уезжал после завтрака, толпа все стояла — смиренная, боязливая и все ждала, когда выйдет барин.

Так и доживал свой век одинокий, нелюдимый старик — он ни к кому не ездил в гости и редко кто бывал у него в старом пустом доме, с обезлюдевшими дворовыми службами, с заросшим травой, не вытоптанным колесами двором, — этот обломок крепостной России, отрицавший и должно быть ненавидевший все то новое, что входило в жизнь.

. . . .

Тогда только семнадцать лет прошло с освобождения крестьян, и много встречалось еще дворян с незажившей раной в сердце, обиженных, непримирившихся. Пало крепостное право, но медленно и трудно уходило крепостное прошлое, и долго и вверху и внизу оставались крепостные чувства, в нравах, в людских отношениях. Медленно уходила старая крепость из человеческих душ.

Не ушла, не совсем еще ушла она и теперь, когда я пишу эти строки.

КАРЕЕВ

Встречались еще тургеневские типы, пережитки давнего, тени уходившего дня.

Был помещик Кареев. В городе появлялся изредка и всегда неожиданно. И когда видели на улице стройную фигуру, с тонкой талией, перетянутой поверх поддевки-казакина кавказским ремнем, городские люди знали, что где-нибудь в уезде готовится грандиозная охота на волков и лисиц с облавами, с гончими и борзыми — в двух-трех имениях сохранялась еще псовая охота со старым антуражем. Из каких-то углов появлялись неведомые люди, которых в другое время редко можно было встретить, в фантастических костюмах, с собаками, с ружьями, с нагайками.

Кареев так же внезапно исчезал и неизвестно куда, и только время от времени доносились слухи, что он где-нибудь далеко в Тамбовской или Пензенской губ., которая тогда еще славилась своими помещиками-охотниками, целыми ватагами, с дворней, с кухнями, со сворами собак переезжавшими из уезда в уезд.

Как жил и чем жил Кареев, мало кому было известно. Он был совершенно одинок, у него не было семьи, кажется, не было родных в нашем уезде. Недолго он прослужил офицером и давно уже жил бродячей жизнью, переезжая из губернии в губернию везде, где была крупная охота. Где-то в углу уезда у Кареева оставалась еще земля и дом, говорили, что имением управляла его старая няня и что он всегда удовлетворялся тем немногим, что считали возможным давать ему арендовавшие землю крестьяне его деревни.

Едва ли дом, земля и все, что связано с хозяйством, занимали большое место в жизни Кареева. У него были две драгоценности, неотделимые от него, с чем он никогда не расставался: чудесный неутомимый конь и борзая сука таких кровей, что записные охотники, когда рассказывали генеологию суки, приходили в благоговение и говорили, что это единственная сука, отпрыск

знаменитейшей во всем мире, вымирающей породы. Ему предлагали не раз безумные деньги за суку, он только смеялся. Получить щенка от суки — Кареев не продавал, а только дарил — считалось не только большим счастьем, но и великой честью.

Кареев не был ни мотом, ни пьяницей, ни игроком — его единственная страсть, существо жизни — была охота. И мне так же трудно представить себе Кареева без его собаки и лошади, оседлым человеком, как трудно представить среднего обывателя без «дела», без дома, без уюта. Когда я встречал его в гостиной, с лампами под абажуром, в мягком кресле, среди всего уюта и комфорта помещичьего насиженного места, среди дам, среди отсыревших, немного обрюзгших дворян — его, с обветренным сухим и строгим лицом, с круглыми, как у птицы зоркими глазами, казавшегося моложе его 35 — 40 лет — мне все казалось, что он отвык от этой мирной заабажуренной обстановки, что ему чуждо то, о чем говорили в гостиной — о земстве, о губернских и столичных новостях. И потому, казалось мне, он был так молчалив, так мало принимал участия в общем разговоре.

К нему было особое отношение местных людей: уважительное и немного ироническое. Очень одобряли «барина Кареева» и крестьяне, с которыми мне приходилось говорить о нем: не прижимает.

При мне случилась история, наделавшая шуму в целой губернии. Проезжал со своей охотой через черноземную полосу России один из великих князей кажется Николай Николаевич. Маршрут был заранее составлен, и великокняжеская охота должна была пройти через имение Кареева, о чем, как о решенном деле, и предупредили его местные власти. Кареев обиделся и заявил, что никто не имеет права распоряжаться его землей и что он не пропустит великого князя охотиться в его имении. Вышел огромный скандал. Приезжали власти от имени губернатора упрашивать Кареева, но он категорически заявил, что будет стоять с ружьем в руках на своей меже и никакой

охоты у себя не допустит. Он настоял на своем, и великому князю пришлось изменить свой маршрут и сделать большой объезд, чтобы миновать имение Кареева.

Помню, с каким великим изумлением передавали обыватели друг другу подробности происшествия, как долго обсуждали в обществе этот «дерзкий» поступок Кареева, так не похожий на тогдашние нравы, когда мало было чувства чести и так много рабских чувств.

НАСЛЕДНИКИ

Появлялись иногда в уезде молодые дворяне-помещики, получавшие наследство, почему-либо неблагополучно покончившие со своим образованием и не достигшие диплома и соответствующих должностей и занятий. Те устраивали свои дела быстро и просто. Начинался звон и гром по уезду.

После личных поездок в Лебедянь на ярмарку или в Тамбов, в результате бесконечных мен — всегда удачных и выгодных — получалась великолепная тройка со свирепым иноходцем в корню, с донскими пристяжными, что, выгнувши шею, летели как птицы. Покупался щегольской летний экипаж, белые и узорчатые с золоченой резьбой роскошные сани, расписная дуга, подбирались под тон, что тоже требовало серьезного внимания, валдайские колокольчики, и начинались дикие поездки по уезду с бубенцами, погремушками, с заливавшимися колокольчиками и безумно оравшим кучером.

Опустошались бакалейные магазины в городе, быстро заводились знакомства — с быстрым переходом на «ты» — с офицерами стоявшей в городе воинской части, с молодыми людьми, необремененными занятиями и изнывавшими от скуки в своих именьицах — и большая компания мало знакомых, а то совсем незнакомых людей ехала к новому помещику.

С утра до ночи шел пир на весь мир. Была своя музыка, играли на рояле, на гитаре, на гармониях, на гребешках, на стаканах. С увлечением пели, отчаянно плясали. Спали на диванах, на полу, на столах. Среди этих орав беспутной молодежи встречались способные люди, превосходно игравшие, хорошо декламировавшие монологи поэтов, с успехом выступавшие на любительских спектаклях.

С крестьянами складывались приятные для обеих сторон отношения. Заниматься хозяйством, вести какие-то записи и счета — вещь скучная, да и некогда было — земля сдавалась в аренду по сходным ценам и притом не гнались за своевременным и аккуратным исполнением арендных обязательств, и соседние крестьяне с завистью смотрели на сельскохозяйственные порядки, установившиеся в имении нового помещика. От пиршеств перепадало и крестьянам, водкой угощали усердно, по праздникам на господском дворе собирались из деревни девицы петь песни, водить хороводы и получали угощенье пряниками, орехами, стручками и сладкой водочкой. Я уже не говорю об обилии широких сельскохозяйственных замыслов, возникавших в головах новых помещиков, осуществление которых как-то складывалось в пользу не барина, а крестьянина.

Я встречал таких «наследников»-молодых помещиков и в других местах. Дело кончалось быстро, в три — пять лет, смотря по размаху помещика. Имение закладывалось и перезакладывалось и в конце концов уходило от владельцев, а молодые люди поступали в провинциальные труппы, пристраивались к железнодорожным дядюшкам и тетушкам, а случалось, становились проводниками русской государственности где-нибудь на окраинах — в Польше, в Ташкенте, в далеких углах Сибири, куда неохотно шли серьезные деловые чиновники, где не требовалось дипломов и преизбыточных знаний и высоко расценивались дядюшки и тетушки, кузины и кузены.

Я только два года прослужил в уезде, но связей с ним долго не порывал и в общем знал, что там делается. С имениями шло на убыль. Дворянские имения распродавались. Старые дворяне уходили совсем из своих мест и порывали всякие связи с дедов-

ской землей — исчезали из уезда целые фамилии, когда-то занимавшие крупное место в местной жизни. Покупали имения местные купцы и какие-то пришлые люди из Москвы и Петербурга — судя по фамилиям, недворянского рода, покупали крестьяне, местные и пришлые. Изменилась и вся жизнь. Начали разрабатываться каменноугольные копи, при мне заброшенные, то открывавшиеся, то закрывавшиеся.

Как-то лет десять спустя в других местах я разговорился с пациенткой, бывшей помещицей Скопинского уезда. Мы говорили о вестях, которые она получала из Скопинского уезда, где у ней остались родные.

— А знаете, — сказала она мне, — вчера у меня была княжна... — Она назвала мне одну из наиболее громких княжеских фамилий, игравших когда-то крупную роль в русской истории. — И представьте — приходила наниматься бонной. И на мой вопрос прибавила:

— Не взяла. Не могла взять... Вы подумайте — как я возьму эту княжну на 15 рублей жалованья делать все то, что у меня делает бонна. Жалко было, а отказала.

И пошла должно быть княжна стучаться в другие двери с тяжелой ношей своей фамилии на плечах. А я знал и помнил ее сестру, бывшую замужем за крупным помещиком Скопинского уезда, в мое время уж начинавшим «оборачиваться», но продолжавшим еще держать старый тон жизни и игравшим значительную роль в общественной жизни уезда.

Давно шли на убыль дворянские роды. Я знавал и лечил в моем участке однодворцев с громкими древними боярскими фамилиями, ничем не отличавшихся по быту и облику от крестьян. Был в уезде — говорили мне — целый поселок князей, князей Рюриковичей, как-то не потерявших княжеского звания. Жили они, как крестьяне, ходили в лаптях и отличались от крестьян только тем, что почему-то пахали и косили в красных рубахах, не принятых в тех местах, и в шляпах. Мой знакомый мировой судья как-то попросил одного из этих князей

расписаться, как свидетеля по какому-то делу, и получил ответ:

— Я неграмотный.

Слышал потом, что один из этого поселка сделал карьеру. Добился грамоты, служил писцом в полицейском управлении, и женила его на себе богатая купчиха, пожелавшая сделаться княгиней.

И познакомился я с дворянской семьей не совсем обычной и в то же время характерной для русского дворянства.

Первое же лето в 78-м году мне пришлось на два месяца переехать из Милославского, где был мой медицинский пункт, в соседнее имение за три версты того же Мусина-Пушкина, Мосальское, — так как Мусин-Пушкин просил меня предоставить постоянную мою квартиру родственной ему семье, Елене Алексеевне Кравченко, поселившейся на два месяца с дочерью и двумя сыновьями.

Ежедневно я приезжал из Мосальщины на прием и ежедневно, конечно, виделся с семьей, и у меня скоро сложились близкие дружественные отношения в особенности с матерью, Еленой Алексеевной.

Она была урожденная княжна Кропоткина, сестра революционеров Петра Алексеевича и Александра Алексеевича Кропоткиных. Их большие имения и Рязанские и Калужские давно исчезли в той же прорве, в которую исчезли уже и тогда дворянские и княжеские имения, и оставался у ней только маленький кусочек земли в моем участке с маленьким домиком, настолько убогим, что нельзя им было приехать на лето в свое имение, а должны были устроиться в тесной и весьма скромной моей квартире.

Было в ней от талантливости братьев, но и сама она представляла яркую индивидуальность и душою сложилась такою, какая она была не под влиянием братьев, которые были моложе ее. Она была настоящая княжна Кропоткина, не стригла себе волосы, не убегала из родительского дома, в свое время вышла

за полковника Кравченко, прижила с ним трех детей, уже взрослых, когда я их знал, и вместе с тем несла в себе типичные черты настоящей интеллигентной и глубоко демократической русской женщины, я бы сказал близкой к тем шестидесятницам, которые стригли волосы и убегали из родительских домов.

Она была на редкость остроумный человек, у ней был несомненно художественный талант. Каждый рассказ ее, обстановка прошлой жизни, житейские случаи, все это запечатлено было ярким юмором и художественным построением. И отрицанием прошлого. Смеясь, рассказывала она мне, как во время ее юности в деревне, где они жили по летам, в праздники собирались в церкви священник и прихожане и не звонили в колокол и не начинали службы, пока не даст приказ и не пожелает подняться ее отец, князь Кропоткин. И тоже смеясь, рассказывала, как ее муж полковник Кравченко прибавлял к своей фамилии «Хмельницкий», чтобы установить происхождение от Богдана Хмельницкого, и прибавляла «все это он выдумывал». Смеялась над бытом и фантазиями дворян и рассказывала мне веселые истории о своих родственниках, которыми полна была Рязанская губ., Мусиных-Пушкиных и Хрущевых и о своих двоюродных братьях, из которых один, мой пациент, был дивизионным генералом в Польше, а другой генерал-губернатором в Харькове.

Она мало говорила мне об Александре Алексеевиче Кропоткине и много говорила о Петре Алексеевиче. Образно рассказывала о побеге его из тюрьмы, художественно рассказывала со слов Петра Алексеевича, как он жил одно время пажом во дворце Елены Павловны. Как великолепно выдрессированный лакей звал к обеду, как, в три погибели согнувшись, торжественным и важным голосом оповещал он великую княгиню:

— Ваше императорское высочество, кушать подано.

Как потом, постепенно выпрямляя спину и постепенно повышая голос, говорил:

— Ваше сиятельство, — Ваше высокопревосходительство и просто превосходительство и, продвигаясь к более низшим чинам стучал им пятками в дверь и просто выкрикивал: «обедать», «обедать».

И вот я вспоминаю русское дворянство, с которым пришлось мне близко познакомиться за мои долгие скитания и в центральной России, и на востоке и на юге, и у меня осталось впечатление, если не говорить о высшей аристократии, вернее о дворянстве бюрократическом, — что русское дворянство наименее сословное, самое демократическое, может быть, имеющее родство только с итальянским дворянством. Я уже не говорю о том, что первое революционное движение с требованием народоправства и освобождения крестьян исходило от дворян, высших аристократических слоев дворянства, декабристов, что вся великолепная классическая и такая демократическая литература созданы были дворянством, бытовые явления дворянства были не похожи на западно-европейскую жизнь.

На моих глазах происходило удивительно простое и легкое ассимилирование дворянства с русскими разночинцами. Я не запомню в моей жизни визитной карточки, где было бы написано: дворянин такой-то, де по-французски и фон, которые обязательно значились на визитных карточках французов и немцев.

II

В ПРОВИНЦИИ

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ — ВЕДЕРНИКОВ, ГОЛИКОВ, ХВОЩИНСКАЯ (В. КРЕСТОВСКИЙ)

Нашлись в Скопине люди, с которыми я крепко сдружился. Перед отъездом на место один из моих московских знакомых, узнавши, что я еду служить земским врачом в Скопинский уезд, сообщил мне, что, кажется, в Скопине живет его знакомый по 60-м годам, и просил передать привет. Я скоро нашел Ивана Васильевича Ведерникова.

То была одна из трагедий русской жизни, — трагедия личной жизни и трагедия русской науки, каких было много за время самодержавия. В начале 60-х годов Ведерников по окончании курса был оставлен при Московском университете по кафедре химии (кажется, на место профессора Лясковского) и, вместо заграничной командировки, отправлен на два года в Петербург работать с уже тогда гремевшим Менделеевым. Там он вошел в кружок молодых ученых, литераторов, разночинцев, начинавших выходить на революционный путь. Он был близок с Д. И. Писаревым и много рассказывал мне о нем, но его мировоззрения не разделял и в этом отношении целиком принадлежал к кружкам, группировавшимся около Худякова и Ножина, к которым также тесно примыкал и молодой Н. К. Михайловский.

Ведерников очень высоко ставил Худякова — с которым вместе и жил — но совершенно особое отношение было у него к Ножину. Не экспансивный, сдержанный, осторожный в своих

суждениях, Ведерников считал Ножина гениальным человеком, исключительного ума и таланта, человеком, какого он больше не встречал в жизни. Говорил, что Ножин оказывал огромное влияние не только на учащуюся молодежь, группировавшуюся около него, но и на молодых ученых и между прочим на Михайловского. Говорил, что основные положения статьи Михайловского — «Что такое прогресс» были развертыванием тех самых философских и естественно-научных широких концепций, которые высказывались Ножиным в его беседах и намечались в его писаниях.

Когда возникло Каракозовское дело, Ведерникова, как жившего с Худяковым и вращавшегося в одних кружках, арестовали, продержали в тюрьме и выслали на родину, в Рязанскую губ., без обозначения срока, с тем фактическим ограничением прав, каким подвергались высылаемые. И прежде всего с гибелью ученой карьеры, — возврата к кафедре Ведерникову не было.

Он долго скитался в поисках заработка, служил одно время в Пронске секретарем Съезда мировых судей, пока не был принят в акцизное ведомство, куда требовались честные люди, которые не соблазнялись бы взятками, и где поэтому поневоле мирились с политической неблагонадежностью.

Акцизным чиновником я и застал Ведерникова в Скопине. Небольшого роста, сгорбленный, с добрыми и печальными глазами, он был молчаливый, задумчивый и редко принимал участие в общем разговоре. Оживлялся только тогда, когда подымался вопрос о 60-х годах, когда вспоминал он о том большом и светлом, что развертывалось тогда, о близких и дорогих ему людях, которых беспутная русская жизнь развеяла и не дала проявить то ценное, что несли они в себе.

Оживлялся он и глаза его были не скучные и не унылые, когда ему рассказывали о движении 70-х годов, о семидесятниках, о том, во что мы верили, на что надеялись, за что бились. И случалось, этот молчаливый, сосредоточенный человек после дол-

гого вечернего собеседования говорил мне — какая радость в его душе оттого, что дело их, шестидесятников, не погибло, что мы, семидесятники, еще строже и прямее поставили вопросы, которые ставили они...

По натуре, по всему психическому складу, он был типичный ученый, и химия была и оставалась для него дорогим, самым близким его уму и сердцу. Как-то раз я увез его с собой в деревню. Ведерников был другой, не городской, сбежала с него сумрачная тень, он радовался полям, простору, своему освобождению от городской акцизности.

И помню, вечером заговорил о химии. Долго говорил — я не прерывал его — о будущем химии, о неизбежном синтезе химии и физики, о перспективах, которые открываются пред химией, предсказывал то, что долго спустя вскрылось в эволюции физики и химии. С горячим увлечением говорил о том, что может дать в будущем человечеству химия, даже в области решения социальных проблем.

Я помню его взволнованный голос, одухотворенное лицо, — это был не скопинский акцизный чиновник. Это была философия и поэзия химии, то был широкий размах мысли, и я тут только понял, как жадно и пристально продолжал он следить за прогрессом химии в России и на Западе, чем была для него химия. И чем бы мог быть для химии этот скромный, тихий, задумчивый человек, акцизный чиновник, исполнявший добросовестно свое акцизное дело.

Жили они с женой скромно и одиноко. В местных делах И. В. участия не принимал, кроме двух-трех знакомых, родственных им по духу, по прошлому, почти никто у них не бывал. Обстановка была типичная интеллигентская — в квартире было только то, что нужно для еды, для спанья, для книг, для занятия детей, и только рояль выпирала из обстановки, не много разнившейся от студенческой. Жил он скудно — трое из детей уже учились в гимназии и по вечерам И. В. приходилось заниматься с ними.

Была еще у него трепетная привязанность, тайна его сердца, скрашивавшая его жизнь — несколько десятин, как-то уцелевших от родового имения в Зарайском уезде. Он ничего не получал от своего именьица и, наоборот, вкладывал в него все, что смог сберечь из своего скудного жалованья. И еще более вкладывал души, своей нежной любви — все надеялся когда-нибудь бросить службу и поселиться в своем маленьком лесочке из березок, дубков и липок. Я был там. Все было маленькое, крошечное, молодняк-лесок, аллейка с просветом между деревьями, лужок, крохотный прудок, избушка из двух-трех комнат, в которой еле могла умещаться его семья.

Весело было ходить с ним по его владениям. Он любовно следил за ростом каждого деревца, и нужно было слышать, как расхваливал он свой, правда, ласковый и милый пейзаж. Все было для него особенно мило — и прудок, и аллейки, и его зарайское небо, что смотрело на его землю.

Его мечта не осуществилась. Я знал, что Ведерников долго продолжал служить, все не выходила пенсия, и попрежнему служба редко отпускала его в родную землицу. А пронесшийся в тех местах ураган, должно быть, разметал по ветру все, что береглось и холилось Ведерниковым.

И злая жизнь словно издевалась над ним. Второй его сын, Василий, способный юноша, готовился к кафедре геологии — ему было уже обещано оставление при кафедре, но незадолго до сдачи выпускного экзамена он был арестован по какому-то политическому делу, два года просидел в тюрьме за ткацким станком и был выброшен с разбитой мечтой о кафедре. Я видел его после тюрьмы. Он с таким же увлечением говорил о геологии, о своих работах по геологии на Кавказе, с каким отец его о химии, и так же, наконец, должен был отказаться от своего любимого дела и устроился на окраине на Кавказе в какой-то землеустроительной комиссии.

Так издавна ломались людские жизни в России. И, повторяю, то было трагедией не только личной жизни, но и трагедией

*

русской науки. Люди одаренные, горячо преданные науке, но не отказывавшиеся от своей гражданской чести, попадали в тюрьмы, в долгие ссылки, лишались возможности работать в своем любимом деле. Профессора снимались с кафедры и шли служить в частные учреждения или работать в журналистике. Я помню, специализировавшийся по санскритскому языку очутился в конце концов десятником на постройке железной дороги. И задолго еще до недоброй памяти Кассо шло оскудение и запустение профессорских кафедр, так резко сказавшееся после великого подъема, могучего расцвета русской науки в 60-х годах, когда можно было ждать, что русская наука засверкает блестящими именами.

Елена Васильевна, жена Ведерникова, была также шестидесятницей со всем тем характерным, что легло на людей шестидесятых годов. В ней не было той печали, которая тенью легла на ее мужа, она была живая, всегда бодрая, смело и мужественно встречала то, что посылала ей жизнь. Было в ней светлое и ясное, должно быть с тех пор, как семнадцати лет, кончивши институт, убежала она из родительского дома — помещичьего дома той же Рязанской губ. — в Петербург учиться, когда победно остригла свою косу — символ отречения от старого мира — когда вдыхала в себя бурное и радостное, чем дышала первая половина шестидесятых годов. Доля той восторженности, того гордого и смелого, того победного, что было в тогдашней жизни, сохраняла она, мать пятерых детей, переживая тяжелые и скучные годы, обреченная на жизнь в скучном уездном городе, на жизнь особняком, уединенно, где так редко были встречи с людьми, близкими по духу, родственными по настроению.

И в том одиночестве и пустынности, в котором она жила, музыка заполнила ее душу, заменила ей общество, друзей, близких. Проснулась в ней музыка, очевидно давно лежавшая в душе и забытая, заброшенная в шестидесятые года, когда людям было не до музыки. Когда ей делалось скучно и отпускали

от себя хозяйственные заботы, она садилась за рояль и играла долгие часы.

Елена Васильевна просвещала и меня насчет музыки. Когда я приезжал из участка в город, я любил бывать у нее днем, когда дети бывали в гимназии, она садилась за рояль и подолгу играла мне. Знакомила меня с Моцартом и Шубертом, Шуманом и Шопеном, но ее любимцами были Бетховен и Лист. И должно быть великий Бетховен и бурный Лист напоминают ей о том большом и бурном, что было в шестидесятых годах. Случалось, она останавливалась на музыкальной фразе, поворачивала ко мне свою коротко остриженную, начинавшую седеть голову с молодыми глазами и начинала говорить о больших людях, с которыми встречалась она в молодости, в особенности о тех же Худякове и Ножине; рассказывала о новом и бурном, что входило тогда в жизнь, как по-новому перестраивалась жизнь, нравы, быт.

И как-то раз, тоже за роялью, рассказала, как встретилась она в Петербурге с И. В. Ведерниковым, как полюбили они друг друга и решили жить без обрядов, не венчавшись. Они находили — и он и она — что венчанье, официальный брак кладут какие-то цепи на людей, что самое хождение вокруг аналоя являлось для них чем-то пятнавшим, опорачивавшим и унижавшим их чистую любовь.

Им все-таки пришлось в конце концов ходить вокруг аналоя, когда у них уже было двое детей. Жизнь в маленьком провинциальном городе в роде Пронска видела нечистое в том, что они считали самым чистым, и недружелюбно смотрела на невенчавшихся супругов. И вышло, что двое старших детей носили фамилию матери — Гололобовых, а трое младших — Ведерниковы.

Так и жили они долгую согласную жизнь, и я знал, что заботы и тяготы многосемейной и скудной жизни и все то нудное и тяжелое, что приходилось переживать, никогда не омрачали эту сложившуюся в шестидесятых годах крепкую и нежную семейную жизнь.

Таким же шестидесятником, хотя и полной противоположностью Ведерникову, был Андрей Никифорович Голиков. Он был буйный разночинец, типичный представитель того разночинца, который так шумно вышел в 60-х годах на русскую улицу, заполнил общественные учреждения, ряды литературы, рекрутировавшиеся раньше преимущественно из дворянской среды, выделил кадры революционных деятелей и создал общественную атмосферу, которая так резко разнилась от атмосферы 40-х и 50-х годов.

Голиков был сын дьячка из северных губерний — говорил на о, в молодости слушал лекции в Петербургском университете и был исключен оттуда за политическую неблагонадежность. Долго потом скитался в качестве учителя по дворянским усадьбам, — был **на кондициях**, как говорили тогда, — но уже задолго до моего приезда обосновался в Скопине в качестве частного поверенного.

Он был хороший юрист, так отзывался мне о нем долго спустя один из старейших и наиболее уважаемых московских адвокатов. Патентованного адвоката в Скопине не было, у Голикова была значительная практика в городе, но прежде всего он был крестьянский адвокат и среди крестьян уезда пользовался неограниченным авторитетом.

У Голикова была не совсем обычная манера обращения с клиентами. Помню, я как-то ночевал у него в стареньком домике, который он снимал у какой-то мещанки. Еще с утра я заметил трех крестьян, которые почему-то не шли в дом и с котомками за плечами стояли за тыном, окружавшим плохонький садик. Стоявший в средине большой, широкоплечий крестьянин с благообразной бородой, босой, с расстегнутым воротом рубашки таинственно поманил меня пальцем и боязливым шопотом спросил:

— Дома Микифорыч-то?

Я не успел ответить, как за мной загремел голос Голикова.

— К чорту. Пошли к чорту... Вон...

Я никогда не видел Голикова в таком бешенстве, лицо у него стало белое, как бумага, нижняя челюсть тряслась, и целый поток крепких слов сыпался на головы стоявших за тыном людей. Крайние стояли молча, смиренно, с покорным и жалостным видом, а владелец благообразной бороды прятался за тын. Время от времени борода поднималась из-за тына, и ласковый тенорок пробовал говорить успокоительно:

— Ты постой, Микифорыч. Дайкось я обскажу тебе...—Но на голову его сыпались еще более злые слова, и он снова приседал за тыном.

— Так и скажи обществу, — гремел голос Голикова, — плевать я хочу на ваше дело. Идите к барину в лапы. Пропили совесть, подлецы. Пошли вон. Чтобы духу вашего не было...

Я ушел, не дождавшись конца сцены, а вечером Голиков рассказал, в чем дело. Он давно вел дело, — тяжбу крестьянского общества с помещиком, захватившим крестьянские луга, и в последнюю минуту, когда дело налаживалось и подходило к концу, управляющий помещика заманил к себе этих трех уполномоченных общества, напоил их и подсунул благообразной бороде, деревенскому грамотею, и его товарищам подписать какую-то бумагу, содержания которой они хорошенько и вспомнить не могли, но которой, проспавшись, испугались. В конце концов Андрей Никифорович смилостивился.

— Все дело испортили... — он знал уже содержание бумаги, — придется долго возиться...

Он был высокий, крупный, с громким голосом, с порывистыми движениями. По улице не ходил, а бегал, одетый в лето и зиму в какое-то полукафтанье в роде дьячковского подрясника. У него были большие волосатые руки, седеющие волосы стояли торчмя, прямые и жесткие, как иглы у ежа, большая рыжая борода была тоже не вьющаяся, и весь он не гибкий, без извилин, прямой и суровый.

Все, что он вынес из 60-х годов, лежало в нем глубоким пластом, нерушимым и неизменным, крепкой заповедью и раз на-

всегда определило его убеждения, моральные основы — свободу и независимость духа, то победное, о чем я уже говорил, — все, вплоть до устройства его личной жизни, его быта, поведения... Взятку он называл взяткой, воровство воровством, глупости, которые проделывало начальство, глупостями. В городе его считали дерзким, озорным, смутьяном и немного побаивались. Когда я вспоминаю, как Голиков на улице, в трактире Ульяна Ивановича, в лавках, где собиралась публика, говорил не стесняясь громогласно о том, что делается в банке, в городской думе, в полицейском управлении — обо всем, что говорилось обывателями шопотом, на ухо, — и вспоминаю, что никто не трогал его — я думаю, что в то бесправное, шопотное, боязливое время человек, считавший себя в праве громко обсуждать общественные дела, человек не боявшийся, возбуждал некоторый страх своей небоязливостью, что именно дерзость его служила до известной степени защитой для него. «Лучше не связываться»...

Был еще у Голикова указующий перст на жизненном пути — Прудон. Как-то вечером застал он меня на постоялом дворе за чтением «Капитала» Маркса, я только что получил по почте забытый в Москве том — и заинтересовался толстой книгой. Когда я рассказал ему, над чем работал Маркс, какую роль играл он в Западной Европе и как в последнее время русская молодежь зачитывается им — он совершенно удовлетворился моими объяснениями и уверенно выговорил:

— А, это как у нас был Прудон...

Прудон залег в нем таким же глубоким пластом, как и все наследие 60-х годов. И быть может было некоторое внутреннее сродство этого русского дьячковского сына с упрямым Безансонским мужиком, — как характеризовал Прудона Герцен, — ломившимся грубо и дерзко в скованное давними навыками тонное парламентское собрание, шокировавшим французов своими резкими выступлениями.

Андрей Никифорович зарабатывал порядочно, но деньги не

держались у него, и жил он на студенческий манер в маленькой квартирке в две комнаты с плохонькой старой мебелью. Прислуги не держал, и только по утрам приходила женщина прибрать в комнатах и состряпать немудрый обед. Его потребности были ограничены до минимума и некоторый отпечаток аскетизма лежал на всей его жизни. Собственности он не имел и в слова «собственность» «собственник», вкладывал ядовитый оттенок.

И должно быть Прудон был виноват в единственном расхождении Голикова с заветами 60-х годов, в его отношении к женскому вопросу. Как и Прудон он находил, что женщина должна быть только женой, матерью и хозяйкой и нечего ей заниматься общественной деятельностью и путаться в несвойственные ей высшие духовные сферы. На этой почве у него не раз возникали горячие споры с женой Ведерникова, неуклонной поборницей женского равноправия.

— Дуры! — как-то говорил он мне, — бегут чего-учиться. Вот жених у ней, — он назвал фамилию скопинской девицы, собиравшейся ехать в Москву на Герьевские курсы, — хороший парень, подходящий, — она на курсы. Дура...

Когда я уличал его, что именно этой дуре он дал деньги, чтобы ехать на курсы, что помогал и другим подобным «дурам» — он оправдывался.

— Да ведь голодать будут. Какое уж тогда ученье... Разве они что-нибудь соображают?

Женой Голикова была Мария Евграфовна Михайловская, первая жена писателя Николая Константиновича Михайловского, скоро разошедшаяся с Михайловским. Их супружеская жизнь устроилась не по обычному, на совсем особый лад. Мария Евграфовна жила в Москве и только изредка приезжала в Скопин. Голиков по судебным делам часто ездил в Москву — оба жили отдельной самостоятельной жизнью. Марию Евграфовну я мало знал, Е. В. Ведерникова говорила мне, что Михайловская была в 60-х годах типичной «нигилисткой» — в мое время

она также обратилась к музыке и, насколько мне известно, жила в последнее время уроками музыки.

Была у Голикова еще привязанность, — друг, с которым он делил свою скопинскую жизнь, — его собака, огромный сен-бернар, Лев. Где Голиков раздобыл такое чудовище — я не знаю, но такого размера сен-бернара я не встречал и в Швейцарии. Как-то раз мне пришлось везти Льва в Москву — там останавливались в изумлении, когда Лев бежал по московским улицам за моей пролеткой, а Голиков, возвратившись из Москвы, с гордостью объявил мне, что там, в зоологическом саду измеряли большого африканского льва и его, голиковского, Льва, и последний оказался больше ростом. В другой раз с неменьшей гордостью рассказал, что щенка от Льва купили за 800 рублей, что Львом кормится целая семья его знакомых, имеющая сен-бернарскую суку и продающая щенят от Льва.

Лев в значительной мере наполнял жизнь хозяина. Голиков водил его гулять, у Льва была отдельная комната, не хуже чем у хозяина, мягкий матрац. Сам Голиков серьезно уверял, что Лев не переносит обычного собачьего питания. Я не знаю, часто ли сам Голиков принимал ванну, но Льву полагалась раз в неделю теплая ванна, и сам хозяин мыл его. Он также сам расчесывал чудную волнистую шерсть Льва и серьезно уверял меня, что никогда не простужается только потому, что не носит других носков, кроме как из шерсти Льва. Это был культ Льва. Голиков уверял меня, что Лев понимает человеческую речь и между прочим не выносит бранных слов. Лев умеет определять людей с нравственной стороны, хорошо разбирается, кто порядочный человек и кто жулик, и соответственно устанавливает свои отношения.

Когда я поехал в Рязань на съезд земских врачей, Ведерниковы дали мне письмо к их давней и близкой знакомой Надежде Дмитриевне Зайончковской, урожденной Хвощинской, писавшей под псевдонимом — Крестовский.

Одно время она была значительным явлением в русской литературе, ее повестями, в особенности «Большой Медведицей», зачитывалась молодежь конца 60-х и первой половины 70-х годов. К тому времени, когда я с ней познакомился — то было в 1879 г. — она уже отходила от литературы и, давно овдовевшая, жила почти безвыездно в Рязани.

Было тихо и уютно в комнатах небольшого дома, особняка, усадьбы, какие еще оставались в таких старых городах, как Рязань, когда-то державных и шумных и давно заснувших глубоким сном. В большом кресле сидела сгорбленная старушка с коротко остриженными седыми волосами, казавшаяся совсем маленькой от глубокого кресла, в котором сидела. И так велика казалась сигара, которую курила маленькая женщина с завядшим лицом и живыми молодыми глазами.

Должно быть не часто приходили в тихий особнячок люди, интересовавшиеся литературой, так оживленно стала она рассказывать последние литературные новости...

... Недавно была в Петербурге... Встретила в редакции «Отечественных Записок» молодого писателя, красивого юношу — Гаршин — фамилия... [1] О нем много говорят теперь в литературных кругах — многого ждут... Письма получила — Михайловский и Салтыков все об одном пишут — злится цензура на «Отечественные Записки» — жмут. И вообще с литературными делами плохо, притесняют...

Она была тоже шестидесятница. Когда разговор зашел о Тургеневе, она заволновалась, и острое враждебное чувство засветилось в ее глазах. Стала говорить, как Тургенев не сумел понять людей 60-х годов, как исказил в «Отцах и Детях», как наклеветал на «детей».

Было в комнате, как в келье: жили две женщины (Н. Д. жила с родственницей), покончившие с личной жизнью, уединившиеся от окружающего мира. Все было в прошлом, были воспоминания. И все кругом было давнее, уходившее — и старинная мебель,

[1] Тогда только-что появились его «Четыре дня».

и старые портреты, и вязаные салфеточки, и безделушки на маленьких, вычурных столиках, служивших неизвестно для каких целей. Мир был за пределами сонного города, там, в Петербурге, где билась шумная и сложная литературная жизнь, где все спорили отцы и дети, откуда присылали вот эти свежие книжки «Отечественных Записок», что так жадно ждались, так жадно развертывались.

И все поминались в разговоре и давние, давно ушедшие люди и живые — Салтыков, Михайловский. Н. Д. придвигала мне ящики сигар и говорила:

— Вот эти Михаил Евграфович прислал, а эти Михайловский завез, когда на Кавказ ехал...

СКОПИН

Среди полей стоял город. И поля определяли физиономию города, быт его. В уезде и городе не было заводов и фабрик, кроме мельниц, винокуренных заводов и всяких предприятий, связанных с хлебом. Бывшие в уезде каменноугольные копи почему-то часто меняли владельцев, то открывались, то закрывались и не играли значительной роли ни в отхожих промыслах крестьян, ни в жизни города. Проходила мимо города железная дорога, но по-старому через поля двигались гурты скота из южных степей и, как в былые времена украинские чумаки двигались за солью в Крым, так в мое время целые крестьянские обозы с первой порошей уезжали на Дон, на Волгу за мерзлым судаком.

Для деревни торговали купцы, для деревни имелись мельницы, круподерки, лабазы для ссыпки хлеба. Городские мещане поставляли съемщиков помещичьих садов, арендаторов мельниц, конторщиков и управляющих для имений и просто землепашцев, как крестьяне обрабатывавших земли, прилегавшие к городу. И, кажется, наиболее значительное ремесло в городе была выделка горшков, и целая слободка горшечников тянулась на окраине города.

«Общества» в собственном смысле слова не было, не было даже места, где могли бы собираться городские люди — клуба, общественного собрания — и трактир Ульяна Ивановича был местом, где изредка по зимам устраивались вечера с танцами.

Интеллигенции мало было. Земства и городские самоуправления не обростали еще тогда всем тем, что явилось в последнее время. Мало было учителей, медицинского персонала, не было техников, инженеров, агрономов, всякого рода инструкторов — не было третьего элемента, сыгравшего потом такую крупную роль в созидательной работе самоуправлений и оказавшего заметное влияние на местную жизнь. Не было патентованных адвокатов; кроме уездного и городского полицейских врачей, в городе был только один врач, заведывавший земской больницей, и горожане стали обращаться ко мне по воскресеньям, когда узнавали о моем приезде в город.

И тем не менее тогдашний Скопин не был обычным уездным сонным городом. В нем были мужская и женская гимназии, что совсем было редкостью для уездного города по тем временам, недурно составленная библиотека, город был вымощен, что тоже не часто бывало в уездных городах.

И была необычно шумная жизнь, — в городе работал городской банк, знаменитый, гремевший по всей России Скопинский банк. А во главе банка Иван Гаврилович Рыков, вершивший судьбы не только банка, но и города, могший с известным правом сказать: «Скопин это — я».

По всей России расходились широковещательные рекламы, звавшие вкладчиков в Скопинский банк и обещавшие проценты, каких не могли давать другие банки. Подчеркивался русский характер банка и православие и благочиние. И текли со всей России деньги в Скопин, особенно много от старинного уклада людей, от духовенства, от монастырей, от архиереев. Помню, когда приходилось в поездках в Москву встречаться с денежными людьми, имевшими вклады в Скопинском банке, и говорить, что банк лопнет, люди не хотели верить и негодовали.

— Иван Гаврилович не какой-нибудь немец, [1] настоящий русак. Этот не обманет.

И дело велось действительно не по-иностранному, а попросту, без заморских ухищрений и хитросплетений. Удивительные рассказы ходили по городу об этой банковской простоте. Приходит нужный человек, полезный банку человек, и хочет позаимствовать. Иван Гаврилович будто бы придвигает полуоткрытый сундук, и проситель запускает руку и забирает, сколько рука может захватить. Может быть, это была легенда, но вот что по секрету рассказали мне банковские служащие и что потом стало известно всему городу. Был старичок, почтенный, скопинский купец, подручный Ивана Гавриловича. Заболел старичок, решил, что помирает, и на прожиток детям завернул в платочек деньжонок из банковской кассы — говорили, несколько сот тысяч, и ушел домой помирать. И сколько ни грозил Иван Гаврилович наследникам судом, продажей имущества, те благополучно соблюли родительские деньги. Так все и велось.

Я помню, в одном рассказе Глеба Успенского живописалось, как при ревизии такого же банка в банковском сундуке вместо денег оказалась только двойчатка ореха, что кладется для счастья — кажется, немного больше досталось и вкладчикам, когда банк лопнул, как широко раздувшийся радужный мыльный пузырь, но это случилось значительно позже, а в мое время банк процветал, и Иван Гаврилович Рыков гремел на всю Россию.

Он был желанным гостем для Петербурга, куда часто ездил, где покупал статьи, а главное молчание нужных газет, и — рассказывали сведущие люди, широко воспособлял петербургское чиновничество до высоких персонажей включительно. И этому можно было верить, судя по той позиции, какую занимал он в городе и губернии. Не только никто из властей предержащих не чинил препон в его головокружительной, явно мошенниче-

[1] Около этого времени лопнул банк Струсберга.

ской деятельности, но власти вытягивались в струнку пред Иваном Гавриловичем.

Совершенно солидные местные люди не как анекдот рассказывали мне, что при прежнем губернаторе, которого я уже не застал, скопинский исправник обязан был в полной парадной форме встречать Ивана Гавриловича на вокзале, когда тот возвращался из Петербурга или из Рязани. Рассказывали, не успел как-то исправник переодеться и явился на вокзал запросто, и Иван Гаврилович при публике накричал на исправника.

— Я вас, исправников, вагон выпишу.

Система правления Ивана Гавриловича банком и городом была не очень замысловатая. Он связывал и привязывал к себе наиболее видных гласных и вообще влиятельных людей в городе широким кредитом, таким, из которого не мог вылезть обыватель. Векселя переписывались и всегда можно было изничтожить обывателя, который вздумал бы бунтовать против банка. А в думе были гласные горшечники из слободки, которых Иван Гаврилович покупал оптом и в розницу.

Были обыватели, не кредитовавшиеся в банке и все-таки одобрявшие деятельность Рыкова — они указывали, что только при помощи субсидии банка существуют гимназии, открылась библиотека, устраиваются мостовые в городе.

Он был несомненно умный человек и крупная властная человеческая индивидуальность. Я раз только мельком видел его. Большой, широкоплечий, сутуловатый, с тяжело нависшим большим лбом, из-под которого смотрели угрюмые острые глаза, он был бы заметен во всякой толпе.

Кончил он плохо. Его присудили к ссылке на поселение в Восточную Сибирь, и он очутился в том же Енисейском округе, где жил тогда я в ссылке. Банковские воровские люди в общем не дурно устраивались в Сибири, но Ивану Гавриловичу не повезло. Его привезли в большое торговое село, — одно из тех, что играли в Сибири роль городов, местные купцы оказались

вкладчиками Скопинского банка, и Рыкову объявлен был бойкот — так рассказывали мне. Ему не сдавали сколько-нибудь удобного помещения, и должен он был ютиться в холодной сырой избе; на улицу ему нельзя было показываться, его открыто ругали, мальчишки улюлюкали и бросали в него каменьями. Мне рассказывали, что он забрасывал прошениями и губернатора, и генерал-губернатора, и своих бывших петербургских покровителей о переводе его в какой-нибудь город, но, кажется, он скоро умер в том же селе.

Рядом с верноподданными Ивана Гавриловича Рыкова были в городе люди непокорные, не соблазнявшиеся легким банковским кредитом и не считавшие правильным, чтобы городские гимназии и библиотека и скопинские мостовые устраивались на счет грабительских банковских денег.

Наиболее уважаемым человеком в городе был купец Брежнев, умный, строгий, мало разговорчивый, застегнутый человек. Он был горячо предан реформам 60-х годов, в особенности придавал большое значение земству и, несмотря на то, что вел крупное хлебное дело, состоял членом уездной земской управы, что было несомненным ущербом и помехой его торговому делу.

На почве земской службы я и сошелся с ним довольно близко. В земской управе это, можно сказать, был единственный земский работник, и он один старался, насколько мог, помочь моей медицинской работе. Очень радовался повышению обращений больных в мою амбулаторию и только улыбался, когда председатель напоминал мне, что я расходую слишком много лекарств, как ни один из моих предшественников. И в земском собрании он был одним из немногих гласных, которые защищали дело медицины и народного образования.

Изредка мне приходилось лечить его и, случалось, я подолгу засиживался у него в его чистеньких, тихих, задумчивых комнатах в беседах о том, чем должны быть земства и городское самоуправление, о конституционалистах тверского зем-

ства, о том, что несет борьба революционеров с самодержавной властью.

Брежнев не кредитовался в банке, не шел ни на какие сделки с банковской партией, и уже одно то, что этот умный, строгий и честный человек был против Рыкова и его банковской деятельности, придавало особый вес его выступлениям в городской жизни.

Были и другие обыватели, не связавшие себя с банком и державшиеся независимо. Образовалось даже своего рода «сообщество». Президентом был Голиков, а клубом, заговорщицким местом был кабинетик в трактире Ульяна Ивановича — не слишком конспиративное помещение, так как только жиденькие перегородки отделяли кабинетик об общего зала, где гудела машина и звенели чайники.

Мне не знакомы были жизнь и люди уездного города, и я с интересом всматривался в скопинскую жизнь. Через год после поступления на службу моя жена заняла место учительницы в скопинской гимназии, и ранним утром по воскресеньям я стал аккуратно приезжать из своей деревни в город и прямо с постоялого двора направляться в трактир Ульяна Ивановича, где в предобеденное время неизменно заседали Голиков и Пересыпкин, иногда Брежнев и другие сообщники. Здесь сосредоточивались все новости по городу и уезду, сюда стекались всякие слухи, достигавшие из губернского города, из Москвы и Петербурга, здесь же и обсуждались они и отсюда расходились по городу и уезду.

То была оппозиция Рыкову, оппозиция думским заправилам, оппозиция не очень благонадежная и в политическом отношении. Случалось, из общего зала, куда, нужно думать, доносился гудевший голос Голикова и громкие взрывы его смеха, являлись к нам перебежчики из банковского лагеря, чем-нибудь обиженные Рыковым, и ставили нас в курс последних банковских махинаций. Иногда забегал на минуточку лысенький лукавый

Ульян Иванович, по условиям своего дела ублажавший всех гостей, но в тайниках своей души склонявшийся на сторону оппозиции, и шопотом сообщал, о чем говорилось в общем зале и то секретное, что выбалтывали ему в подпитии вечерние посетители трактира. [1]

Появлялись в кабинетике деревенские люди, крестьяне, клиенты Голикова, знавшие, где его нужно искать, знакомые Брежнева и Пересыпкина. Они приносили нам сообщения о том, какие разговоры идут у крестьян насчет питерских «происшествий», и уносили от нас последние новости, и мне случалось иногда слышать в деревнях эти новости в том виде, в каком выходили они из нашего кабинетика. Выпивалось безмерное количество чаю, и мальчик-половой едва успевал приносить чайники со свежим кипятком... Иногда меня разыскивали городские больные, и тут же, в соседнем кабинетике я принимал их.

Больше всего удивлял меня в настроении местных людей, — я говорю об обществе, о чиновничьей, купеческой и мещанской обывательской среде, — постепенный уход от самодержавия, который наблюдался уже тогда, в конце 70-х и в начале 80-х годов.

Приходило известие о покушении на царя. Учителю уездного училища, мастеру писать в выспренном стиле, заказывалось верноподданническое послание. Нехотя, ругаясь, разыскивали чиновники треуголки и шпаги, облекались в парадные мундиры, шли в собор на обязательное благодарственное молебствие и расходились оттуда, обсуждая, ловко или не ловко произведено покушение. А толпа городского населения оставалась равнодушной и тоже рассматривала покушение более с точки зрения смелости террористов и умелой или неумелой организации покушения.

[1] По местным нравам считалось неприличным пить водку и вообще спиртные напитки днем в трактире.

Не особенно возмущалось и дворянство. После освобождения крестьян вплоть до воцарения дворянского царя — Александра III, когда дворянство снова собралось около престола, существовало некоторое охлаждение в верноподданнических чувствах дворянства, а дворяне-помещики, помнившие еще крепостные времена и не забывшие учиненной им «обиды», открыто злорадствовали.

— Вот вам и реформы. Достукались...

Понятно мне было и равнодушие чиновничества — я не говорю о полиции — набиравшегося из разночинцев и деклассированного дворянства, меня удивляло купечество и мещанство. У меня живо было еще в памяти, как всего за год до переезда в Скопин за нами, студентами, гнались мясники из Охотного ряда. Я прожил всю университетскую жизнь, давая уроки, довольно близко соприкасался с некоторыми московскими купеческими домами и хорошо знал приверженность этого купечества к царю и престолу. И даже не только тогда.

Долго спустя, когда уже дворянский характер царствования Александра III явственно вскрылся, когда народившееся университетское купечество уже было в некоторой оппозиции к самодержавию, довольно известный в Москве купец рассказывал мне, как он был представлен Александру III. В один из приездов в Москву царь посетил домовую церковь какого-то казенного учреждения, куда этот купец соорудил на свой счет новый иконостас. К сожалению, я не помню всего рассказа, — плохо впрочем, под напором охвативших его чувств помнил и сам купец свое свидание с царем и только несколько раз повторял мне: «Так прямо подошел ко мне и говорит: «Ты, говорит...»

Но я хорошо помню конец его рассказа:

— Как я ехал оттуда, какими улицами — не помню. Себя не помнил. Приехал домой, бухнулся в постель и давай реветь. Реву и реву. Четыре часа ревел. Жена прибежала — испугалась, за доктором хотела посылать.

— Чего ты? — говорит.

— А я и вымолвить ничего не могу, реву на голос и только. Когда-когда отошел...

Он рыдал от восторга, благоговения, от безмерного счастья, что видел царя, что царь стоял перед ним лицом к лицу и говорил ему: «Ты? . .»

И какой царь! Не царь, а царище. Пудов на восемь, подковы гнет. Знакомый купцу генерал в карты с царем играл, так рассказывал: перед ужином, пока в карты играли, царь восемнадцать рюмок водки пропустил, все селедочкой, как и мы, грешные, закусывал — и ни в глазе. А за ужином всякое винное добавление—и ничего. И хозяин настоящий, аккуратный,—сам папиросы набивает. Счета ему большие за папиросы подсовывали..

Вот такого отношения преданности, благоговения, обожания я совсем не встречал в нашем городе. Если не поднималась еще вражда, если вырвавшийся через 25 лет на улицу лозунг «Долой самодержавие» даже шопотом промежду себя еще не выговаривался обывателем, то глубокое равнодушие, уход от царя были уже налицо, и не было озлобления против «злодеев», устраивавших «злодейские» покушения, так определялись они на страницах большинства тогдашних газет, на царя и его слуг. А те же скопинские люди рассказывали мне, как по-другому было встречено пятнадцать лет перед тем покушение Каракозова, как негодовала тогда толпа.

А газеты несли в провинцию отчеты политических процессов — тогда еще они печатались — речи Бардиной, и рабочего Петра Алексеева, и Мышкина, и др., говорившие о произволе и насилии, о неправде, царящей в России, о всем том, о чем думал, не смея выговорить, провинциальный обыватель. И обыватель с недоумением и с некоторым испугом, но с невольным сочувствием всматривался в этих странных, трудных для его понимания людей, отказавшихся от личной жизни, уходивших от личных интересов и отдававших свою жизнь на борьбу за счастье других, за благо народа, за водворение правды на земле.

ОБЫСК

Помню, зимой в поздние сумерки, когда я возвращался с объезда больных по участку, у околицы соседней деревни ждали два конных полицейских, долго разыскивавшие меня по участку, и сообщили, что меня ждет начальство. Не позволено было зайти к больным этой деревни, и так, в сопровождении двух полицейских, я и приехал домой.

У крыльца стояла толпа крестьян, молча расступившаяся передо мной. В столовой было начальство, — исправник, молодой жандармский офицер, жандармы, понятые и мой приятель мировой судья Н. И. Барцев, приехавший предупредить меня об обыске, но успевший приехать только за полчаса до остальных гостей. Я не встречал раньше исправника и слышал только, что он не обычного типа, сделал карьеру из сельских учителей — умный и хитрый. Жандармского офицера я тоже не встречал.

Оказалось, что до приезда ко мне они произвели обыск у проживавшей в Скопине в качестве учительницы гимназии моей жены и привезли ее с собой. Начался обыск, — воистину удивительный обыск. Разделение властей — повсеместное тогда явление — сразу почувствовалось. Ротмистр предложил мне указать мой кабинет, — в других комнатах обыск не производился, — мы пошли вдвоем, и только в дверях, полуобротившись к оставшемуся сидеть на диване исправнику, ротмистр бросил фразу:

— Может быть, и вам будет угодно?

— Нет, что уж. Вы лучше это умеете делать... — Исправник махнул рукой и остался сидеть на диване и беседовать с мировым судьей.

Ротмистр небрежно перебрал бумаги, валявшиеся на письменном столе, и вдруг, неожиданно наклонившись ко мне, полушопотом спросил:

— За который ящик вы не боитесь?

Я невольно взглянул ему в лицо, оно внушало доверие, и я

указал на правый ящик стола. Мы торжественно вынесли ящик в столовую, положили перед исправником и стали разбирать накопившиеся там письма. Князь такой-то звал меня полечить его, княгиня из недалекой усадьбы сообщала о ходе болезни ее сына и спрашивала, что делать дальше, ротмистр прочитал вслух любезное письмо генерала князя Кропоткина. [1] Исправник морщился, когда ротмистр предлагал ему ознакомиться с содержанием писем моих пациентов, важных людей, проезжавших в это лето в свои имения, и делал вид, что мало интересуется тем, что ему подносят.

Так обыск и кончился. Довольно долго тянулся допрос, который велся в том же деликантом тоне и в котором уже исправник не принимал никакого участия. Ротмистр допрашивал по поводу Евгении Николаевны Фигнер, проживавшей у меня в предшествовавшее лето и в ту же осень арестованной в Петербурге по делу взрыва Зимнего дворца.

Ни о Пьянкове, ни о других гостях того лета меня не спрашивали.

Для окружающих обыск был большим событием. Кухарка и няня моих детей стали прятать вещи и как-то успели отнести в погреб шкатулку жены, которой они, очевидно, придавали большое значение. А за крыльцом толпа крестьян все росла, и стало проявляться в ней недружелюбное отношение к приезжим гостям. Во время допроса кухарка вызвала мою жену, оказалось, в толпе поднялся шум и начались пререкания между крестьянами и приезжими полицейскими, — толпа решила было не продавать сена и овса, которого требовали жандармы и полицейские, и послышались бранные окрики по адресу их. Жене пришлось уговаривать крестьян прекратить шум, чтобы не повредить мне, и продать то, чего требовали приезжие.

Николай Ив. Барцев рассказал мне потом, как они разговаривали с исправником, когда мы с ротмистром разбирали бумаги в кабинете.

[1] Родной брат харьковского губернатора и двоюродный брат Петра Алексеевича Кропоткина.

— Ну здесь нечего искать, — любезно говорил исправник, — здесь уже знали, ждали... Да и люди повидимому бывалые, на-чеку. А вот в городе поискать, например, у некоторых мировых судей, на полках между делами. [1]

— Ну что же, — так же любезно ответил мой приятель, — поедемте сейчас же ко мне и произведите обыск. Если найдете что-нибудь — ваше счастье, а не найдете — ваша физиономия пострадает.

— Вы все шутите, Николай Иванович, — сказал исправник. И разговор продолжался в прежнем любезном тоне.

В этот раз я не был арестован, с меня только взята была подписка о невыезде из пределов уезда, и я продолжал служить земским врачом.

Моей жене, конечно, пришлось оставить учительство в гимназии.

АРЕСТ

Прошло несколько месяцев, меня не трогали. Я продолжал работать в амбулатории, в больнице и разъезжать по участку. Работы все прибавлялось, и за работой я стал понемногу забывать об обыске и допросе. Я начал даже хлопоты о поступлении на службу в московское земство, — мне захотелось пополнить свои клинические недочеты, поработать в хорошей больнице — тогда уже московские земские больницы были прекрасно обставлены — и познакомиться с организацией земского медицинского дела, не такой хаотичной и примитивной, как в нашем уезде.

[1] Н. И. Барцев имел не очень благонадежное прошлое, у него тоже бывали раньше обыски. Он долго работал в губернском земстве по народному образованию, пока по цензу жены не был избран мировым судьей нашего уезда.

По воскресеньям я продолжал ездить в город, только двадцать верст от моего села. Как-то раз жандармский офицер, обыскивавший меня, пригласил меня полечить его детей, и скоро с ним и с его женой у меня сложились дружелюбные отношения.

Арест, как и обыск, был также несовсем обычный. В одно из воскресений в кабинетик Ульяна Ивановича, где мы по обычаю собрались, заглянул жандарм и поманил меня пальцем.

— Ротмистр просит ваше благородие. Только уж, пожалуйста, сейчас, что-то очень нужно. У меня и извозчик готов, — сказал он, когда я пообещал было приехать через полчаса. Ротмистр знал, где меня искать, этот самый жандарм не раз также по воскресеньям вызывал меня из кабинета Ульяна Ивановича, когда болел кто-нибудь из детей ротмистра, и я был уверен, что меня зовут по такому же поводу.

В гостиной я застал жену ротмистра. На мой вопрос о мальчике, которого незадолго перед тем я лечил, она начала, путаясь и запинаясь, говорить какие-то несуразные слова.

Вошел ротмистр, также смущенный, и тоже начал было говорить какие-то пустяшные слова и потом уже позвал меня в кабинет и вместо всяких объяснений показал полученную им из Петербурга телеграмму о моем аресте. Известие все-таки не было совсем неожиданное для меня, и я просил известить мою жену и спросил, скоро ли меня отправят в тюрьму.

— Супругу вашу я тотчас же уведомлю, а в тюрьму вас не отправлю. Не могу.

И на мое недоумение продолжал:

— Не могу. Вы не знаете, что за тюрьма здесь. Гнилушка, грязь, вонь, камеры холодные, гулять негде. Клоака... Вы останетесь у меня.

— Как это у вас? Вот здесь, в вашей квартире?

Я невольно рассмеялся.

— Да, здесь. Вот кабинет в вашем распоряжении. Вы будете арестованы, только останетесь у меня. Это очевидное недоразумение. Несомненно сегодня или завтра придет телеграмма отправить вас в Петербург. Какой смысл держать вас здесь, когда все дело, все обвиняемые в Петербурге?

Скоро был подан обед, растерянный вид хозяев прошел, мы скоро беседовали как добрые знакомые. В сумерки ротмистр даже разрешил мне — с соблюдением всяких предосторожностей — навестить тяжко больного, моего близкого знакомого, который с нетерпением ждал меня, как врача. Он спросил, кого бы я желал повидать, и на вечер пригласил в гости моих друзей, с которыми был только шапочно знаком — Ведерникова с женой, А. Н. Голикова и мирового судью Барцева. Вечер прошел очень оживленно, опять-таки как в кругу мирно собравшихся добрых знакомых. Хозяева, муж и жена, были любезны и предупредительны.

Утром никакой телеграммы не пришло. Я стал настаивать, чтобы меня отправили в тюрьму, но ротмистр продолжал уверять меня, что телеграмма вот-вот получится. И опять говорить, что это недоразумение, и все повторял, что не может отправить меня в местную тюрьму-клоаку. И опять весь день я провел в его квартире.

Как-то мы разговорились в его кабинете, и ротмистр откровенно рассказал мне свою историю.

Был он пехотный офицер и влюбился в теперешнюю жену свою, дочь богатого помещика, привыкшую жить в хорошей обстановке. Кроме жалованья, у него ничего не было, отец невесты не хотел отдавать дочь за офицера, живущего на грошевое армейское жалованье, да и сам он не желал вводить жену в обстановку жизни полковых дам и после короткого раздумья поступил в жандармы. О своей жандармской деятельности он избегал говорить — кажется, в то время и не было у него особых политических дел — и только рассказал, что за последнее время все учащаются случаи «оскорбления величества» в деревнях и что по приказу свыше они не дают уже хода таким делам и стараются как можно скорее потушить их.

Приехала из деревни жена с детьми, и весь день до глубокой

ночи провели мы вместе в квартире ротмистра. Когда и на следующий день никакой телеграммы не получилось, я категорически потребовал, чтобы меня отправили в тюрьму. Я говорил ротмистру, что тот же исправник может донести куда следует и что мне уже неприятно оставаться у него, раз мое пребывание может повредить ему. Ротмистр все не хотел отпускать меня, говорил, что по закону он имеет право держать арестованных при жандармском управлении; но, в конце концов, уступил, и я был отправлен, наконец, в тюрьму.

С великим удивлением я вспоминаю необычный обыск и еще менее обычную обстановку моего ареста. Я имел сведения о дальнейшей судьбе ротмистра, он дослужился до генерала и начальника губернского жандармского управления и — передавали мне — не так уже, как меня, обыскивал и арестовывал. Быть может, частью это объяснялось временем моего ареста, то было время правления Лорис-Меликова, так называемые «именины сердца», а быть может виновата была молодость ротмистра, — не втянулся еще в настоящую жандармскую работу.

ТЮРЬМА

Чувство глубокого покоя охватило меня, когда я перебрался в тюрьму. Я испытывал это и потом, когда после напряженной работы приходилось садиться в тюрьму, но никогда это чувство отдыха и покоя не было так полно и глубоко, как в этот раз.

И, пожалуй, мне именно тогда нужен был этот отдых. После сыпного тифа мне не пришлось отдыхать и сразу, как только я воротился из клиники Захарьина, мне пришлось войти в большую работу, в частые длительные разъезды по участку. Легочный туребкулез, в общем очень благоприятный после тифа, протекал хуже, чаще бывала повышенная температура, чаще появлялись кровохарканья. [1]

[1] Он обнаружился, когда я студентом 5-го курса выздоравливал от возвратного тифа в той же клинике Захарьина—сильным легочным кровохарканьем. Мне было предложено уехать в Крым, что я, конечно, не мог сделать,

Отдых был глубокий и полный. Можно было спать непробудным сном целые ночи и утром просыпаться с легким сердцем без тревоги за участь бывавших на моих руках и на душе тяжелых больных, не нужно было трястись в телегах или по снежным ухабам в мороз, в метель, где однажды я чуть не замерз.

И можно было погрузиться в книги, которые я так забросил за два года, и прочитать многое, что давно нужно было прочитать и на что все не хватало времени.

Можно было думать долгими думами обо многом, что накопилось в душе за два года большого жизненного опыта, сделать пересмотр того, с чем я ехал на работу в земство, — передумать те думы, которые урывками приходили в голову за два года и над которыми опять-таки некогда было подумать вплотную.

Здесь в тюрьме я стал писателем. У меня явилась мысль написать повесть из пережитой жизни 70-х годов, и я с жадностью засел за работу.

Жизнь в тюрьме улеглась тихая, покойная, размеренная. Утром являлась в тюрьму моя жена, ее прямо пропускали в мою камеру, — и я диктовал ей это первое мое литературное произведение — повесть «Озимь». Никто нам не мешал, и короткий зимний день проходил за работой. В три-четыре месяца я и кончил ее. [1] А вечером сидел за книгами и за обдумыванием того, что нужно было диктовать на следующий день.

Тихо... Заперли камеры арестантов. Потухли последние звуки тюремной песни, все одной и той же каждый вечер, которую пела вся тюрьма, оба этажа. Казалось, пели сами гнилые старые тюремные стены — нудной и грустной песни, полной вздохов и жалоб, которая и сейчас через сорок пять лет стоит

[1] Судьба повести была довольно нелепая. Она была принята Станюковичем в журнал «Дело», но как раз перед обыском и арестом самого Станюковича; провалялась в жандармском управлении и только в 86-м году была напечатана в журнале Н. К. Михайловского «Северный Вестник». Я несколько раз порывался издать ее отдельной книжкой, но из-за художественных недочетов так и не издал.

в моих ушах, — и я оставался одним с своими думами.

Тогда входил надзиратель и звал меня идти на прогулку, на узенький тесный дворик, где весь день толпились арестанты и куда только поздним вечером, после запора камер, выпускали меня на прогулку.

Их было два надзирателя, дежурившие через день. Один был пакостник противный, скупавший у арестантов одежду, пускавший арестантов за 15 коп. в женские камеры — и я с ним не ходил на прогулку, — неприятна была его лукавая физиономия. Зато другой, Васильич, скоро стал моим приятелем. Строгий и неподкупный служака, он требовал от арестантов исполнения порядка, но зато и не мешался в арестантскую жизнь с теми ненужными пустяками, из которых складывается тюремная жизнь, и потому несмотря на его строгость арестанты уважали его, и в его дежурство никогда не возникало нелепого шума, который часто бывал в дежурство его товарища. С ним я непременно выходил на прогулку. Гулять собственно говоря было негде в маленьком дворике, на целую четверть занятом кухней.

Мы садились на ступеньке крылечка, и начинались у нас долгие беседы по душам.

Он был старый николаевский солдат, долго воевал с горцами на Кавказе и только, когда под Севастополем оторвало у него ногу, освободился от тяжелой службы. Был в нем старинный уклад давней жизни, и по-старинному носил он седые бакенбарды на своем тонко вырезанном, должно быть когда-то красивом лице. Было ему, должно быть, скучно от его надзирательской службы, от руготни с арестантами, и он рад был поговорить с человеком по душам. Рассказывал мне свою жизнь военную. Все было как следует... Чеченец или, например, черкес, конечно, нас, а мы его. Иной раз побьем их всех и от аула синь-пороха не останется, зато случалось и нам накладет... Все просто! как следует... Но было у него тяжелое воспоминание, очевидно, давившее его и не уходившее от него, судя

по тому, как часто возвращался он к этому эпизоду своей военной жизни, где было не как следует.

«... Послали это нас... казаки бунтовали на Кубани. Большая станица... Как сейчас помню церковь в конце, а перед церковью народ собрался, бабы впереди с ребятами и казаки, а против них мы с пушками... Стрелять начали...»

И должно быть тяжело было старику старое воспоминание, он все вздыхал и говорил:

— Ах ты, боже мой. Такая история, такая история... Как сейчас вижу.

А после прогулки опять книги и думы. И было совсем тихо, и только огромные черные тараканы шуршали, пробираясь между листами моей повести и изредка падали с потолка на мою голову.

Тюрьма была старая, прогнившая, казалось, никогда не ремонтировавшаяся, с гнилыми рамами, в которых дул ветер и пробирался мороз, вонь неслась из загаженного узенького дворика, но я мирился с этим, так легко, свободно и просторно сиделось мне в тюрьме.

На несколько часов пропускали мою жену прямо в камеру, и мы писали, книги доставляли мне всякие и без длинных процедур, а «Русские Ведомости» я получал аккуратно прямо с почты, как всякий подписчик. Изредка навещали знакомые и тоже пропускались прямо в камеру.

Не забывали меня и деревенские люди. Навестил как-то Дмитрий Васильевич. Раз вызвали к воротам, там стоял сапожник, который лежал у меня в больничке, со старостой его села, — наслышались они, что меня скоро выпустят, и пришли сказать, что все ждут, чтобы я обосновался у них вольным доктором и что насчет помещения и больницы и всего прочего все у них обмозговано. И еще помню обычный крик со двора часовых:

— Доктора, к воротам.

У открытой калитки ворот стоял большой бородатый крестьянин — староста одного из сел моего участка. Поздорова-

вшись, поговорили, а потом староста перекрестился на церковь и протянул мне два медных пятака:

— Прими христа-ради. Поминаем про тебя...

С арестантами образовались дружелюбные отношения. Большинство было из нашего уезда, некоторые знали меня лично, другие были наслышаны. И бродяги сибирские, которых было несколько человек из тех, что называли себя крестьянами нашего уезда и как таковых препровождали для опознания, относились ко мне с почтением (кажется, я был первый политический, сидевший в скопинской тюрьме), как к политику, — политиков они знали по Сибири и уважали за их стойкость и презрение к опасностям, что высоко ценилось в арестантской среде.

Кое с кем из арестантов образовались приятельские отношения, в особенности с бродягой Савелием, тосковавшем о воле. [1] Моя камера редко запиралась, и случалось, у меня подолгу засиживались арестанты, интересовавшиеся, что пишут в газетах. Не пишут ли там чего-нибудь про них, арестантов, не сбавят ли срока, не родился ли кто-нибудь или не женился ли в царской семье, что должно, по их мнению, облегчить их участь.

Толпа была серая, тусклая, с обычными деревенскими преступлениями: конокрадством, лесными пожарами, поджогами, убийствами из-за ревности или в пьяном виде, в драке. Пол-деревни сидело за увоз господских снопов с поля. И бродяги были не дикие, только бахвалившиеся своим знанием Сибири и вравшие про свои подвиги.

Только дети семейств, ссылавшихся в Сибирь по приговору общества, вносили некоторое оживление в крестьянскую толпу. Шумно и оживленно делалось, когда приходили пересыльные партии. И случалось, встречались интересные, яркие люди. Помню, когда пришла одна из таких партий, по всей тюрьме пошел говор, что привели старообрядческого архиерея. Ко мне в камеру вбежал старый бродяга и рассказывал, что архиерей

[1] Я описал его в рассказе «Савелий».

этот, с которым он встретился в Сибири, очень важный у старообрядцев, ставивший попов, судит и рядит, что сибирские купцы миллионщики, — он назвал несколько фамилий, у меня в памяти остались только Трапезниковы, — очень почитают этого архиерея, укрывают его в своих заимках и всячески берегут.

Под вечер явился ко мне познакомиться и сам архиерей: высокий, широкоплечий, с большой, в порядке содержимой бородой, он импонировал своей наружностью, несмотря на грязную, рваную арестантскую одежду. И в тоне его, в манере говорить, в том, как держался, чувствовалась большая сила, властность человека, привыкшего управлять другими. Он шел «на признание»— обычная по тогдашним временам история. Арестованный где-то в Пермской или Уфимской губ., как беспаспортный, он назвался крестьянином из соседнего Пронского уезда. Заранее все было подготовлено, старообрядческая семья, в которой давно пропал сын, должна была признать за своего, и он должен освободиться. Ему не доставало только, во что одеться, у меня был лишний костюм, и вечером, когда заперли арестантские камеры, я просунул ему в окошечко сверток с костюмом.

Он был интересный человек. Вся жизнь его прошла в скитаниях, сидениях по тюрьмам; он несколько раз переходил границу, бывал в Австрии, в Белой Кринице, в Румынии у старообрядцев; говорил, как легко переходить границу, и удивлялся, что мы, политические, не хотим и не умеем использовать те пути, которыми пользуются они, старообрядцы, и, между прочим, предлагал мне, если бы я пожелал эмигрировать, устроить отправку мою за границу. Он дал мне адрес в Керчь какого-то странноприимного дома, я должен был сказать условный пароль и назвать его имя, — рассказать, где и как мы встретились, и уверял, что меня хорошо примут, снабдят надлежащим хорошим паспортом и отправят в Румынию к своим людям.

Кажется, единственный раз за полгода сидения в тюрьме я волновался, потянуло меня на волю. Была тихая, кроткая,

полная каких-то ожиданий ночь, какие бывают перед Пасхой. Затихла езда по городу, замолкла, не пела и не ругалась тюрьма, смутный говор доносился из камер.

Было слышно, как капали из жолоба на камни мостовой редкие капли прошедшего дождя, и смутным шорохом доносился с реки шум ломающихся льдин.

Я всегда любил пасхальную ночь, а к ледоходу у меня с детства было особое отношение. Еще мальчиком я целые дни, не отрываясь, смотрел, как ломаются и сталкиваются льдины, и эта страсть смотреть на ледоход осталась у меня на всю жизнь. И вот я особенно жадно прислушивался к доносящемуся с реки шороху ломавшихся льдин.

Стучала по коридору деревянная нога Васильича, и изредка звякали тюремные ключи на его поясе.

— Может отпереть, С. Я.? — он заглянул в мое окошечко.

Я лежал на койке, мне не хотелось двигаться, уходить от шума реки. Седые бакенбарды снова показались в окошечко.

— Больно скучно что-то . . . — и, не дожидаясь ответа, Васильич отпер мою камеру.

Мы вышли на двор и сели на крылечке. Дождь вымыл грязь со двора, блестела лужа около фонаря, словно вымытые горели звезды.

— Вот и светлое воскресенье пришло . . . — выговорил Васильич. — Так-то вот. Всяк человек ждет.

Он тихо опустил голову и ронял короткие фразы, и чувствовалось, что в душе его было непокойно, что ему нужно было непременно кому-то сказать то, что лежало в его душе. Помню тихий задушевный рассказ его.

— Вот я тебе скажу, — как-то сразу перешел на «ты», — вдову я взял за себя, с дитем. Девятый год теперь пошел Насте. Такая девочка удивительная . . . Ко мне привержена — и сказать нельзя . . . Иду я с дежурства, а она уж ждет, за полверсты выбежит от слободки, и дома не отходит, непременно чтобы рядом со мной за столом сидеть. Мать так не любит. Ну так вот . . .

Солдатик с ружьем подходил к нам, слушал и снова шагал по дворику скучными унылыми шагами.

— Какой я муж . . . — Васильич вытянул свою деревянную ногу, — а она, жена-то, молодая, в силе. На базаре ларь держит, со всяким народом видится, разговоры пошли, смеяться стали надо мной, про Степана столяра, — у нас же на слободе живет — поминать стали. Обидно было. Побить думаю, да что толков. А тут Настенька обнимет за шею, прижмется, тепленькая такая . . . Вот так-то. Пришли мы с заутрени прошлую Пасху, говорю: «Христос воскресе!» А жена-то бух мне в ноги, плачет, в три ручья разливается, за руки хватает, прибей, говорит, меня, избей, всю избей, вышиби из меня Степана». Подумал я, говорю: живи, Аннушка, как живется . . . Христос с тобой. Что уж . . . Разговляться стали . . . Так и прошло все. Живем. Теперь и смеяться перестали, видят, что у меня сердца нет.

Ударил соборный колокол, запели городские колокола, сквозь щели тюремных ворот было видно, как возвращались из церкви люди с зажженными свечами, которые не гасли в тихой ночи.

— Христос воскресе! — обратился ко мне Васильич. Мы расцеловались. Подошел солдатик, помялся, а потом снял картуз и похристосовался со мной и с Васильичем. Я вернулся в камеру.

А на другой день начались визиты. Я не говорю уже о моих друзьях, приезжал городской голова, обращавшийся ко мне за советом, мировые судьи, нотариус, член земской управы, кое-кто из уезда. Люди входили в мою камеру, как входят в гостиную к своим знакомым, поздравляли, христосовались, сидели; сообщали новости, как будто это была не тюрьма, а квартира знакомого, которого нельзя не навестить в Пасху. Приносили куличи, пасхи, присылали гостинцы знакомые и мало знакомые люди, и приношениями заполнилась моя камера, их собралось так много, что я долго угощал ими тюрьму . . .

Когда я вспоминаю обстановку моего ареста и все мое полугодовое сиденье в скопинской тюрьме с ежедневным писанием

совместно с женой повести, с получением газет, а часто и писем прямо с почты, с свободным доступом ко мне друзей и знакомых, мне просто не верится, что все это было так. И мне думается, что не личным только составом скопинских людей и не одними лорис-меликовскими именинами сердца можно объяснить все это мое удивительное сиденье. Все это свидетельствовало прежде всего об уходе от правительства и об огромном интересе, который возбуждали в обществе люди, боровшиеся с правительством.

Может быть, влияла и новинка необычности. Я не помню, сидел ли до меня какой-нибудь политический в скопинской тюрьме.

В ССЫЛКУ

Я знал, что дело окончится ссылкой. Уж из того, что меня все полгода не допрашивали и оставляли сидеть в провинциальной тюрьме, было ясно, что моей особой не интересовались и что дело кончится административной ссылкой. Лорис-Меликов, с которым виделась хлопотавшая за меня мать моей жены, предложил мне даже самому выбрать место ссылки, одну из шести губерний: Архангельскую, Вологодскую, Вятскую, Пермскую, Уфимскую и Астраханскую и посоветовал выбрать Астраханскую.

— Я туда назначил хорошего губернатора, — пояснил он. [1]

Я выбрал не Астраханскую, а Уфимскую губернию, так как надеялся полечиться там кумысом от моего туберкулеза и потом уговорили меня мои скопинские друзья. Они написали обо мне Д. Д. Дашкову, занимавшему влиятельное положение в Уфимской губернии, земцу и владельцу завода около Уфы, который, они надеялись, устроит мне место врача. При этом мне предоставлено было право ехать в Уфу на свой счет без провожатого. Я прожил несколько дней в городе, ликвидировал дела, посещал моих знакомых.

Кажется, Протасова-Бахметьева.

Проводы были шумные, даже торжественные. На вокзале провожать меня собралось много народу, были люди, которых я и не знал, кто-то распорядился подать шампанского, и с бокалом в руках прощался я с моими скопинскими друзьями и знакомыми. Было похоже на проводы новобрачных, уезжавших устраивать свое гнездо. Под шумные и сердечные пожелания собравшейся толпы отправился я, недавний арестант, в ссылку.

И в Москве я прожил несколько дней, как вольный человек, как обыкновенный проезжающий. Был 1880 г., время наиболее яркого развертывания революционного движения. В Москве было шумно и оживленно. Наш кружок, стоявший в центре московского студенческого движения, в который входили кроме меня С. В. Мартынов, П. П. Викторов, В. С. Лебедев и П. П. Кащенко, значительно увеличился, и деятельность его стала шире и глубже. За два года моей службы в земстве вокруг нашего кружка сгруппировалось много новых молодых талантливых студентов — Старынкевич, Юлий Бунин,[1] Амиров, П. С. Анненков [2] и другие. В. С. Лебедев и С. В. Мартынов были уже в непосредственной связи с Исполнительным Комитетом партии Народной Воли. [3]

Друзья потащили меня на студенческий вечер, где Лебедев и Мартынов познакомили меня с новыми людьми и между прочим с Теллаловым (умер в Петропавловской крепости). Помню, Ермолова воодушевленно декламировала: «Идет, гудет зеленый шум, весенний шум», — и впечатление огромного оживления, весеннего зеленого шума унес я в ссылку от переполненного зала студенческого вечера и от шумной Москвы.

Я попал в Нижний-Новгород к последнему пароходу, уходившему в Уфу. Был октябрь, глухая осень. Под свинцовым

[1] Старший брат писателя Ивана Бунина.
[2] Отец известного художника Анненкова.
[3] После 1-го марта оба стали членами Исполнительного Комитета.

*

небом Волга казалась угрюмой, неприветливой. Замирала жизнь на ней, пустели и убирались пристани, редкие грузовые и пассажирские пароходы спешили в затоны, на зимнюю стоянку. Где-то под Козьмодемьянском нас захватил туман, какой я потом только раз видел на Черном море. Сутки стояли мы посреди Волги на якоре и еще полсуток, и казался вечностью этот густой, как стена, туман, окутавший Волгу, берега и наш пароход. Особенно жутко было ночью. Время от времени пароход кричит жалким испуганным криком, изредка откуда-то из тумана отзывается такой же испуганный вопль.

Пароход был маленький, тесный и битком набитый запоздавшими на ярмарке уфимскими людьми, служащими уральских заводов, мелкими промышленниками, сплавлявшими на ярмарку лубок, плашку. Кругом меня были крепкие мускулистые люди, с смелыми, уральскими глазами, в поддевках, с остриженными в скобку волосами, и рассказывали мне про липовые леса, что тянутся на сотни верст, про Златоуст и Уральские горы, про степи южной части Уфимской губернии, где башкиры по летам живут в кибитках и где чахоточные люди выпивают по ведру кумыса в день и выздоравливают от всяких чахоток.

Помню первое утро по приезде в Уфу. Выпал огромный снег. Большие белые хлопья бесшумно падали на землю, белая стена стояла перед окнами и закрывала от меня улицу, весь мир.

И белая стена встала перед моей душой и закрыла то, что было позади. Кончилась одна жизнь, начиналась другая, новая жизнь. Было тихо, мирно и как-то особенно уютно. Была вера, был спокойно и ясно на душе.

III

УФА

ГОРОД.

Город был тогда, 45 лет назад, тихий, задумчивый, ласковый. Тянулись улицы, заросшие травой, и было видно поле, куда выходили они. А на улице домики одноэтажные, реже двухэтажные, с садами и садиками, где пышно росла сирень, жасмины, георгины, — низенькие домики с окнами, с заправившимися на ночь ставнями с железными болтами.

Посреди города разлеглась площадь — огромная, не в базарные дни пустынная, немощенная, где, по преданию, утонул крестьянин с лошадью и возом, рискнувший ночью проехать через площадь. В площадь вливались почти все улицы, а кругом площади разместилась вся уфимская цивилизация, — тянулись длинные ряды, стояли большие дома, даже в три этажа, тут была и почта, и аптека, и палаты, и Дворянское собрание, и «Грантотель с нумерами». Красовалась вывеска «Дамская портная», а обвитый сеном обруч и без вывески говорил понятливым людям, что здесь постоялый двор.

Город обтекала чудесная Белая с голубоватой прозрачной водой, самая радостная река, какую я видел в России, и с другой стороны текла, вливаясь в Белую, сумрачная Уфимка. С высокой Случевской горы открывалась бесконечная зеленеющая даль лугов, переходивших в ковыльные степи, а с утесистого Чортова Городбища вставала за Уфимкой смутная даль ощетинившихся темных лесов, тянувшихся к Уральским горам

Захолустным, стародавним, давно забытым цетральной Россией веяло от города. Окружного суда не было, и старинные Палаты ведали правосудие, земство было молодое, открытое позже, чем в центральной России, только-что начинало разбираться в местных делах и не успело еще создать земской атмосферы.

Почта, в особенности зимой, приходила не часто и не всегда аккуратно; местной газеты не было, и новости московских газет теряли значительную часть своей новизны, пока доходили до Уфы. Увозил последний пароход труппу актеров, игравшую по летам в городском саду, увозил последних запоздавших кумысников, навигация закрывалась на долгую зиму, и в городе становилось совсем тихо вплоть до первого радостного свистка с реки весной, когда город бежал встречать первый пароход.

Жизнь была тихая, ушедшая внутрь, жизнь промежду себя.

Из маленьких домиков плыла музыка в тихие улицы. Я дивился, когда в скромненькой квартире чиновника, приказчика, служащего, встречал рояль или пианино, скрипку и узнавал, что дети людей, живущих на 50 — 60 руб. в месяц, берут систематически уроки музыки. Были кружки, где музыка являлась серьезным содержанием жизни. В один из таких кружков я попал вскоре по приезде и начал получать приглашения на квартеты, — квартеты, которые сделали бы честь и столице. Местный чиновник Савостьянов, как рассказывали мне, долго играл первую скрипку в оркестре Московского Большого театра и, когда уходил из него, чтобы переселиться в Уфу, получил от московского общества чудесную редкостную скрипку.

Его дочь, по мужу Паршина, окончившая петербургскую консерваторию по роялю и по классу пения, играла на рояли, вторую скрипку играл доктор Чубовский, кажется, отдававший скрипке больше времени, чем медицине, на виолончели играл брат Савостьянова, доктор в отставке, говорили мне, композитор, написавший несколько пьес для виолончели. Играли преимущественно классиков; помню вечер, посвященный исключительно Моцарту.

Процветало и пение. У В. Д. Савостьяновой было много учеников и учениц. Нашлись прекрасные голоса, уже при мне была поставлена опера «Аскольдова могила», с хорошим исполнением местными силами, а после моего отъезда образовалось нечто в роде маленькой консерватории, и начали систематически исполняться отрывки из опер. [1]

Музыка давно прижилась в Уфе, вошла в нравы, в быт, успела сложить традиции.

Местные старожилы рассказывали мне, что начало уфимской музыкальности положил поляк-ксендз, сосланный в начале тридцатых годов за восстание, страстный музыкант, всю свою долгую жизнь в Уфе занимавшийся уроками музыки.

И задолго еще до моего приезда из Уфы вышли две знаменитые пианистки. [2]

НАЧАЛЬСТВО.

Мои скопинские друзья заблаговременно написали о моем приезде Д. Д. Дашкову, и, должно быть, предупрежденный им губернатор Шрамченко встретил меня очень любезно. Не было разговора о надзоре, о необходимости куда-нибудь являться и вообще о каких-нибудь ограничениях моей жизни в Уфе. Я сослан был, как ссылали тогда, без указания срока ссылки, но зато не была еще объявлена известная конституция для политических административно-ссыльных, которой таковым воспре-

---

[1] Здесь, как передавали мне потом, начал первые выступления молодой Шаляпин, как-то попавший в Уфу, служивший в каком-то казенном учреждении за 15 — 20 руб. в месяц и, кажется, пользовавшийся уроками В. Д. Паршиной. Из Уфы вышла Е. Д. Барсова, по мужу Цветкова, когда-то известная певица оперы Зимина в Москве.

[2] Одной из них, насколько я помню, была Есипова, концертировавшая за границей и бывшая потом профессором Петербургской консерватории. Фамилию второй я забыл.

щалась деятельность медицинская, педагогическая, литературная, по которой потом в Енисейске одно время каждое утро являлся в квартиру городовой убедиться, не сбежал ли ссыльный.

В городе было мало врачей, и тотчас же по приезде я получил место врача в амбулатории с жалованьем 30 руб. в месяц, а через короткое время поступил ординатором в губернскую земскую больницу. Быстро началась частная практика.

Мне даже пришлось по поручению губернской земской управы принять деятельное участие по организации первого съезда земских врачей Уфимской губернии и явиться в некотором роде уполномоченным докладчиком от земской управы. Правда, два из моих четырех докладов по цензурным условиям не были напечатаны в трудах съезда, но, повидимому, никого не удивляло, что я, политический ссыльный, принимаю деятельное участие в работах съезда.

Здесь я познакомился с новым для меня типом питомцев Казанского университета Если и на московском медицинском факультете большинство студентов были разночинцы, то в Казани состав студенчества был еще демократичнее, — мне встречались на съезде врачи, вышедшие из бедного крестьянства. Многие из участников съезда были учениками Лесгафта, к которому у них было особое отношение, близкое к обожанию. И, должно быть, под влиянием его и оставленных им в университете заветов, они так охотно и упорно шли от частной практики, от легких хлебов на трудную и скудную земскую медицинскую работу. И именно из Казанского университета вышло много хороших хирургов, обслуживающих Прикамье и Сибирь.

За четыре года моей жизни в Уфе переменились три губернатора. Шрамченко был полный, рыхлый, добродушный человек, — типичный департаментский чиновник, каким он, кажется, и был всю свою жизнь до назначения уфимским губернатором. В Уфе он пробыл недолго. Сенаторская ревизия, назначенная при мне по поводу расхищения башкирских земель и произведшая большую чистку в администрации Уфы и Оренбурга, окончилась для Шрамченко увольнением. Хотя он лично и не участвовал в грабеже, происходившем до его назначения, но и не боролся с продолжавшимися злоупотреблениями по продаже башкирских земель.

Пред отъездом он мне, политическому ссыльному, наивно жаловался на несправедливость его отставки и в конце разговора сказал:

— Ну скажите, пожалуйста, кто пойдет сюда губернатором? Я — бездетный человек, мы с женой всегда жили скромно, нам не нужно выездов, балов, шумной жизни . . . А семейный человек? Как он будет здесь воспитывать детей? И какое здесь общество! Какая жизнь!

Губернатор нашелся, — Николай Павлович Щепкин, участник сенаторской ревизии, из известной семьи Щепкиных, — как говорили тогда, первый губернатор из крестьянского рода. Красивый старик, с густыми седыми волосами, воспитанник Московского университета, не служивший раньше по министерству внутренних дел, — Щепкин не походил на обычный тип губернаторов, каких мне потом приходилось встречать. Держался очень просто, не по-губернаторски и выглядел скорее земцем или профессором, чем губернатором. Он жил вдвоем с женой, и только по летам к нему приезжала дочь Ек. Ник., учившаяся с моей женой, на Герьевских курсах, к тому времени специализировавшаяся по истории и преподававшая в Петербурге, кажется, на Бестужевских курсах.

Щепкин тоже недолго прожил в Уфе. Уже по своей роли в сенаторской ревизии и по тому, как он сразу поставил себя по отношению к захватчикам башкирских земель, — он возбудил против себя резкую оппозицию местного дворянства и всех прикосновенных к грабежу. Скоро послан был в Петербург донос на него, — говорили тогда — губернским предводителем дворянства и городским головой Волковым. Городской голова Волков был раньше правителем канцелярии губернатора, успел

хорошо поживиться на счет башкирских земель и хотя был попович-семинарист, но, получивши орден, дававший дворянство, в первом же дворянском собрании произнес возвышенно семинарскую речь о роли и значении дворянства в России, часто повторяя: «Мы, дворяне, должны» . . .

Щепкин получил неожиданную для себя телеграмму о переводе его губернатором в Архангельск и тотчас же послал прошение об отставке. Петербургские друзья прислали ему копию доноса, и Щепкин, смеясь, рассказывал мне, что, кроме обвинения в «одностороннем» отношении его, губернатора, к крестьянам и башкирам в ущерб интересам дворян-землевладельцев, ему вменялось в вину, что он был в близких отношениях с известным политическим преступником Елпатьевским, в доказательство чего приводилось, что Елпатьевский купил у него, Щепкина, пару лошадей. У Щепкина, как частный человек, я был только один раз, [1] и очевидно главным козырем доноса было «одностороннее» отношение к дворянству, — вернее сказать к части дворянства, так сказать, к уголовным дворянам, так как дворяне, незамешанные в грязь башкирских расхищений, относились к Щепкину вполне доброжелательно.

Вместо Щепкина назначен был Полторацкий, вполне подходивший к типу желательных дворянству губернаторов. Он был тупой, ограниченный человек, но подлинный дворянин с большим гонором. Потом его родные говорили мне в Москве:

— Ну, Петя, — какой же он губернатор!

Этот Петя сразу остался весьма недоволен, что я принят «в общество» не только как врач, и открыто говорил об этом. В первый же годовой отчет он написал обо мне, как сообщили мне мои пациенты — чиновники его канцелярии: «Хотя в злонамеренных действиях не изобличен, но по своему образу жизни и направлению мыслей требует наблюдения».

---

[1] В доносе, конечно, не было упомянуто, что у губернатора были совсем не «губернаторские» лошади, что он продал мне пару за 130 рублей.

Начальником жандармского управления был старенький полковник Англорез, давний туберкулезный, доживавший в тихой, в смысле жандармской деятельности, Уфе последние годы до пенсии. Впоследствии он стал моим пациентом, но до возникновения нового политического дела мне не приходилось сталкиваться с ним.

ФРАКИ И ПОДДЕВКИ

Верхи уфимского общества резко разделялись на два слоя, — на людей во фраках и мундирах и людей в поддевках. Фрачники были — чиновничество: начальники отдельных частей, советники разных палат, чиновники особых поручений. Видных чиновников из местных людей не было, большинство было связано с Петербургом, — или люди, начинавшие карьеру или присланные доживать до пенсии. Это был замкнутый круг, с обособленными интересами, идеями, нравами, бытом, куда не допускались горожане-обыватели.

Их глаза неуклонно прикованы к Петербургу. Там было их прошлое, там определялось их будущее. И главные темы разговоров в гостиных были новости из Петербурга, — движения по службе, «происшествия» и скандалы в верхах, восходящие и падающие звезды петербургского неба.

В гостиных не произносилось «Победоносцев», а выговаривалось Константин Петрович. Чувствовалась особая интимность и подразумевалась связанность, близкое знакомство, когда петербургских сановников называли просто Иван Петрович или Петр Иванович. И была полная осведомленность. Знали, кто на ком женат, кто за кого держится. У каждого чиновника, связанного с Петербургом, были там дядюшки и тетушки, кузины и кузены, товарищи по корпусу, по полку, по департаменту, покровители и покровительницы, и письма из Петербурга были поводом к экстренным визитам и интимным soirées.

Время от времени на уфимском горизонте появлялся молодой

человек, какой-нибудь «George» или «Michel», сын или племянник больших петербургских людей, — натворивший какую-нибудь неудобную «историю», за которую родные высылали его для исправления и для забвения «истории» в Уфу, там он немедленно прикомандировывался к какому-нибудь казенному учреждению. Обворожительный молодой человек, с великолепным пробором, в безукоризненном фраке и с безупречным французским выговором, непременно лицеист или питомец Пажеского корпуса, — он делался центром фрачного круга и предметом усиленного внимания дам. Он прекрасно знал всю подноготную сановного Петербурга и мастерски рассказывал дамам не очень скромные, а, случалось, и совсем нескромные анекдоты, за что дамы били его веером по рукам и говорили:

— Вы, Michel, противный.

Несколько особняком, но к тому же кругу примыкали поляки—чиновники. Легенда о «польской интриге», пущенная Катковым, не изжила еще тогда свой век, и поляков военных и чиновников держали в столицах в черном теле и усиленно сплавляли на окраины в Уфу, в Ташкент, в Сибирь. Помню великолепную гордую фигуру поляка, когда-то магната, большую часть жизни проведшего за границей, спустившего там огромное состояние и спустившегося до советника палаты в Уфе.

И жизнь этого круга была сколком с Петербурга. Не особенно были распространены семейные вечера, балы с танцами бывали только в Дворянском Собрании, — излюбленная форма приемов был «раут». Там и выговаривалось так: «на раут». Мужчины во фраках, chapeau claque в руке, дамы декольте дефилировали в шести-семи комнатах мизерабельного уфимского дома, обменивались любезностями, сообщали петербургские новости, наполовину известные. Изредка кто-нибудь из гостей садился за рояль, изредка чья-нибудь дочка пела романсы, устраивалось два-три карточных стола. Настоящих ужинов не было, — нарушилась бы архитектура «раута», — ели à la fourchette, и было особым шиком выставить бесчисленное количество

всяких замысловатых буттербродов и холодных кушаний.

И были поддевки. В поддевках ходила губернская и уездная земская управа, начиная с председателя губернской управы А. Д. Дашкова, поддевки носили дворяне помещики. В поддевках бывали друг у друга, в поддевках сидели на земских собраниях, в поддевках и являлись в клуб. Это не было ни славянофильством, ни упрощением, — то была своего рода форма, мундир, либеральный костюм, отличавший земца, туземного человека от чиновника. К поддевкам примыкали богатые башкиры-землевладельцы.

Была между фраками и поддевками если не вражда, то резкое отчуждение, взаимное полупрезрение. Как ни было сословным земство, как ни обрезано оно было, оно все-таки резко вклинивалось в местную административную жизнь, нарушало всеобъемлющую стройность бюрократического аппарата и мешало проявляться «полноте власти» его. В центральной России земство имело уже значительную давность, люди не очень ловко, но все-таки расселись по местам, — в Уфе земские учреждения были введены позднее, и люди не успели еще размежеваться в своих позициях.

Любимой фразой в чиновничьих клубах была: «они (земцы) только рукомойники моют» — (чаще называлась другая посуда), а земцы говорили только: «он чиновник!» — и этим определялось все. Земцы не посещали раутов и не устраивали таковых у себя, жили особняком, промежду себя и примыкали к туземному невысшему обществу.

Как ни были великолепны в своей силе и непогрешимости чиновники, они не могли пренебрежительно, как земцы к ним, относиться к земцам «хороших фамилий», связанных с великими людьми Петербурга, к поддевке, в карманах которой звенит миллион, к поддевке, о которой министр предупреждал назначаемого им губернатора:

— Не ссорьтесь с Дашковым. . .

ПРИКАЗЧИКИ.

А вне этого «высшего» круга шла жизнь своеобразная, более интересная и действенная, чем в других знакомых провинциальных городах, удивившая меня своеобразием своего облика.

Один из первых моих пациентов, молодой приказчик из «рядов», на втором же посещении рассказал мне, что у них, приказчиков, есть кружок самообразования, что они собираются, читают вместе и спорят до глубокой ночи. Я познакомился со многими приказчиками, — с некоторыми, такими же, как я, ярыми рыболовами, ездил на рыбалки. Руководителем их был тоже приказчик из «рядов» лет 35, очень умный и развитой, хотя так же, как и большинство их, не прошедший систематической школы. Кажется, он был одинокий, и была у него какая-то личная драма в жизни, — скоро он застрелился.

«Третий элемент» тогда еще не сформировался вокруг земства, — не было статистиков, агрономов, техников, — и не оказывал еще того влияния на местную жизнь, как потом, в других городах.

Значительных организованных кружков в духовной семинарии и в гимназиях в мое время не было, и приказчики, отдельные группы учащейся молодежи, рекрутировавшейся преимущественно из той же купеческо-приказчичьей среды, и отдельные люди из низшего чиновничества, состоявшего из местных людей и резко расходившегося в своей психологии с высшим чиновничеством, — составляли, так сказать, интеллигенцию Уфы. Они не были революционерами в партийном смысле, но были революционно настроены. Развертывавшееся в центрах революционное движение глубоко захватывало их, и с жадностью они ловили всякие известия о грандиозной борьбе партии Народной Воли с самодержавным правительством. И нельзя не отметить, что к первому политическому делу, возникшему в Уфе уже после моего отъезда, были привлечены, как сообщали мне, приказчики и служащие.

Удивляли меня не только приказчики, но и купцы. Были дикие купцы, дремучие, из Островского, но не они задавали тон. Большинство их были не тутошние, стародавние, не «наследственные», а пришлые и сами себя сделавшие. Две трети рядов были владимирцы, часть ярославцы, и не часто встречались местные, исконные. Мне много приходилось лечить их, и помню — один старый купец рассказывал мне свою историю жизни и прошлое других знакомых купцов. Бродили владимирские офени по всей России, облюбовали Уфу и оседали в ней. Сначала маленькая лавочка, а потом внедрялись в ряды. А потом выписывали с родины приказчиками сродственников, племянников, шурьев, односельчан, которые нередко потом сами становились хозяевами, — места были просторные.

Не окупечились еще они, не выработали еще классового самосознания, не ушла еще от них деревенская психология, пахло еще от них деревней. И, быть может, потому, что видали виды, сталкивались с разными людьми, была в них доля вольного духа. Я потом узнал, что уфимские купцы укрывали у себя террористов, которых разыскивали по всей России, и не мешали своим сыновьям и дочерям итти в революционное движение. Из детей этих купцов образовался впоследствии кружок революционеров-террористов, из этой среды вышел Сазонов, Прокофьевы [1] и др.

---

[1] Сын моего знакомого купца юноша Прокофьев должен был уехать за границу с важными поручениями. Дело было в Петербурге, вскоре после объявления манифеста о конституции. Накануне отъезда он просидел у меня до двенадцати часов ночи, а в 4 часа в ту же ночь в гостиницу Гранд-Отель, где он остановился, пришли арестовать его и, так как он стрелял, оказал отчаянное сопротивление, то выломать дверь не решились, а прорубили из верхнего этажа отверстие в потолке и оттуда и расстреляли его. Сестра его — она считалась невестой Сазонова — судилась по делу о покушении, кажется, на Щегловитова, была сослана в Сибирь на поселение, ей удалось бежать за границу, но у ней был тяжелый туберкулез, и я нашел ее умирающей в окрестностях Сан-Ремо у Савинкова. Отец их был у меня в Петербурге, когда приехал разыскивать труп сына, и я знаю, что он все время с величайшей нежностью относился к этим своим детям.

Необычно складывались эти купцы. Был у меня знакомый лесопромышленник М., сын крестьянина, — я лечил еще отца его, лоцмана на камских пароходах, — прошедший только убогую сельскую школу. Как-то в жаркий июльский день я зашел к нему на постоялый двор, где он останавливался, когда приезжал в Уфу. Большой, толстый, полуодетый, босой, он лежал на полу на своем большом животе и читал том Шекспира.

— Что это вы валяетесь? — спросил я его.

— Да вот, будь он проклят, Шекспир. Вон на столе телеграммы валяются, беляна [1] к Богородску подходит, бежать бы надо, да вот Генрихи не пускают! Дочитать охота.

Приверженность к шекспировским Генрихам и подкупила меня, — мы стали приятелями. Мы продолжали и потом видаться во время ярмарки в Нижнем-Новгороде, когда я поселился там после енисейской ссылки. Он охотно давал мне деньги на нелегальные дела, но его любимым детищем было народное образование. Однажды М. попросил меня составить ему библиотеку для большой двухклассной школы, которую он выстроил в дальних глухих лесах по Уфе реке. При этом он предупредил, чтобы деньгами не стеснялись и цензуру послать к чорту, говоря, что у них «просто». По моей просьбе Илларион Галактионович Короленко — брат писателя, — с компанией составил прекрасный и обширный каталог книг. Передавая каталог, я все-таки выразил сомнение — может ли такая политически-неблагонадежная библиотека существовать официально при школе. М. только посмеялся.

— У нас просто... Приедет становой — угощение; увидит ружье на стене, скажет: хорошее у тебя ружье! — Бери, говорю.

Тогда же он отправился в Москву, закупил все и увез библиотеку к себе в школу.

Как-то он придумал купить по 25 экземпляров известных

[1] Судно с мочалом, плашкой, ободом, направлявшееся в Нижний-Новгород на ярмарку.

тогда писателей: Некрасова, Успенского, Гаршина, Салтыкова, Короленко и др. и роздал книги знакомым крестьянам в своей округе. С гордостью и великим чувством удовлетворения рассказывал мне он потом, как он находил свои книги читанными и перечитанными в деревнях в дальних уездах, где не было у него знакомых.

Раз навестил я М. и в Уфе, куда был я вызван из Нижнего-Новгорода к больному. Разговаривая с М. — он жил уже в Уфе и был большим купцом — я выразил удивление его широкой осведомленности в социал-демократическом движении в Германии. Вместо ответа он вынул из письменного стола пачку вырезанных из «Русских Ведомостей» и тщательно перевязанных корреспонденций Иоллоса из Берлина. Оказалось, что, заинтересовавшись корреспонденциями, он и книжки подходящие почитал.

Кажется, тут же он попросил меня рекомендовать ему учительницу — воспитательницу для его многочисленных детей. Я сказал, что у меня есть в Нижнем-Новгороде близко знакомая мне курсистка, умница и вполне подходящая, но предупредил его, что она ярая социал-демократка. [1]

— Вот и ладно, — коротко ответил М., — присылайте.

Я любил заезжать в ряды. В небазарные дни магазины были пусты. Из неотапливавшихся зимой магазинов купцы и приказ-

[1] Ольга Ивановна Чачина была из бедной семьи; гимназисткой жила с рано овдовевшей матерью во вдовьем доме, где я был тогда врачом. Маленькой стипендии, которую мне удалось устроить для нее, еле хватало для учения на Бестужевских курсах, а ей нужно было еще поддерживать семью. Жалованье, предложенное М., было необычно большое. Чачина прожила в семье М. около двух лет — она была тогда поднадзорная — и, воротившись, говорила мне, что она не скрывала там своих убеждений, и никаких неудобств из-за этого не происходило. Как большевичка, Чачина — как рассказывали мне — принимала деятельное участие в Октябрьской революции; но скоро умерла в Москве, кажется, от сыпного тифа. Она была несомненно выдающийся человек по уму, энергии и преданности делу революции.

чики сходились в «теплушках» сзади магазинов, где весь день продолжалось бесконечное чаепитие. Теплушки являлись своего рода клубами, и странно было мне слушать там горячие споры о последней книжке «Отечественных Записок» и германской социал-демократической партии, о политическом движении в Петербурге. Иногда заходили в теплушки сельские лавочники из дальнего уезда, торговец из приуральских заводов и подолгу засиживались и слушали разговоры губернских людей. И вместе с товарами увозили и книжки, и не одни Бова-Королевичи и Гуак-непреоборимая верность попадали в деревенские и заводские лавочки. Слушал и мальчик, бегавший с медным чайником за кипятком, и по ночам читал книги, которые — говорили приказчики — непременно-непременно нужно прочитать. И когда выходил в приказчики и женился, в его «горке» вместо сахарных пасхальных яиц, серебряного подстаканника и всяких безделушек, какие я видал у приказчиков в Москве и Скопине, стояли его любимые книги, которые он с великими жертвами постепенно приобретал.

Как в вопросе о музыке, так и тут можно было до известной степени узнать историю, проследить, откуда пошла крамола именно в купеческо-приказчичьей среде. Хранилась память об уфимце поэте Михайлове, сосланном в каторгу в 60-х годах, был когда-то в гимназии учитель словесности, проповедывавший, пока не сделался директором гимназии в другом городе, вредные идеи; но осведомленные пожилые приказчики определенно говорили мне, что основоположниками их просвещения были высланные в Уфу на родину из Петербурга в конце 60-х или начале 70-х годов два студента и одна курсистка. Они привезли и получали запретную литературу, они образовали первые кружки самообразования и, так как сами вышли из этой среды, привлекали в них родственников и товарищей детства из купеческо-приказчичьего и духовного круга.

КНИГА

Газет мало получалось в Уфе, газета не играла тогда той заполняющей роли, как потом в Уфе: читали книгу. Читали то, что и мы в университете: Чернышевского, Добролюбова и Писарева, конечно, Некрасова и русских беллетристов, «Один в поле не воин»—Шпильгагена, «Историю одного крестьянина»—Эркмана-Шатриана; редкие счастливцы—Герцена и «Отечественные Записки». Маркс тогда еще не дошел до Уфы.

Знает ли читатель, как читали книгу в былые времена в глухих углах? Помню, дедушка читал книгу «Четьи-Минеи», «Жития», — толстую, разбухшую, закапанную воском книгу... Постилали на стол чистый столешник, прекращались разговоры, тише жужжали веретена в избе, ярче горела лучина: дедушка читает книгу. О подвигах, об уходе от грешной жизни в чистую непорочную жизнь, — спасать людей, просвещать непросвещенных людей. А потом отец читает «Душеполезное Чтение»,[1] и лицо его становится как умытое, и глаза были ясные, неомраченные, и он долго и часто вздыхал.

Я видел в Уфе «Что делать?» — Чернышевского. Разбухшая, с подклеенными листами, кое-где с написанными от руки страницами, заменившими износившиеся страницы, вся испещренная заметками на полях восхищенных читателей, читанная и перечитанная — книжка переходила из рук в руки, из дома в дом великой драгоценностью и считалась обязательной для прочтения молодому человеку, вступавшему в жизнь...

Ждали новую книжку «Отечественных Записок» как пр
ника. Откладывалась рыбалка, вечеринка, любительский
такль, сходились пять-шесть человек и жадно читали. Ж
книжку как дорогого гостя, который все знает, все объ
и расскажет, который посоветует в самом трудном, в само
ном деле.

[1] Журнал, который в 60-х годах выписывали священники, не
шие от печатного слова.

В книге искали не только ответа на умственные запросы, я даже сказал бы — не столько, сколько утоляли там жажду сердца, запросы души и выносили из книги не только знания, умственное просветление, но и *поучения*, правила поведения, мораль, наставления, как жить, что делать. По книгам до известной степени складывались семейные отношения, уклад жизни, быт.

И в беллетристике, и в критических статьях, и в речах на политических процессах для тогдашнего молодого читателя вставали *жития*, рассказы о подвигах, призывы на борьбу за чистую, праведную и счастливую жизнь.

Я знал людей, которые, начитавшись про Рахметова в «Что делать», сбрасывали матрацы с кроватей и спали на голых досках, и еще более знал людей, которые под влиянием книги ломали свою жизнь, отрекались от прошлого, бросали университеты, дипломы, сытую жизнь.

И не только в глухих углах. . . В былые времена. . . Разве не так вышеприведенный Голиков — читал своего Прудона. И не так же ли по существу читали мы, студенты в 70-х годах, тогдашнюю «книгу» до Капитала Маркса включительно?

О, как не прав был Салтыков-Щедрин, бросивши свою знаменитую фразу: «Писатель пописывает, а читатель почитывает!» Если он не прав был по отношению к себе и к другим русским писателям тех времен, которые писали, а не пописывали, для которых писание было миссией, то вдвойне не прав был он по отношению к читателю. Читатель тех времен, русский читатель твердых традиций, без многими веками накопленного запаса ний, моральных норм, с его преобладанием чувства над лию, с его тягой к синтезу, к вере, читатель, не знавший ченых, ни неученых собраний, не доживший до митингов, — бенности читатель глухих углов русской земли, не просто , а вчитывался и перечитывал свою книгу. Книга была ом, который светил ему во тьме его жизни, была не только телем его, но и воспитателем.

Помню, через пустынную площадь ко мне несся запыхавшийся человек и трагическим голосом говорил:

— Что же это, С. Я.? Значит университеты закроют? И науку по боку? Все на смарку?

Я не сразу понял, что дело идет о полученном накануне известии о запрещении «Отечественных Записок». И было глубокое горе в городе по поводу гибели любимой книги, — горе в маленьких кружках настоящего читателя.

НОСАРЬ [1]

Политических ссыльных при мне мало было в Уфе. Был студент Федорович, скоро уехавший, местный человек, студент медик Бонье, Нина Дмитриевна Долгорукая, жена Ширяева, умиравшего тогда в Петропавловской крепости.

Интересную фигуру представлял собою Носарь. Я знал, что в одном из уездов, помнится, Мензелинском, проживал административно-ссыльный рабочий, и до меня доходили слухи, что он пропагандировал среди тамошних крестьян и распропагандировал земских учителей в деревнях его округи. Было даже расследование, но старый Англорез не делал карьеры, и уфимское жандармское управление не отличалось свирепостью, — Носаря только перевели из деревни в Уфу. Он приехал сначала один без семьи, скоро познакомился со мной, стал ежедневно обедать у нас и проводить со мной долгие зимние вечера. В эти вечера он рассказал мне свою историю.

Он был безземельный крестьянин Полтавской губернии и с раннего возраста пошел батрачить по крупным сельскохозяйственным экономиям, работать на сахарных заводах в Киевщине. С раннего же возраста стал бунтовать, и вся его жизнь — около 20 лет — ему было в Уфе кажется за 40 — прошла в том, что он сорганизовывал для борьбы за свои интересы крестьян

[1] Отец нашумевшего впоследствии председателя Петербургского Совета Рабочих Депутатов.

и заводских рабочих, устраивал стачки, забастовки. Его прогоняли со службы, он перекочевывал в другой уезд и снова начинал свою пропагандистскую работу.

Самое интересное для меня в Носаре было то, что он не состоял ни в какой организации, — я подробно расспрашивал его — не был связан с какими бы то ни было интеллигентскими кружками и был, так сказать, самоучка, на свой страх, в меру своего разумения вел свою пропагандистскую работу. Ему самому приходилось составлять воззвания и своего рода прокламации, вырабатывать методы борьбы.

— Как же вы распространяли ваши воззвания? — как-то я спросил его.

Носарь улыбнулся одними усами и взглянул на меня лукавым хохлацким взглядом.

— А просто... Писать нельзя было, — по почерку дознаются, — вырезывали из газет буквы, которые покрупнее, и наклеивали их на бумагу — подростки помогали, вот вам и прокламация готова, а ночью наклеивали на клунях, в мастерских, на дверях контор...

Жизнь была горькая, особенно после того, как он женился и обзавелся семьей; но Носарь не останавливался на горьком и упоминал о своих частых переездах с семьей с места на место, как о понятной и неизбежной подробности своей жизни.

— Наложим имущество на тележку и повезем. Дети на руках... — как-то упомянул он мне о манере своих переездов.

Носарь хорошо знал украинскую литературу, а из своего любимого Шевченка он говорил наизусть длинные отрывки, но и помимо знакомства с украинской литературой меня удивлял его язык, литературные обороты речи, и я не предположил бы, если бы не знал, что он крестьянин, рабочий, не получивший настоящего школьного образования. Оказалось, что он заглянул в университет. Молодым, еще до женитьбы Носарь чуть ли не пешком пробрался в Киев и ухитрился попасть вольнослушателем в университет. Это было в самом конце 50-х или в начале

60-х годов во времена попечительства там Пирогова, в короткий период сравнительно вольного духа в России, когда полтавскому крестьянину без школьного диплома можно было заглянуть в университет. Насколько я помню, экскурсия была непродолжительна, но, очевидно, ее было достаточно, чтобы положить печать интелигентности на молодого Носаря.

Высокий, ходивший сгорбившись, словно ему было тяжело носить свое большое тело, с длинными руками и жесткими рабочими пальцами, с суровыми глазами, смотревшими остро и напряженно из-под тяжелых нависших надбровных дуг, — Носарь выглядел угрюмым и настороженным. И только изредка лукавая хохлацкая улыбка из-под больших усов смягчала выражение сурового лица. Чувствовалась в нем большая воля и неукротимая энергия. И глубокая вера в будущее, в торжество его дела.

Помню, раз мы засиделись до глубокой ночи, делясь нашими надеждами и опасениями, — больше надеждами, чем опасениями. Прошла минута молчания. Носарь ходил крупными шагами по комнате, суровый и сосредоточенный, и вдруг подошел вплотную к моему письменному столу.

— Знаете, С. Я., стихотворение, — оно было одно время на могиле Шевченка? — И словно заикаясь, медленно и напряженно страстно выговорил:

Раскуются связаны руки
И отдастся кровь за кровь
И муки за муки...

— Да, да... вот так:

Р-р-аскуются связаны руки
И отдастся кр-овь за кровь
И м-муки за муки.

Вот и сейчас через сорок слишком лет так и встает он предо мной, большой, тяжелый, суровый с горячими глазами, с скрюченными пальцами, которые то сжимались, то разжимались,

шагающий по моему кабинету и с усилием выговаривающий свои жуткие слова.

Мы договорились. У нас не было коренных разногласий. Носарь и без меня понимал, что без политической борьбы одна экономическая борьба за интересы рабочих не достигнет конечной цели, и сам говорил мне о невыгодах партизанской деятельности. Скоро подошло время его освобождения, — он был сослан раньше меня, — я дал ему рекомендательное письмо к харьковским людям, но так случилось, что в Харькове он попал с моим письмом на квартиру во время обыска и был арестован.

У меня был произведен обыск по предписанию харьковского жандармского управления, но на Носаре эта история, повидимому, мало отразилась. Письмо было написано в осторожных выражениях, и Носарь должен был сам лично договориться с харьковскими людьми, — я имел сведения, что его недолго продержали в тюрьме, и этим все дело и кончилось.

Мне осталось неизвестным, связался ли Носарь с какой-нибудь революционной организацией, и вообще я мало имел сведений о его дальнейшей жизни. Только уже по возвращении из сибирской ссылки я слышал в Петербурге, что Носарь некоторое время продолжал работать на сахарных заводах, а под старость стал частным ходатаем.

Приехала из уезда семья Носаря, жена его, с моложавым, милым, типичным украинским лицом, маленькая дочка и лет пяти мальчик, — будущий председатель Петербургского Совета Рабочих Депутатов — во всех отношениях не достойный своего отца. Из моей квартиры они и отправились. Денег у них совсем не было, выслали их летом и одеты они были по-летнему, — пришлось одевать их в зимнее платье и снаряжать в путь-дорогу.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ЗАВОД

Вскоре по приезде я получил от Д. Д. Дашкова (которому писали обо мне скопинские друзья) предложение занять место врача на его чугунно-литейном и медеплавильном заводе в сорока

верстах от Уфы. Я должен был обслуживать и учительскую семинарию, находившуюся там. Материальные условия были хуже тех, какие успели сложиться в Уфе, но меня соблазняла возможность иметь более свободного времени, чтобы заняться писательством, тяга к чему определенно явилась у меня после сидения в скопинской тюрьме. Хотелось создать и лучшие условия для моих легких, и я принял предложение.

Благовещенский завод был большое село с 6 — 7 тысячами жителей, растянувшееся по берегу Белой. Места были привольные. Белая изобиловала рыбой, и кому не лень было, даже удочками налавливали лещей не только на семью, но и на продажу. И места были дикие, мало истоптанные человеком. Тотчас же за заводом начинался лес, тянувшийся на сто верст слишком, лиственный — главным образом липа и клен — медоносный лес, где по округе были разбросаны тысячи ульев и откуда главным образом вывозился знаменитый уфимский липовый мед — чудесный радостный лес, по весне сладко пахнувший липовым медовым духом, полный соловьиных песен. Было великое множество птицы — уток, рябчиков, на лето прилетали лебеди.

Водились медведи. Забрался даже в село как-то глупый медведь, просунул голову в подворотню, а вытащить не мог и выбежавший на медвежий рев хозяин обухом прикончил его. Как-то принесли мне пару медвежат, и они долго жили у меня, воспитывал и двух волчат. Стая волков версты три гналась за мной поздним зимним вечером, и только великолепный дашковский рысак успел благополучно вынести меня на заводскую улицу.

Благовещенский завод давно перестал быть заводом в смысле определителя местной жизни. Чугуно-литейный и медеплавильный завод Дашкова, судя по постройкам, когда-то работавшим во-всю, хирел и постепенно умирал. Медной руды на месте не было, ее доставляли на волах из Белебеевского уезда, — то, что представляло выгоду при прежнем дешевом труде, потеряло смысл в новых условиях, а Дашков упорно не желал прекращать

дело. Завод переходил на изготовление сельскохозяйственных орудий, но дело не клеилось.

В 60-х годах во время объявления воли у заводского населения вышли «недоразумения» с заводским управлением, и добрая половина заводских людей выселилась на вольные земли в Мариинский уезд Томской губ. Отход от завода продолжался и дальше по мере сокращения работ на заводе, и при мне с заводом была связана лишь незначительная часть жителей. Благовещенский завод являлся в действительности большим торговым селом, куда осело пришлое население, — чем-то вроде города, — там были почта и телеграф, мировой судья и становой пристав, кроме моей амбулатории, земский медицинский пункт, купцы и лавки.

Заводские люди, остатки коренного заводского населения, резко выделялись из массы пришлого населения. Не было скопинского смирения и покорности, на них лежала печать того сильного и смелого, что я потом вообще наблюдал у коренных уральских людей. И давняя русская старина вставала в них. Живы были старинные русские слова, забытые уже в центральных губерниях, песни пели давние, старинные, каких я не слыхал в наших центральных губерниях.

Таких сильных людей, таких могучих тел я не встречал в своей Владимирской губернии, где люди крепче и сильнее, чем в Рязанской. Помню столяра, которому я заказывал мебель. Это был гигант и красавец, с великолепными темнорусыми волосами, с большой слегка вьющейся бородой, он был так строен, все было в нем так пропорционально, что он не казался таким огромным, каким был. Я много бродил по свету и по России и по Западной Европе и только раз встретил в Крыму в Карасубазаре огородника армянина, такого же могучего и так же гармонично сложенного человека. Мой столяр был важный, с медлительными движениями, с короткими важными словами, с властным взглядом, он был, — я бы сказал, — величествен как вождь, именно таким я представлял себе древнего русского богатыря.

Было несколько семейств Чикиных, и о них шла легенда. В заводе не забыли Пугачевских времен. Пришел в завод Чика с своим войском, встретили его честь-честью, с колокольным звоном. Устроился пир на весь мир, и во время пира Чика вызвал заводских людей на единоборство. Прадед Чикиных «сломал» Чику, и Чика дал после этого наказ:

— Зовись ты теперь Чикин!

Оттуда и пошли Чикины.

В памяти моей ярко встает один случай. В деревянном доме с мезонином, где я жил, рано утром случился пожар. Я не успел выскочить из своего мезонина и должен был на крыше, которую уже лизал огонь, дожидаться лестницы, которую долго разыскивали. Я медленно и неловко спускался по лестнице, — в руке у меня была написанная в скопинской тюрьме толстая рукопись повести «Озимь» — единственное имущество, которое я спас из дому, — и, помню, спускаясь, недоумевал: почему так зыблилась и пошатывалась лестница, по которой я спускался. Через несколько дней я был на заводе и спросил старика рабочего, с которым дружил, как поправляется лечившийся у меня его внук. Внук поправлялся, а старик просил растирания для груди. Когда я спросил его, отчего болит грудь, он замялся и улыбнулся сквозь седые усы, а сосед рабочий сказал:

— Да ведь он, С. Я., держал на груди лестницу, когда вы спускались с крыши!

Оказалось, лестницы не хватило до крыши, и вот старик за 60 лет держал на своих старых ребрах длинную лестницу, пока я медлительно и неловко спускался по ней.

Долго спустя, когда я во время поездки из Енисейска на золотые прииски удивлялся могучим фигурам забойщиков, работавших кайлой в разрезе, мой спутник вместо всяких объяснений заметил:

— Да ведь это екатеринбургские! (подразумевается уральские). Специально нанимаем.

Д. ДАШКОВ

Завод умирал, но его владельцы попрежнему играли большую роль в жизни заводского населения. Им принадлежало около 20 тыс. десятин земли. Дашковские леса, луга, пашни кольцом окружали село, базарная площадь, пароходная пристань, сама река Белая на большом протяжении все это было дашковское. От владельца зависели не только крестьяне и мещане, арендовавшие землю, не только рыбацкие артели, но до известной степени и промышленники, вырабатывавшие из дашковских липовых лесов мочало, ободья, плашку.

Два брата Дашковы, нераздельно владевшие имением, были сыновьями министра юстиции при Николае I, известного члена кружка «Арзамасцев». В доме их отца собирались виднейшие представители тогдашних литературных кругов, интимным другом дома был поэт Жуковский. Перед братьями широко открывались двери самой блестящей карьеры — и по положению отца и по родственным связям с верхами русской аристократии, а их жизнь сложилась как-то необычно, не по общей проторенной дороге сыновей аристократии. Почему-то они поступили не в привилегированное учебное заведение, а в университет, почему-то в университете — так мне рассказывали люди, давно и близко знавшие Дашковых, — дали друг другу клятву никогда не служить на правительственной службе. Так и сделали. Что было причиной, — была ли здесь личная или семейная обида, или сознательное отрицательное отношение к тогдашней государственной власти — я не знаю, но ни тот, ни другой из братьев никогда не служил на государственной службе. Это было так удивительно во времена их молодости для того круга, из которого они вышли, что можно понять недоуменный вопрос Александра II, с которым — так рассказывал мне Д. Дашков — царь обратился к нему:

— Почему ты не служишь?

Они встретились у матери Дашковых, одной из тех важных

петербургских старух, к которым цари ездили запросто пить чай.

И это отношение к власти, к русской бюрократии, повидимому, сохранилось у братьев на всю жизнь.

Они ядовито высмеивали петербургских бюрократических владык, у них всегда был запас злых анекдотов о министрах. Д. Дашков с негодованием и презрением говорил мне о деятельности графа Дмитрия Толстого, как министра народного просвещения, и издевался над его насаждением классицизма в гимназиях. [1]

Андрей Дашков, вернувшись из Петербурга с созванного министром гр. Игнатьевым [2] совещания «сведующих людей», на мой вопрос отвечал, раздраженно бегая по комнате:

— Это какие-то монстры собрались! Откуда Игнатьев их выкопал? Какие-то дикие люди. . . Настоящий зверинец! Это чорт знает что такое!

Для меня было удивительно, что оба брата недружелюбно относились не только к бюрократии, но и к дворянству, в особенности к верхнему слою, примыкавшему к бюрократии. И в Уфе они держались особняком, не бывали у мундирных и фрачных людей — оба брата ходили в поддевках — и не принимали их к себе: не принимали участия в дворянских делах, не посещали дворянских собраний и вели знакомство только с людьми, принимавшими деятельное участие в земской работе.

Наиболее интересным из них был старший, Дмитрий Дашков. Молодым человеком в 50-х годах он пять лет прожил в Париже, вращаясь в кружке литераторов и художников, собиравшихся

---

[1] Повидимому, они были личные враги. Дм. Толстой резко враждебно относился к Д. Дашкову. Директор благовещенской учительской семинарии рассказывал мне, что, назначая его на место, Толстой напутствовал его фразой: «Не пускайте в семинарию Дашкова».

[2] Д. Дашков говорил мне, что гр. Игнатьева, когда он был послом в Константинополе, в тамошних дипломатических кругах звали «Лгун-паша».

в доме Бальзака.[1] Главным его занятием в Париже было изучение Великой Французской Революции. Повидимому, он работал серьезно, не как дилетант, он целые дни проводил в публичной библиотеке, в архивах, работал над первоисточниками, наказами — cahiers, с которыми явились депутаты с мест в Национальное Собрание. Видимо, то время и та работа занимали большое место в его жизни, — он часто и много рассказывал мне о содержании этих наказов, как далеки они были от того, что вскрылось потом в революции, между прочим, о том, как медленно и трудно пробивалась республиканская идея чрез монархические чувства депутатов, — некоторые подробности я долго спустя прочитал у Олара.

С введением земства Дашков целиком ушел в земскую работу в Рязанской губ., где у него так же было крупное имение. Служил членом губернской земской управы, заведывал народным образованием и время от времени помещал статьи по народному образованию в «Вестнике Европы». В Рязанской губернии у Дашкова долго гостил англичанин, написавший книгу о России и — говорили мне — обильно пользовавшийся указаниями Дашкова.

Д. Дашков задолго до моего приезда ликвидировал свою рязанскую жизнь и безвыездно проживал в своем Благовещенском заводе. Быть может, одной из причин переезда был скандал, устроенный Дашкову рязанским дворянством. Ему предложили баллотироваться губернским предводителем и было обещано чуть не единогласное избрание. Дашков согласился, заявивши, что предварительно он выяснит перед собранием свое profession de foi. И выяснил. Сущность его речи — он дал мне прочитать ее — сводилась к тому, что права должны оправдываться обязанностями и что русское дворянство, если желает сохранить свою позицию высшего сословия, должно взять на себя обязанность не в смысле службы правительству и с правительством, а в смысле работы на местах для устроения народной жизни. В результате такого выяснения Дашкова «прокатили на вороных» — он получил все черные шары, кроме одного, как смеясь рассказывал он мне.

[1] В те времена Бальзак женился на родственнице Дашковых Ганской. Сестра Дашковых была замужем за Радзивиллом, вращавшимся при дворе старого Вильгельма, и у Дашковых были связи с польской аристократией.

Я не думаю, чтобы это было единственной причиной его переезда из Рязанской губ. — в его рассказе не чувствовалось особого огорчения от этого эпизода его жизни. Быть может, его соблазнила перспектива деятельности на новой девственной почве, где с введением земского самоуправления начиналась новая жизнь, где не так чувствовались узкие дворянские традиции — деятельность по выполнению тех «обязанностей», о которых говорилось в его речи.[1]

По его инициативе и при его материальном содействии была выстроена в заводе учительская семинария для обслуживания крестьянства прилегающих губерний и оренбургского и уральского казачества. Он завел конский завод для улучшения крестьянской рабочей лошади, постепенно переходил на выделку сельскохозяйственных машин для крестьянского обихода, придумал разводить кавказских буйволов в Уфимской губернии, начинал выделывать ягодные вина для использования огромного количества ягод, пропадавших зря в его лесах, и принимал деятельное участие в земской работе, — главным образом в том же деле народного образования.

Не очень много выходило из его деятельности, из исполнения им своих «обязанностей». В семинарию, как я уже говорил, — его не пускали, и он только издали следил за ее жизнью, завод продолжал хиреть: буйволы упорно отказывались акклиматизироваться в Уфимской губернии, и рождавшиеся буйволята

[1] Любопытно, что при мне в Уфе повторилась такая же история. Богатый землевладелец Жуковский баллотировался также в губернские предводители дворянства, также сказал предварительно свое либеральное profession de foi и также торжественно был забаллотирован.

неизменно умирали. И даже, когда я слушал его речи в земском собрании, всегда умные и строго логичные, широко охватывавшие предмет, мне все казалось, что не здесь, не в этом сонном и вялом собрании должны произноситься эти речи, что Дашков не в должном, не в своем месте.

Мне казалось, что Дашков сам чувствовал тщету, бесплодность своей жизни, и от того сумрачная печаль лежала на его лице, и скептический пессимизм звучал в его разговорах со мной. Я раз предложил ему вопрос — почему он не закроет завод, дающий убыток. Дашков ответил:

— А что же будут делать рабочие, особенно старики, отвыкшие от крестьянского труда?

Он был одинок — оба брата почему-то не женились — редко навещали его гости из Уфы, кроме меня и мирового судьи — он ни у кого в заводе не бывал. Мне было 25 лет, ему за 50, мы были люди разных кругов, разных миросозерцаний, и, очевидно этим одиночеством его можно объяснить, почему он так связался со мной. Ему, суровому, гордому, замкнутому, одинокому человеку, очевидно, нужен был человек, который понимал бы его, с которым он мог бы говорить о французской революции, о Бальзаке, об английской жизни — он читал главным образом английские журналы, — с кем можно было бы поделиться интимными переживаниями, а меня Дашков интересовал, как человек из другого мира, как новый тип, какого я не встречал в жизни.

Как-то вечером — он уменьшил огонь в лампе — Дашков рассказал мне про единственную любовь свою, единственный случай, когда он мог жениться. Она была дочь богатого откупщика. Дашков знал, что она пошла бы за него замуж, но именно потому, что она была дочь своего отца, нечисто нажившего состояние, что в доме была нечистая атмосфера, Дашков испугался и не сделал предложения.

— Вот как опасно по отцу и матери судить о детях! Она была красивая, умная, добрая. . . а я не решился. А потом она вышла

замуж, и я знаю, что из нее вышла прекрасная жена и чудесная мать. . .

В тот вечер он был грустный и все не отпускал меня, просил остаться ужинать. Велел принести из подвала бутылку старого какого-то мудреного, фалернского вина и — единственный раз за четыре года знакомства — я видел Дашкова за бутылкой вина.

Так и прожил он свою одинокую неудавшуюся жизнь, — он, уплывший от одного берега и не приставший к другому.

Помню, ранним утром он вошел в мою квартиру необычно взволнованный и сказал мне:

— Царь убит. Я только что с телеграфа. Предупредите вашу гостью.

Мы молча смотрели друг на друга изумленно. Потом Дашков подошел к окну и, тихо барабаня пальцами по стеклу, выговорил:

— Динамит скверное учреждение!..

— Веревка еще более скверное учреждение, — ответил я.

Мы молча пожали друг другу руки и разошлись.

Так я узнал о 1-м марте.

В то время у меня гостила административно ссыльная Нина Дмитриевна Долгорукая. Я застал ее в Уфе в тяжелом положении. Ее муж Ширяев умирал от туберкулеза в Петропавловской крепости и как-то успел прислать ей предсмертное письмо, где прощался с ней. Она была совершенно одинока, без всяких средств, редко выходила из комнаты, целые дни плакала, плохо питалась, мало спала. Я увез ее с собой в Благовещенский завод — губернатор разрешил мне увезти ее — и несколько месяцев она прожила в моей семье. Когда я сообщил ей об убийстве царя и что в телеграмме упомянута фамилия Рысакова, как участника нападения, она заволновалась и тотчас же стала укладываться. Оказалось, что она познакомила Рысакова с террористами и таким образом он попал в партию. Как я ни уговаривал ее остаться, она все твердила, что ее могут привлечь к делу, если Рысаков будет все рассказывать, и что она может повредить

и мне, если ее арестуют у меня. Никакие уговоры не помогли, и в тот же день она уехала в Уфу. Ее не трогали, — очевидно, Рысаков не упомянул о ней.

П. И. ДОБРОТВОРСКИЙ

У Дашкова я познакомился с П. И. Добротворским, — одним из немногих близких к Дашкову людей. Он был также дворянин, довольно крупный помещик, владелец конского завода, но к тому времени, как я с ним познакомился — потом мы очень сблизились — дворянство как-то сошло с него. Имением и заводом он не интересовался, — кто-то, кажется, жена его, управляла им, и семья как-то расклеилась, сын учился в Петербурге в каком-то закрытом казенном учебном заведении, дочь, уже взрослая, жила у бабушки, а сам он жил в Уфе в небольшой квартирке. Небольшого роста, худенький, с маленькой бородкой, нефрантовато одетый — конечно, в поддевке — по своему обычаю, манерам, образу жизни, он выглядел типичным провинциальным интеллигентом. Участвовал в земстве, но как-то сбоку, не целиком и весь был в книгах, у письменного стола.

Он был провинциальный литератор, с стыдливым и горделивым чувством относившийя к своей литературной деятельности, полагавший в ней высшее проявление человеческого духа и высшее служение родине. Его беллетристические очерки печатались в петербургских изданиях, и, после моей ссылки в Сибирь, он прислал мне книжку своих рассказов, но главное дело, сделанное им в жизни, были его корреспонденции о расхищении башкирских земель. Широко осведомленный, знавший всю подноготную, он писал, помнится, в «Неделе» и в газетах историю наглого грабежа, совершавшегося правительством и частными людьми. Он не остановил правительственного грабежа земель, но предал его гласности и оказал значительное влияние на задержку и приостановку расхищения земель охочими и предприимчивыми частными людьми. Его корреспонденции были

так документальны и убедительны и произвели в конце концов такой шум, что именно из-за них — так говорил мне и Дашков — назначена была сенаторская ревизия.

Добротворского терпеть не могла администрация, ругали все прикосновенные — а таких было много — к расхищению земель, а дворянство не то, что презирало, но как-то недоумело пренебрежительно относилось к дворянину из «хорошей фамилии», предпочитавшему исконному помещичьему и заводскому занятию газетное бумагомарание.

РАСХИЩЕНИЕ БАШКИРСКИХ ЗЕМЕЛЬ

Вся история с расхищением башкирских земель была в свое время достаточно освещена печатью, и я не буду в подробностях рассказывать о ней. И к тому времени, как я приехал в Уфу, процесс правительственного грабежа уже закончился. Министры, товарищи министров, крупные петербургские чиновники, приближенные оренбургского генерал-губернатора Крыжановского вплоть до учителя танцев — получили нарезанные участки земель. Министру Майкову отрезан прекрасный кусок, другому министру достался великолепный мачтовый лес на сплавной реке, товарищу министра отрезано было около 2-х тысяч десятин плодородной земли. Я был в этом имении, туда попала могила святого, апостола магометанства в Башкирии, куда сходились на поклонение башкиры из дальних мест, — могила не распахана была под пшеницу только потому, что попался хороший человек управляющий.

Сенаторская ревизия не отобрала этих земель, она занималась главным образом «незаконными» захватами башкирских земель частными людьми и ролью местной администрации в покрытии этих захватов. Сенаторская ревизия значительную часть их ликвидировала, но живо было еще воспоминание об этих сделках, невероятных по своей грандиозности и беззастенчивой наглости. Знакомые лесопромышленники рассказывали мне, как

совершались покупки башкирских земель. В купчей крепости писалось, что покупается такая-то башкирская дача от такого-то урочища до такой-то горы, по 20 и даже по 12 копеек за десятину, и считается в ней по обоюдному согласию 10, 20 тысяч десятин, но делается приписка, что если в данной даче окажется более предполагаемого числа десятин, то продающая сторона прекословить не будет. И не прекословила, если на деле оказывалось вдвое больше десятин, и случалось — это подтверждали мне осведомленные люди в Уфе, — что десятина хорошего леса обходилась покупателю в 10, даже в 6 копеек.

Делалось просто. Предприимчивый человек обделывал дело на месте с неграмотными башкирами, с купленными старшинами их и «заинтересовывал» в Уфе нужных людей и имевших связи, проводивших сделки через палаты и оказывавшихся потом совладельцеми предприимчивого человека.

Знаменитостью в этом роде был выходец из Вятской губ. крестьянин Морозов. В конце всяких манипуляций он оказался было владельцем — говорили мне — ста пятидесяти тысяч десятин. Сенаторская ревизия ликвидировала многие из его покупок, но, кажется, у Морозова все-таки осталось большое земельное имущество. . .

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ЕРОПКИН.

В 1881-м году неожиданно явился ко мне В. В. Еропкин. Я немного знал его по Москве. В самом начале 70-х годов он сорганизовал столярную артель, куда вошло несколько крестьян моего родного села. Помню, артель уже работала на первую всероссийскую выставку 1872-го года.

Еропкин привез мне полученную им от Льва Николаевича Толстого, с которым он был знаком, рукопись его «Исповеди» и рассказал мне о духовном перевороте, переживавшемся Толстым. Сам Еропкин ликвидировал свои московские дела и приехал с намерением окончательно поселиться в Уфимской губернии в земледельческой колонии, которую он устроил в верховьях реки Уфы.

Он мало жил в колонии. Для добывания средств для оборудования колонии он завел лесное дело, вырабатывал мочало, плашку, обод, сплавлял баржи в Нижний Новгород и вечно был в движении, ездил верхом по лесам, бывал в Царицыне, в Нижнем, в Москве. И я с трудом мог представить себе его живущим в колонии за земледельческим трудом, а главное — в тишине, неподвижности, успокоенности жизни колонистов.

Еропкин был характерной фигурой для поколения конца 60-х и начала 70-х годов. Дворянин с громкой фамилией, кончивший два факультета, умный, широко образованный, — он не пошел по проторенным тропам и не сделал «карьеры», какую мог бы сделать. Тотчас после окончания университета он увлекся новым тогда артельным движением и кончил отречением от культурного мира, от цивилизации, которую он презрительно называл «сифилизацией», и устройством колонии вдали от центра, в глухом месте, далеком от «цивилизации».

Он был типичный кающийся дворянчик, не того покаяния, которое вело к отдаче долга народу отдачей народу своей жизни. Он не был революционером и определенно отгораживался от революционной деятельности и ее деятелей, — его жизнь и деятельность были только уходом от той жизни, которой жили его предки и его среда, и прежде всего оправданием себя перед собой.

Ядро колонии составляли две родственные семьи вятских людей не дворянского происхождения. К ним присоединились местные люди, — учительница уфимской гимназии, чиновник, бросивший службу для жизни в колонии. Там же оказался юноша — сирота крестьянин из моего родного села, — первый ученик и гордость нашей сельской школы, которого Еропкин сделал механиком на своей лесопилке.

И Еропкин и колонисты, — в особенности я помню Зота Семеновича, — бывали у меня в заводе, и мы вели долгие беседы. Они говорили мне о будущем колоний, о распространении их по

России, о своем бытии, о своих надеждах. Особенно много говорили о воспитании своих детей, и мне казалось, что это была главная дума их, широкий план, над которым они долго и серьезно работали.

Они отгораживались не только от революции, но и от всякой пропаганды в народе, от всякого воздействия на окружающую жизнь. Они ничего не имели против, если их пример вызовет подражание, если окружающие крестьяне чему-нибудь научатся, глядя на их жизнь, на улучшение в ведении земледельческого хозяйства, но заранее обдуманные действия в этом направлении отрицали. Они жили для себя, устраивали свою жизнь, а не чужую.

Они говорили о новой, совсем новой жизни, которая при росте колоний может сложиться в России, но по существу это была пустынька, обитель, куда уходили люди от скучной и нечистой обывательской жизни и не желавшие быть зубьями в злой и жестокой государственной машине, где устраивали чистую праведную трудовую жизнь, откуда дети их должны выходить новыми людьми, высоко и в должном смысле развитыми людьми, чуждые лжи и язв цивилизации — сифилизации.

Я был у них в гостях. Как-то пустынно и неуютно было в доме, словно на перепутьи, когда люди не обжились, не обросли домовитостью и хозяйственностью. Зимних работ не было, и колонисты были без дела.

Уфимская колония оказалась только перепутьем для них. Был произведен обыск в колонии, и будущее колонии стало сомнительным; объяснение Еропкина с жандармским полковником ничего не выяснило. Англорез признался, что никаких сведений о преступной деятельности колонистов к нему не поступало, но что вся колония представляется ему подозрительным предприятием.

Понятны были недоумение и подозрительность жандармского полковника. Пришли неведомо откуда незнакомые люди, не служат, не торгуют, не мужики, а живут как мужики, — разве

не подозрительно? И разве это порядок в благоустроенном государстве, что чиновник бросает царскую службу и идет землю пахать? Кончилось тем, что из колонии ходоки отправились на Кавказ искать землю и менее предусмотрительнос начальство. Так образовалась известная Еропкинская колония на Кавказе.

МАРКЕЛОВСКИЙ ПОЧИНОК

Еду в гости в Еропкинскую колонию. Долго пришлось ехать по замерзшей реке. Уфимка — так местные люди называют Уфу реку — зимой суровая, угрюмая. Справа и слева сумрачный лес елей и пихт, редкие людские поселения, не было встречных. Все дикое, необжитое человеком. Мелкой трусцой трусит лошадь, звенит колокольчик. Подвязывая колокольчик, возница говорил — «для веселья», только и веселья всего.

Далеко впереди маячит повисший над рекой угрюмый утес и, казалось, все уходит от нас, пока мы едем к нему, и виден огромный камень, повисший над утесом.

— Вот тут!. . — указывает мне возница на утес. — Ермак, как на Сибирь шел, казну свою положил и этот камень навалил. А под камень ладу свою положил, чтобы стерегла. И заклятие клал: раз в пятьдесят лет вставать ей и жениха искать. И кто возьмет ее за себя, — тому и казна Ермакова достанется. . .

— Видали? — спрашиваю.

— Как не видать! Старик у нас в деревне жив еще. Как молодой был, гналась за ним. А надысь. . . Шурин мой. Ехал с базара под вечер, — вот так же поземка мела. И видит он — вьется она, Ермакова, вокруг подводы. Белая, белая. И стонет, и стонет! Возьми да возьми! Нахлестал он лошадь, а она шасть в сани да как обнимет его за шею. . . Тут он и памяти решился. Привезла лошадь в деревню, а он без языка. Так не в себе три дня лежал, пока отошел и сказывать стал. Стали подсчитывать — ровно пятьдесят лет стукнуло с того стариковского случая. . .

Все круче берега, гуще и выше леса, миновали утесы и при-

ехали к Белому ключу, что могучим потоком, не замерзая, вырывается из земли. Тут близко была и колония.

В обратный путь из колонии со мной поехала колонистка, упомянутая выше учительница гимназии, и уговорила меня заехать в Маркеловский поселок посмотреть, как устраиваются в лесах вятские новоселы, и познакомиться с интересным священником.

С реки нужно было свернуть в сторону верст за двадцать в глухие дремучие леса, где дорог не было и, как сообщила моя спутница, ездили по зарубкам на деревьях, как это рассказывается у Фенимора Купера.

— Летом совсем проезда нет, — объясняет нам крестьянин, у которого брали мы лошадь, — потому медведя — сила! Ну да теперь спят медведи-то. Да вы не сумлевайтесь, — успокаивает он нас, — третьего дни починковские за мукой приезжали, — проложили дорогу.

Наш хозяин был сведущ по медвежьей части, — спутнице односельчане рассказывали, что он убил больше двадцати медведей, и в углу избы стояла огромная рогатина, с которой он ходил на медведей. По починковским следам мы и поехали. Была строгая настороженная тишина в дремучем лесу между гигантскими соснами и пихтами. Когда разводы розвальней ударялись о дерево, мерзлая сосна долго звенела, как струна виолончели. И как жалобная струна разносилась по лесу долгая песня возчика башкира.

— О чем поешь, Нигматулла?

Молодой Нигматулла поворачивает ко мне голову в малахае.

— Жена мальчишку родила, — он плохо говорит по-русски, — кобыла жеребеночка принесла. Станет расти малайка, станет расти жеребенок, — будет ездить малайка на жеребенке.

И опять звенит сосна, под сосну поет Нигматулла свою тягучую песню, смутно мерцают белые звездочки снежинок, падающие с мохнатых лап. И кажется, — все это первозданное, от веков давних, от творения мира, и лес этот непроходимый, и медведь, царь лесной, и человек, что ходит на медведя с рогатиной, тоже от веков давних, не нынешний, такой же неуклюжий, как сам медведь, и песня башкира, которая, должно быть, также складывалась человеком в века давние. . .

Приехали мы в глубокие сумерки. Желтые огоньки светились в вытянувшихся длинным рядом новеньких избах. Две больших бревенчатых комнаты, светлая лампа с абажуром, перед лампой раскрытая книга стихов Некрасова. С дивана поднимается из-за лампы белокурая женщина, в комнате два ее мальчика семи — восьми лет, а она все кажется девушкой с застенчивым лицом, с ямочками на щеках. Хлопочет батюшка, высокий, худой с маленькой темной бородкой, которого только полукафтанье делает похожим на священника. Дамы ушли в другую комнату, мы сидим с батюшкой в уголку, и он просто, как давнему знакомому, рассказывает свою жизнь.

. . . Кончил он духовную семинарию, вольного духу набрался, Чернышевского начитался и веру потерял. Без веры не хотелось священствовать, учительство потянуло к себе. Был он несколько лет сельским учителем в сельской школе и заболел сыпным тифом и, когда стал поправляться, по-другому на мир взглянул, и вера вернулась в душу. А в соседнем селе теперешняя жена — эпархиалка она — тоже учительствовала и в одно время в тифе валялись. И выздоровели они в одно время и поженились. Пришел к архиерею места просить в священники посвящаться, просил туда назначить, куда охотников мало. Вот и живет здесь с тех пор, как леса заселяться стали.

. . . На пятьдесят верст приход его. Все леса непробудные, и все новые люди приходят. Таких починков, как Маркеловский — нет, все маленькие в пять-шесть изб, есть и одиночка. А старых деревень нет. Вот и ходит по приходу с требами. Дорог нет, кое-где по лесам и верхом проехать нельзя. Раз пришел крестьянин верст за двадцать — жена разродиться не может. «Пошел я с дарами, подходим, — дверь открыта, и из избы медведь выскакивает, — заел роженицу, пока мы шли.

Два года потом крестьянин по лесам бегал, зверем выл».

Батюшку вызвали в другую комнату. Сквозь полуоткрытую дверь я видел, как он, стоя на скамейке, снимал с высокой полки толстые старые книги в диковинных переплетах и передавал лысому человечку в серого сукна поддевке. Вернулся батюшка — улыбается.

— Старообрядец пришел, начетчик их. Испугались колокольчика вашего, думали начальство, — за книгами пришел. Дружат со мной, на свою службу приглашают, старые книги дают читать для вразумления, — все уговаривают, чтобы к ним перешел в ихнюю старую веру. Тут самое гнездо их. Архиерей ихний, беглый, наезжает, судит, рядит, в священники ставит.

Матушка пришла. Все только про радостное говорит.

. . . Лучше всего у них пасха. С пятницы собираются с дальних починок, сторожка большая, ночуют, читаю я им. А придет светлое воскресенье, поднимем иконы и пойдем по лесам. А леса-то вешние, шишечки красные, как свечечки на елках да на пихтах. Дух какой. Идем и поем «Христос воскресе». И всю неделю ходим по лесам, не устаешь ведь, как за иконой ходишь!. .

. . . Да, вот так и живем. Весь день занята. Утром в школе с учениками займешься, а потом свои дети, обшить, одеть. . .

. . . Какое разрешение! Собрали ребят и учим с мужем. Кто сюда поедет? Никакого начальства по сие время не видали. . .

Утро, когда мы уезжали, было ясное, солнечное. Далеко-далеко, куда только глаз хватал, все сопки лесистые, сопки, снегом засыпанные. Изредка виднелся синий дымок среди сопок, как свидетельство чьей-то брезжущей там жизни. Длинный ряд новых беленьких незакопченных изб весело смотрит на Маркеловскую улицу, а из-под снега выглядывают пни вырубленного под чищобу леса. А посреди улицы осталась расти могучая необыкновенной красоты пихта. И мешает она, приходится объезжать; но, очевидно, лесные люди, понимающие красоту дерева, залюбовались на нее, пожалели, не могли срубить. И осталась она, как память о лесе, каким он был, когда пришли люди, раздвигающие леса.

И снова звенели — пели сосны, новую песню складывал Нигматулла, и опять казалось, что все это первозданное от веков, от творения мира, и что новая жизнь только что входит, только что зарождается в вековечных лесах.

Давно-давно были новгородские мужики и стали подаваться на восход солнца по долам, по рекам, по лесным падям, раздвигая леса, раздвигая чужеродных людей, на Двину реку; а потом подались на Вятку реку, а теперь подаются все на восход солнца — на Белую реку, на Уфу реку. И все те же, в тех же древних одеждах, так же по-прадедовски, по-вековечному выжигая леса, выкорчевывая пни, садятся на новину, обживаясь с медведями, волками, с непроходимыми лесами, сживаясь и смешиваясь с чужеродными людьми. Все не уселась еще, все бродит, все куда-то подается Россия. . .

КАК Я ЛЕЧИЛСЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

Жизнь в Благовещенском заводе была тихая, спокойная, свободного времени было много, и я начал лечить мой туберкулез.

Нужно вспомнить, что в те времена, в конце 70-х и начале 80-х годов, учение о туберкулезе стояло на мертвой точке, не была еще открыта Коховская палочка, не появились на сцену креозоты, не было специальных санаторий, твердо верили в наследственность чахотки, и даже вопрос о ее заразительности дебатировался в среде врачей в неуверенном тоне. Предсказание ставилось пессимистическое, считалось, что чахотка вылечивается только на кумысе, да в Крыму, можно сказать, незадолго пред тем открытом, как лечебное место, Боткиным со времени жизни его в Ялте для лечения жены Александра II. И только умный Захарьин говорил нам на лекциях, что от чахотки можно выздороветь везде, даже в частном доме, и рисовал нам нужные

для этого обстановку и режим жизни, т. е. говорил то самое, что долго спустя всплыло в медицинской литературе, как пропаганда санаторного лечения вообще и так называемых домашних санаторий в частности. Обычное лечение было только симптоматическое — приходилось самому, кустарным способом придумывать лечение.

Вплотную заняться лечением кумысом мне все не удавалось, я прожил только 10 дней в Шраклы-Куле, в Белебеевском уезде,[1] и я придумал лечиться брагой, которую я называл про себя растительным кумысом. В селе, где я вырос, у нас в доме и в каждой избе к праздникам варили брагу. Было два сорта, — бабья, густая, сладкая, с малым содержанием алкоголя, и более крепкая и менее сладкая — мужичья. Кухарка стала варить мне бабью брагу, она казалась мне вкуснее, и я около полугода ежедневно выпивал по два графина, — около четверти ведра этой браги.

Другим методом лечения была гребля в лодке распашными веслами.

Туберкулез обнаружился у меня пред окончанием университета после возвратного тифа — я лежал в клинике Захарьина — довольно сильным кровохарканьем, с последовавшим длительным повышением температуры. Я не имел никакой возможности ехать в Крым, куда настойчиво посылали меня Захарьинские ординаторы, и после двухмесячного отдыха в деревне в Полтавской губ. я взял место врача в скопинском земстве.

Несмотря на довольно тяжелые условия земской работы, — большие приемы, частые разъезды во всякую погоду, нередко по ночам, — за два года туберкулез не особенно беспокоил

[1] С первого же дня приезда я выпивал по десяти бутылок в день — при ежедневной игре в городки, — а когда хозяин-башкир, у которого я гостил, повел меня в гости по кибиткам башкир и в каждой приходилось выпивать по ковшу, по два кумыса, — я выпил в продолжение дня не меньше ведра.

меня, сказываясь только кашлем, временными повышениями температуры и кровохарканием, из чего я заключил, что мой процесс благоприятный. В библиотеке Дашкова я нашел сочинение английского врача — помнится, в 4-х томах, фамилию и название я забыл, — где усиленно рекомендовалась в некоторых легочных болезнях — гребля в лодке. Я решил, что гребля в лодке, вызывающая более глубокое дыхание, в условиях чистого беспыльного воздуха есть наилучший способ вентилирования легких, так сказать, расправлением и укреплением их.

Я даже приделал было в лодке подвижное сидение, что особенно рекомендовалось автором, но дело у меня не сладилось, и я стал ездить в обыкновенной лодке. Если погода позволяла, я ежедневно после приема и обхода больных уезжал — компания всегда находилась — в лодке по Белой и проводил на ней 5 — 6 часов. Сначала я быстро уставал и появлялась одышка, но к концу лета одышка прошла, и я мог грести, не переставая, $1^1/_2$ — 2 часа против течения довольно быстрой Белой.

От браги ли, или от лодки, или просто от гигиеничной жизни и хорошего заводского воздуха, я очень поправился, перестал задыхаться, а, главное, надолго прекратились подозрительные повышения температуры и никогда уже не повторялись кровохаркания.

Отчасти на почве этого моего лечения, гребли в лодке, и возникло новое политическое дело обо мне.

НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЛО

Обязанности заводского врача я соединял с должностью врача при благовещенской учительской семинарии. Здесь были почти исключительно крестьянские дети из Прикамья и оренбургские и уральские казаки, — некоторые из них не очень молодые, уже женатые.

На почве этой связанности с семинарией и возникло новое

«дело». У меня была довольно обширная библиотека, [1] я давал книги ученикам, которые находил наиболее полезными — в особенности часто навещали меня особенно жадные к чтению уральские казаки: Матвеев и Павлов.

Эти же двое были наиболее частыми моими спутниками в поездках в лодке. Они были такие же страстные рыболовы, как и я. В 4 — 5 часов мы брали бредень, котелок и чайник и отправлялись на Белую. Ловили рыбу, а после ухи за бесконечным чаепитием шли долгие разговоры обо всем, что волновало меня и их.

Самым интересным был Павлов. Уже не юноша, — дома у него оставались жена и двое детей, — он был прирожденный революционер, в нем сидела старая казацкая вольница. Товарищи рассказывали, как Павлов в качестве казачьего урядника безумно смело гонялся по степи один за разбойниками. И у него же была особенная жажда к знанию, — запросы его были глубже и серьезнее, чем у остальных. Из всех учеников он один взял у меня Капитал Маркса и засел за него вплотную.

Так ярко встают предо мной те вечера, скорее ночи, так как случалось засиживаться до солнечного восхода — на берегу красивой излучины Белой у темного выступа скалы, нависшего над рекой. Кончались разговоры, начиналось пение, и Павлов высоким нежным тенором, который странно было слышать у этого большого, высокого, угловатого, всегда немного угрюмого человека, пел старинную казацкую песню, его любимую, о том, как умирающий в поле раненый казак поверяет вороному коню своему отнести весть жене. Затихали соловьи, начинала дымиться река, и мы возвращались в завод.

---

[1] В университете я сделался большим любителем книг, на которые и тратил много из того, что зарабатывал уроками. Мне удалось даже занять деньги и за 400 руб. купить целую распродававшуюся библиотеку. Книги были зачитанные подписчиками, достаточно потрепанные; но там были классики, журналы 50-х и 60-х годов и ходовые среди учащейся молодежи запретные книги, которые библиотека потихоньку выдавала знакомым подписчикам. Во время пожара эта библиотека сгорела.

Сначала все шло благополучно. Директором семинарии был педагог, воспитавшийся на традициях 60-х годов, любивший свое дело, старый холостяк, которому семинария заменяла семью, сумевший сложить не начальнические отношения с учениками. Мы были в добрых отношениях, и, когда я предложил ему читать в семинарии лекции по анатомии и физиологии и гигиене, он тотчас же снесся с оренбургским учебным округом, и дело устроилось. Мне удалось, впрочем, прочитать только несколько лекций, — старый директор скоро вышел в отставку, и водворился новый директор, при котором не только лекции, но и моя служба в семинарии стали невозможными.

Новый директор был типичный представитель тогдашнего министерства народного просвещения, возглавлявшегося гр. Дмитрием Толстым.

Он был сыщик по натуре и — нам писали с места его прежней службы — сделал карьеру, как инспектор народных училищ, в Прикамье, где занимался слежкой за народными учителями, доносами и вылавливанием неблагонадежных элементов. С сыска он и начал свою деятельность в семинарии.

Тотчас по поступлении, он предложил всем ученикам написать свою автобиографию, при чем просил, чтобы писали непременно по чистой совести, говоря, что ему нужно это только затем, чтобы поближе познакомиться со своими учениками. Были предусмотрительные люди, сразу разглядевшие нового директора и написавшие о себе в должном достохвальном смысле, но оказались и наивные, привыкшие к искренним отношениям со старым директором, написавшие о себе по совести. Помню, один из учеников, кажется, Вяткин, написал, что он как-то за вечерней долго смотрел на образ божьей матери и усомнился в ее божественности и что с тех пор пошло в душе его разномыслие. В результате искренним людям поставлены были дурные отметки за поведение, и учителям с некоторым трудом удалось на учительском совете отстоять некоторых из них в роде Вяткина, которых директор настаивал исключить. Вторым шагом его были обыски,

которые он стал производить в спальных в отсутствии учеников. Вспоминая эту фигуру с мертвенно бледным лицом, с потухшими, остановившимися глазами, с какими-то странными припадками полусознательного состояния, — я думаю, что новый директор был больной, не вполне нормальный человек, хотя и вел вполне нормальную политику министерства народного просвещения.

В один из обысков ему посчастливилось найти под матрасом Матвеева известное обращение Исполнительного комитета Народной Воли к Александру III.

На другой день во время приема в амбулатории, помещавшейся после пожара в том же дворе, где была и кутузка для благовещенских преступников, я неожиданно для себя — я не знал еще об обыске — увидел прогуливавшегося по двору Матвеева и сидевшего на крылечке кутузки стражника. На мой вопрос Матвеев сообщил об обыске и рассказал, что арестовал его директор собственной властью и никакого другого распоряжения от должной власти не было. Простодушный стражник подтвердил — позвал его директор в семинарию и велел арестовать этого человека, а больше он ничего не знает.

Времена были простодушные, я бросился к мировому судье и застал его только что кончившим разбирательство. Л. О. Гординский был за сто верст от всякой политики, но был настоящий мировой судья, строгий поборник законности. Ни слова не говоря, он надел цепь и сурово выговорил:

— Пойдемте!

Я скромно стоял на крылечке своей амбулатории и с интересом наблюдал, как Гординский, важный в своей цепи, спрашивал у Матвеева — он знал Матвеева, так как изредка участвовал в наших лодочных прогулках — имя и фамилию, — по какому случаю он арестован и после короткого опроса стражника торжественно выговорил:

— Вы свободны.

Матвеев ушел, а стражник остался при своей кутузке.

Это освобождение не помешало, конечно, в тот же день последовать вполне законному телеграфному распоряжению из Уфы об аресте Матвеева — он не собирался скрываться — и об отправке его в уфимскую тюрьму.

В своем донесении директор написал — так сообщили мне уфимские знакомые, — что означенное письмо Исполнительного комитета Нар. Вол. дал Матвееву, конечно, известный тяжкий политический преступник доктор Елпатьевский. Матвеев на допросе отказался сказать, от кого он получил — я знаю, что он получил во время вакаций от товарища, студента Петербургского университета, но у меня произвели обыск, учинили допрос, устранили, конечно, от семинарии, но временно оставили в заводе, и я продолжал быть заводским врачом.

С полковником Англорезом у меня сложились странные отношения. Время от времени он вызывал меня в Уфу передать письма, которые стали проходить через жандармское управление, и после официального разговора просил полечить жену его или его самого.

После одной комичной истории он перестал прочитывать письма и, отдавая мне не распечатанными, просил только прочитать тут же и познакомить его с содержанием.

Как-то в завод явился жандарм и предложил мне ехать с ним к полковнику. Очень вежливо, но неотступно он следил за мной, пока мы ехали на пароходе, и все имело вид ареста. Полковник встретил меня необычно важно и, пристально смотря мне в глаза, подал распечатанную телеграмму на мое имя.

— Потрудитесь объяснить телеграмму.

Точно я не помню текста, но она начиналась словами: «О Королеве писано. Приготовления сделаны». . . Дальше следовали какие-то слова «немедленно» или «ждем». . .

— Что вы скажете? — все упорно смотря на меня, спрашивал полковник: — О какой это королеве речь.

Мне стоило большого труда не расхохотаться, но я спокойно, так же упорно глядя в глаза полковнику, выговорил:

— Королёв, а не королева. О Королёве писано. . . — и стал

объяснять сконфуженному полковнику, что дело идет о докторе Королёве, которого я устраивал врачом на один из заводов.

— А чья это подпись?

— Бывший директор учительской семинарии, действительный статский советник такой-то.

Я теперь забыл фамилию директора, через которого я устраивал Королева. Полковник был совсем сконфужен, он беспокойно двигался в кресле и, перебирая бумаги на столе уже не глядя на меня, говорил:

— Вы понимаете мое положение?.. Что я должен был подумать? Я не хотел делать историю... — И быстро закончил: — Жена совсем расхворалась, пожалуйста, пройдите к ней.

После истории с королевой Англорез перестал распечатывать мои письма, что уберегло меня, в особенности одного из моих корреспондентов, от крупной неприятности.

Раз — я был уже переведен из завода в Уфу — полковник подал мне довольно толстый пакет, заказное письмо.

— Пожалуйста, прочитайте мне. Я не хотел вскрывать до вас.

Я вскрыл письмо и сразу понял, что оно от студента Горе-Горецкого земледельческого института Сузиловского, приезжавшего в предшествующее лето на практику к знакомой уфимской помещице, и сразу почувствовал, что письмо совсем неудобное для ознакомления с ним жандармского управления. [1]

Мне пришлось под взглядом полковника сочинять длинное письмо, перевертывать страницу за страницей. Как я сочинял

[1] За время жизни в Уфимской губ. у меня создался план своего рода завоевания губернии. Мне казалось, что в этой окраине, где так мало устоявшегося, где все только складывалось, можно было более найти если нереволюционных, то по крайней мере радикальных элементов, которые будут, не участвуя сами, помогать революционерам; что именно здесь можно было создать исключительно благоприятную обстановку для революционной деятельности. Можно было легко проникнуть в земство: создать кадр врачей, учителей, агрономов. Я написал о своих планах друзьям в Москву, и на мой вызов приехали два молодых врача, — тот самый Н. А. Королев, который превратился в королеву, и С. А. Александров

воображаемое письмо, что плел, я, кажется, не мог вспомнить тотчас после ухода от полковника, но помню, что читал довольно бойко, ровным голосом. В заключение я протянул полковнику письмо и сказал:

— Быть может, просмотрите...

— Нет, зачем же...

Я, не торопясь, вложил письмо в конверт и положил в карман. А потом пришлось выстукивать и выслушивать полковника, и, кажется, я не очень понимал, что говорил ему о лечении.

Прошло несколько месяцев после того, как я был переведен из завода в Уфу, о моем деле пе было ни слуху, ни духу. Подошло и 1-е июля, когда кончался срок моей ссылки, я начал думать об отъезде в Москву, когда через несколько дней пришло из Петербурга распоряжение об отправке меня в Восточную Сибирь. Мне дали две недели на ликвидацию дел.

Теперь я думаю, что новая моя ссылка была решена, так сказать, по совокупности преступлений, и было, вероятно, учтено и письмо, данное мною Носарю в Харьков, — думаю, не менее учтено и то обстоятельство, что в 82-м году в Харькове была арестована Вера Николаевна Фигнер, проживавшая одно время, как Людмила Ивановна Елпатьевская, по паспорту, выданному мною моей жене из Скопинского полицейского управления, — но тогда я думал, что высылка была результатом этого пустяшного Благовещенского «дела», [1] и не в очень мирном настроении

впоследствии известный земский врач, долго работавший в смоленской губ. больнице. Я убеждал и юношу Судзиловского по окончании курса поселиться в Уфимской губ. и звать с собой подходящих товарищей. Письмо и было ответом на мой призыв. Судзиловский развивал в нем целый революционный план деятельности в деревнях, где первенствующая роль предназначалась им агрономам.

[1] Новое дело, несомненно, сыграло значительную роль. В предписании о ссылке в распоряжение иркутского генерал-губернатора было сказано, — как сообщил мне по секрету чиновник канцелярии губернатора в Красноярске, — что мне воспрещается жительство в городах, где имеются средние учебные заведения.

я пошел объясняться с полковником Англорезом, только что вернувшимся после вызова из Петербурга. Я застал его в парадной форме, — он делал визиты — вид имел необычно свирепый и тотчас же напустился на меня:

— Вот что вы натворили! Из-за вас я выговор получил от Плеве.

Я остановил его:

— Объясните, полковник, что вы сделали? Вы говорили мне, что заключение вы послали благоприятное, а тем не менее меня ссылают в Сибирь. . .

Полковник сразу обмяк и заговорил другим тоном:

— Вот я и Плеве говорил. . . Что вы приняты в обществе, пользуетесь уважением. . . А он еще больше рассердился. Говорил, что я просмотрел вас, что вы обманули меня, и сказал еще, что не те опасны, что прокламации печатают да на сходках болтают, а те, которые вот в обществе вращаются, всюду проникают. [1]

Полковник ходил по кабинету, волнуясь и опять остановился передо мной.

— Знаете, что он сказал мне? — «Стыдно вам, полковник. . .» Я тоже отмяк и простились мы вполне мирно.

ТЮРЕМНЫЙ ВРАЧ В.

Во второй половине июля меня посадили в тюрьму пред отправкой по этапу. Я знал, что навигация на Оби кончается рано, мне не улыбалась возможность застрять с женой и двумя маленькими

[1] Плеве помнил обо мне и почему-то особенно недоброжелательно относился. Через пятнадцать лет, когда я поселился в Ялте, Плеве, тогда уже министр внутренних дел, обратил внимание на дом высоко на горе и спросил, чей это дом. Когда ему сказали, что доктора Елпатьевского, он почему-то рассердился и сказал сопровождавшим его:

— Откуда у него дом? Он всегда был нищий.

Спутники не объяснили ему, что в те времена в Ялте можно было выстроить дом без денег, при посредстве Харьковского Земельного банка.

детьми в тюменской тюрьме на целую зиму до весенней навигации, и я начал хлопотать о разрешении отправиться на свой счет. На мою телеграмму и на телеграмму Дашкова, которую он посылал своему знакомому Галкину-Врасскому, тогдашнему начальнику тюремного управления, последовало разрешение, но разрешалось ехать не на пароходе до Перми, что было бы быстрее и дешевле, а сухим путем — обычным этапным, при чем я должен был везти на свой счет двух солдат, т. е. нанимать лишнюю подводу и платить кормовые за оба конца. Навещавший меня в тюрьме Д. Дашков надеялся, что получение медицинского свидетельства о моей болезни поможет разрешению ехать на пароходе, и из-за этого свидетельства мне пришлось познакомиться с тюремным врачем В. — раньше я только встречал его на улице и не был знаком.

Это был интересный, редкий уже и в те времена тип старого дореформенного казенного врача, словно вставшего из Гоголевского Ревизора. Он был духовного звания и по наружности больше походил на дьячка или дьякона захолустного села. Ходил в длинном-длинном засаленном сюртуке, похожем на подрясник. Злые языки в Уфе рассказывали, что его мать, старуха дьячиха, когда он выходил из дому, кадила на него из кадила ладаном, чтобы уберечь от заразы и от дурного глаза. Как-то пригласили его за моим отсутствием к моей пациентке из средней мещанской семьи, и муж ее потом рассказывал, что В., осмотревши больную, садясь писать рецепт, предварительно обмакнул перо в лампадку пред образом и тот знак, который мы делаем вверху рецепта, написал деревянным маслом, а потом уже стал писать чернилами, при этом держал такую речь:

— Вот я стараюсь, прошу божьего благословения. . . Не то, что как-нибудь. А вы вот все Елпатьевского зовете! Он ведь и в бога не верует и из тех, что царя убили, за то и сослали его.

Когда ходил по базару осматривать продукты с санитарной целью — он же был и городовой врач, — держался приблизи-

тельно, как Сквозник-Дмухановский, и была у него всякая благодать на столе.

А доктор Цветков, мой товарищ по больнице, рассказывал мне, как во время рекрутского набора, куда они вместе ездили, доктор В. ночью, когда думал, что Цветков спит и не видит, выходил на двор осматривать жеребца, которого привел богатый башкир за освобождение сына.

Я отправился в тюремную аптеку, где заседал В., и попросил его выдать мне свидетельство, объяснивши, для чего оно мне нужно. Он сделал торжественное и испуганное лицо.

— Что вы говорите, коллега? Как это я могу? Ведь я присягу принимал! Как же я напишу, что вам вредно итти этапом?

Я объяснил, что туберкулез был диагностирован у меня в Захарьинской клинике, что он может выслушать меня. Он отказался от выслушивания и елейным иудушкиным голосом говорил:

— Ну что же, коллега! Какой-нибудь месяц пройдете. . . Август, тепло еще будет. Ежели и пешечком. . . Места веселые, лесочки, лужки, цветочки. Птички поют.

Цветочек и птичек я помню и посейчас. Больше разговаривать было незачем.

Я поехал на лошадях, но, когда я приехал в Пермь, оказалось, что мои уфимские сбережения растаяли. Я явился к губернатору и просил, чтобы меня посадили в тюрьму и возможно скорее отправили в Тюмень. В тюменской тюрьме мне пришлось просидеть около двух недель, пока я попал, наконец, в предпоследнюю осеннюю партию.

В Уфе я прожил четыре года, с 80-го по 84-й год.

ОКРАИНА

Я, центральный владимирский человек, впервые познакомился с окраиной, приуральской окраиной. Здесь начиналась великая мешанина национальностей и мешанина разнокалибирных русских людей. Были башкиры, тептери, черемисы, мордва, татары.

Было основное русское заводское население, а все остальное — недавнее, пришлое.

Все шли вятские люди раздвигать вековечные дремучие леса, шли симбирские, пензенские люди распахивать ковыльную целину уфимских степей, приезжали латыши и заводили свое великолепное хозяйство.

Все это двигалось, усаживалось на места, раздвигало соседей, все это перемешивалось, стирая взаимно-острые углы, уходя от прошлого и не создавая, не успевая создавать новый быт, новые навыки жизни. Все это перемещалось, толклось, как вещи в мешке, который встряхивают.

И все это было не настоящее, не исконное. Не исконный был купец, еще не окупечившийся, — человек, от которого пахло еще деревней. Не настоящий, неисконный был дворянин-помещик. Были недавние, пришлые. Довольно много было польских фамилий, потомков сосланных в 30-х годах поляков. Они давно сделались русскими, но не совсем все-таки были похожи на центральное русское дворянство. И помещики мусульмане были какие-то сборные. Башкир дворян было мало, были татары, были выходцы с Кавказа, из Киргизии, из Туркестана, родственники бухарской и хивинской знати. Был князь Чингиз, сын Чингиз-хана, полусамостоятельного владельца Букеевской орды, ликвидированной только Николаем I. Они были верноподданные, но жадно следили за развертывавшимся тогда восстанием в Египте Араби-паши. . .

И так называемое общество. . . Когда я сказал своему знакомому русскому священнику, что у дочери его персидские глаза, он ответил!

— Она в бабушку, персиянку.

И — знаток уфимского общества, — он стал перечислять известных мне лиц, в роду которых в прошлом были персиянки, и между прочим заметил, что в поэте Михайлове была доля персидской крови.

Когда я видел на балах дворянского собрания уфимских

барышень с несколько выдающимися скулами и характерным прорезом глаз, мне объяснили, что это дочери чиновников, служивших в Киргизии, в Туркестане, в Семиречьи и там женившихся.

А общего лица не было. Ни купеческого, ни дворянского ни крестьянского. Не было уфимского русского лица, как есть вятское лицо, владимирское, черноземное рязанско-тульское лицо, и были крупные отступления от обще-русского типа.

Было подлинное исконное башкирское лицо. Давнее-вековечное, с давней душой с, давними навыками жизни. Я еще застал кибитки, куда переселялись башкиры весной из зимних изб. Я пил у них кумыс из древних деревянных тонко вырезанных ковшей. Еще в мое время в глухих углах они стреляли из луков по ночам, с факелами, крупных форелей в горных речках. Мне подарили лук, из которого еще недавно стреляли в птиц.

И так же как в древности, слагали, импровизировали, они свои песни. Оно было особенное, им только принадлежащее лицо. Они жили, очевидно, еще психологией, которая сложилась в те времена, когда были полны зверьем огромные их леса и рыбой их реки и табуны лошадей и стада овец паслись невозбранно в широкой ковыльной степи. Они были какие-то беззаботные, как будто не понимали, не хотели понять, что та жизнь прошла и пришла новая жизнь, они были, как птицы небесные, не сеющие, не жнущие, не собирающие в житницы. Я понимал, когда башкир говорил моему знакомому, бранившему его за то, что истратил полученные деньги не на хлеб, а на платок для жены и гостинцы для детей:

— И чудной ты, Степан, говоришь, помру с голоду! Видишь, птица летает, — Аллах кормит ее, — как же меня не прокормит?

Не собиратели в житницы. . . Торговля и промышленность были исключительно в руках русских и татар, — я не помню купцов и промышленников из башкир.

И в толщу их двигалось все это чужое пришлое, за его счет

совершалось все это движение, перемещение новых людей. Раздвигались и вырубались вековечные леса, взрывалась ковыльная целина степи, уходили звери, улетали птицы, таяли табуны и стада. Разворовывали его земли чиновники; башкирский народ беднел и нищал и без протеста смотрел, как хищные люди рвут его землю.

И когда им говорили, что есть закон, что закон может защитить их, они отвечали:

— Русский закон, как юфтовая кожа. Сюды потянешь — тянется, туды потянешь — тянется.

IV

ПО СИБИРСКИМ ТЮРЬМАМ И ЭТАПАМ

От Уфы до Перми — на лошадях, от Перми до Екатеринбурга — поездом, от Екатеринбурга до Тюмени опять на лошадях — по шести арестантов на телегу, задержка — в Тюмени, и мы дождались, наконец, отправки по сибирским рекам в Томск.

Длинную, черную баржу битком наколотили арестантами; нас политических — мою семью — устроили на корме, в аптечке, где помещался со своими скудными медикаментами фельдшер, сопровождавший партию. Сплошная железная решетка отделяла нас от палубы, где целыми днями толпилась арестантская масса.

Медленно тянет пароход нашу баржу, медленно плывут мимо нас чужие берега. Проплыл Тобольск, поднявшийся из воды на высоком выступе, а потом берега снизились и становились все шире и ниже, и пошло все плоское, низкое, тусклое. Девять дней, девять ночей, бессолнечных дней, безлунных ночей. . . Низкое, тяжелое небо придавило землю и мутную реку.

Моросит нескончаемый, мелкий, холодный дождь, серая мгла окутывает смутные дали. Не видно берегов, нет даже реки, так медленно льется вода, и временами кажется, что мы плывем по огромному бесконечному озеру. Выныривают чуть поднимающиеся над водой лесистые острова, а за островами опять вода и опять острова. И дальше, и дальше. . .

Сколько верст здесь ширины Обь? — спрашиваю я фельдшера.

Он долго смотрит на необозримую, безбрежную реку, на далекие острова и говорит:

— Лямин Сор это место называется. . . — верст 80 тянется. Капитан сказывал — Обь здесь шириной около 300 верст, а, может, и все пятьсот, кто их считал. . .

Пустыня, пустыня . . . Нигде не вьется дымок из человеческого жилья, не выглянет из-за леса шпиль церковки или мечети. Изредка посвищет пароход, и мы пристаем к пустынному берегу. Кто-то там приготовил для нас дрова, выйдет из темного, огромного леса одинокий человек, сторожащий дрова, натаскают матросы дров на пароход, и опять плывем по безлюдной, пустынной реке. Раза два к нашей барже подплывали на своих скорлупах-лодочках остяки. Они протягивают связки стерлядей, и молят чтобы им дали хлеба, и жадно смотрят на рваную рубашку, которую им протягивают с баржи. Они плоские, низенькие, на коротких ногах, и лица их бледны, и печаль стоит в глазах, и жалобой звучит их мягкая, плоская, сюсюкающая речь. Бывает ли улыбка на этих лицах, входит ли когда-нибудь радость в их сердца? Сходит с лица их это печальное, молящее выражение?

Изредка буйное веселье ворвется в арестантские души. Запоют разухабистые песни, несутся дикие крики, пляшут-звенят кандальные ноги, — и потом тихо, жутко тихо. Крикнет пароход одиноким, печальным криком, словно спрашивает, — есть ли жив человек? — и опять тихо, пустыня молчит, человек не отзывается.

Арестантов отгоняют от решетки, чтобы не разговаривали с нами, и все-таки нет-нет урвется кто-нибудь посоветоваться со мной, с просьбой — всегда с одной и той же — чтобы его, арестанта, воротить в «Рассею» домой, чтобы я написал такую бумагу, которая могла бы вернуть его в «первобытное состояние». И пользуется каждой минутой отхода часового немолодой арестант, бледный, худой, с изношенным, когда-то красивым, интеллигентным лицом и просит-молит меня все об одном:

— Морфия, доктор, морфия! Умоляю! С Перми не впрыскивал. Ужасно! Не могу! Хоть на одно впрыскивание!

Морфия в аптечке нет, и измученный человек приносит мне старый-старый, перевязанный ниточками, шприц, и говорит:

— Возьмите от меня. . . чтобы глаза мои не видели. . .

Все нет солнца, все льет холодный, мелкий дождь, все серая мгла окутывает смутные дали. . .

В ТОМСКОЙ ПЕРЕСЫЛЬНОЙ ТЮРЬМЕ

Томская тюрьма — самая большая из всех тюрем Европейской России и Сибири, чрез которые мне приходилось проходить. При мне в ней скопилось около двух тысяч человек — так говорили надзиратели — и огромный тюремный двор с утра до вечера был переполнен арестантами.

Нравы были давние, крепко укоренившиеся. Как-то ночью в коридоре, ведущем в уборную, я увидел через окно, как часовой подавал на штыке кишку со спиртом арестанту, перегнувшемуся в форточку и ловившему рукой кишку. Рядом с нашей камерой помещалась огромная женская камера, у дверей постоянно стоял надзиратель, за 20 копеек отпирал дверь и впускал мужчин-арестантов в образовавшийся, таким образом, публичный дом.

Как-то днем, когда арестантская толпа расходилась на обед, на дворе оказалось пять трупов, — ни криков, ни борьбы, повидимому, не было. Знакомые бродяги рассказали мне, что казнили предателей, доносчиков, и пояснили, что так повелось исстари, что преступления против арестантской этики карались именно в Томске, хотя бы они были совершены далеко от Томска, в тюрьмах Европейской России.

Кажется, никакого следствия по поводу этого убийства и не происходило. И вообще мне казалось, что начальство, — за две недели моей жизни в этой тюрьме я не видел тюремного начальства, — боялось арестантов и избегало вмешиваться

в арестантские конфликты, что в сущности, порядок жизни правила и обычаи устанавливала арестантская масса. Правила арестантская знать, верхи массы — старые, знаменитые бродяги, властные, сильные волей каторжане.

Я познакомился с главарями. «Политики» пользовались тогда большим уважением арестантской массы, и я, в качестве такового, получил почетное приглашение итти в баню в первую очередь. Нас было всего 7 — 8 человек! кроме меня, все бродяги и важные каторжане. В предбаннике староста указал мне на двух старых бродяг и полушопотом советовал мне посмотреть, как у одного, когда он распарится, выступят на спине рубцы от шпицрутенов, у другого — клейма на лице, от ушедших в предание наказаний. Рубцы я видел, а подходить близко к другому, чтобы рассмотреть клейма, я не решился. Я потом встречался с бродягами на тюремном дворе, один из них говорил по-французски, говорили — знал и немецкий язык.

Надзиратели получали нищенское содержание и пробавлялись доходами от арестантов. Были из них и ссыльные, и даже не очень давно освободившиеся из этой же тюрьмы. В нашей камере надзирателем был подполковник артиллерии, не потерявший военной выправки, полный, с великолепными черными баками. Подполковник проиграл в карты и прокутил казенные деньги, за что и был сослан на поселение. Он все ждал «бумаги» и был непоколебимо уверен, что получит ее, — которую выхлопочет у царя дядя — важный артиллерийский генерал, и которая вернет его «в первобытное состояние», а пока что поступил надзирателем в ту же тюрьму, из которой только за месяц до моего прихода он вышел на волю. Он ни за кем и ни за чем не надзирал и охотно относил наши письма без просмотра на почту, исполнял в городе всякие наши поручения.

Наша камера называлась «дворянская», и обитатели ее были из привилегированных классов. Недолго прожил у нас пришедший с нашей же партией почтмейстер из одной из южных

губерний, солидный мужчина с начальственными манерами, удивительно спокойный и неогорченный. Он был сослан за похищение казенных денег, повидимому, припрятал их и никакого огорчения от ссылки не испытывал. Он говорил, что в Томске ему приготовлено место, и он хорошо устроится. Кажется, так и случилось, — он скоро вышел на свободу.

В нашей же камере находилась большая шайка «червонных валетов» — знаменитых московских мошенников, чей процесс наделал тогда большого шуму. Никакая группа непривилегированных уголовных арестантов не производила такого отталкивающего впечатления, как эти шумные, наглые, грубые люди. Приходилось быть постоянно настороже и смотреть за своими вещами. К счастью, мне только несколько дней пришлось прожить с ними.

Первым встретившим меня в камере был человек средних лет, с аккуратно содержимой бородкой, с золотым пенснэ на носу, хорошо одетый — висевший на одном плече арестанский халат казался небрежно накинутым плащом — и только кандалы на ногах являлись диссонансом в корректной фигуре почтенного обывателя. Он тотчас же отрекомендовался мне, назвав немецкую фамилию; познакомил меня со своей женой, добровольно следовавшей за ним, и в тот же вечер рассказал мне свою несовсем обычную историю. Его процесс — я читал отчеты о нем еще в Уфе — в свое время обошел много газет. Шмидт — я так буду называть его — был из московской состоятельной немецкой семьи: один брат был присяжный поверенный, другой — доктор. Молодым человеком Шмидт влюбился в московскую купчиху, был с ней в связи и стрелял в ее мужа за то, что тот бил свою жену. Присудили его в каторгу, из каторги он бежал и успел перевалить через Урал, но в Пермской губернии был схвачен и снова отправлен в Сибирь. Второй раз он убежал умнее: назвался крестьянином одной из центральных губерний. Товарищ по бродяжеству рассказал ему, что его односельчанин давно ушел из деревни в поисках новой жизни

и умер на глазах его в Сибири и что и по возрасту, и по наружности этот умерший подходит к Шмидту. Товарищ так подробно и точно рассказал о деревне, об отце и матери умершего, о дядях и тетках, обо всей родне, что Шмидт, когда был доставлен в указанную деревню на опознание, узнал своих новых родственников, мог назвать их по имени и отчеству. Он образно рассказывал мне, как привезли его в деревню, как полез он на палати здороваться с матерью, уже ослепшей, как целовался с дядей и тетками, справлялся о двоюродных и как все, начиная с матери, в голос признали:

— Наша кровь.

Недели две Шмидт прожил в деревне, все время ходил в гости по родным, пировал на свадьбах — дело было осенью, — а потом достал у волостного писаря паспорт и уехал в Одессу, где, благодаря знанию французского и немецкого языка, принят был швейцаром в лучшую гостиницу в Одессе и довольно скоро сделался управляющим этой гостиницы. И жил припеваючи, завел обширные знакомства, женился под своей крестьянской фамилией и сделался почтенным гражданином города Одессы.

И вот случилось, что мимо стеклянной стены его конторы проходил прокурор, товарищ его по гимназии, он тотчас же признал Шмидта и тут же распорядился арестовать его. Шмидт говорил мне, что поступок прокурора, возбудил общее негодование в Одессе, заставившее его даже перевестись в другой город.

Шмидта, конечно, присудили в каторгу, но он был уверен, что до каторги не дойдет и что его освободят в Томске, так как за него хлопотали важные люди в Одессе, и в особенности надеялся он на какую-то очень важную петербургскую княгиню или графиню, которая была совладелицей гостиницы, где он служил. Так оно и случилось.

Как-то приехал в тюрьму тогдашний томский губернатор Красовский. Во время моего студенчества он был инспектором студентов в Московском университете и знал меня — раз даже

он без моей просьбы предложил мне урок. Я не знаю, признал ли он меня, он очень любезно спросил, не нужно ли мне что-нибудь и как-то недоумело посмотрел на меня, когда я ответил, что мне ничего не нужно. Потом он долго беседовал со Шмидтом; из доносившихся до меня обрывков разговора мне уже тогда стало ясно, что губернатор получил откуда-то свыше письмо о Шмидте, и что надежда последнего на близкое освобождение не так уже фантастична. Впоследствии, когда я уже был на месте ссылки, до меня дошла весть, что по распоряжению властей Шмидт был освидетельствован врачебной комиссией, признавшей в нем тяжелую болезнь сердца, и что каторга была заменена ему поселением в Томской губернии.

У Шмидта оказалось несколько знакомых арестантов по прежним бродяжествам, и как-то раз, когда я с ним гулял во дворе, к нему подошел один из бродяг, и они стали обниматься. Шмидт рассказал мне, что именно с этим товарищем он бежал первый раз из каторги, и что этот бродяга спас ему жизнь, когда они переплывали какую-то реку и обессилевший Шмидт стал тонуть.

Накануне нашей отправки к нам присоединили политическую, Софью Васильевну Никитину, только что прибывшую на барже с офицерской партией. В этот раз мне не удалось познакомиться с офицерами, так как они были заключены в другом помещении, и наше знакомство состоялось только через месяц в Ачинской тюрьме.

ОТ ТОМСКА ДО АЧИНСКА

В половине сентября в 1884 году, после двухнедельного сидения в Томской пересыльной тюрьме, наша партия — двести слишком человек — двинулась, наконец, в путь.

Прошли те блаженные времена, когда политических везли, как Влад. Гал. Короленко, с жандармами на почтовых, — политических приказано было отправлять с уголовными партиями в обычных условиях этапного путешествия.

Преимущество было одно: под политических полагалась подвода, но тянуться шагом было скучно, я сразу пошел пешком и почти всю дорогу от Томска до Красноярска прошел пешком с партией.

Была ядреная, бодрая, сибирская осень. Светило солнце, утренние заморозки не давали расползаться грязи. Справа и слева тянулся лес, временами раздвигаясь, чтобы дать место человеческому жилью, деревням, селам, и снова сдвигаясь, но настоящей тайги еще не было. Лес был редкий, низкорослый и ничем не отличался от перелесков центральной России.

Далеко растянулась арестантская партия. Партия была семейная, много было женщин и детей. Впереди шли арестанты, потом следовали телеги с женщинами и детьми, а потом подводы с арестантским имуществом. Партию сопровождали справа и слева конвойные, но не было ничего мрачного в общей картине. Мне казалось — арестанты шли сами по себе, солдаты шли сами по себе, они присаживались к возчикам-крестьянам, оставляя большие промежутки без охраны. И мне казалось, что не очень трудно было бы при желании вырваться из арестантской толпы и скрыться в лесу. Вся партия с детьми, бегавшими по опушке леса за красными ягодами шиповника, казалась собранием людей, добровольно снявшихся с места и куда-то пробирающихся на новые места.

Меня догнал конвойный офицер, которому должно быть тоже было скучно тащиться шагом за партией в своей бричке и который тоже шел пешком.

— Бывают у вас случаи побегов? — спросил я.

— О, нет. . . Сами арестанты за этим наблюдают.

Офицер рассказывал мне об арестантских нравах, о той неписаной конституции, которая многолетним опытом вырабатывалась между ними, конвойными, начальством и арестантскими партиями, в силу которой одна сторона предоставляла некоторые льготы, не предусмотренные петербургскими правилами, а другая морально обязывалась не допускать побегов.

— Да и какой смысл бежать им в пути? — говорил конвойный офицер. — Из каторги и то не так уж мудрено уйти, а поселенцу совсем уж просто. Да вот вам. . .

Навстречу партии, прижимаясь к опушке леса, шел большой, бородатый, коренастый путник в полном вооружении сибирского бродяги — с котомкой за плечами, с котелком у пояса. Капитан окликнул его. Путник подошел к нам и, улыбаясь, снял шапку.

— Здравия желаю, ваше благородие!

— Когда ушел, — спросил капитан. — В прошлом году?

— Никак нет, — с некоторой даже обидой говорил бродяга, — в позапрошлом. Два года прожил.

— До дому?

— Да уж так приходится, ваше благородие. В Рассею. . . Не поглянулось. Счастливо оставаться. . .

«Преступник» двинулся дальше, к Томску, а предержащая власть шествовала по своему пути и раздумчиво говорила:

— Врет. . . Хорошо помню — в прошлом году шел. Тоже осенью. . .

Партия двигалась медленно. 20 — 25 верст — обычный станок — партия проходила 7 — 8 часов, и все-таки в первые дни мы приходили на этап рано, засветло — в 2 — 3 часа дня. Перед приходом на этап всегда потворялась одна и та же сцена. Передние ускоряли шаги и, когда открывались этапные ворота, арестанты, как безумные, толкая и давя друг друга, врывались во двор и бежали в камеры. Важно было войти раньше, так как только первые — и то всегда это были каторжане, знать партии — могли занять места на нарах. Опоздавшим (шпанке) приходилось размещаться под нарами и просто на полу. А занявшие места также стремительно бежали во двор, чтобы успеть запастись кипятком, пока он горяч.

В особенности большая суматоха, нередко и драки, была на так называемых «полу-этапах».

Порядок следования партии был таков. Один переход кончался полуэтапом, где партия только ночевала, а следующий переход кончался этапом «дневкой», где партия проводила две ночи и целый день. Этапы были довольно большими зданиями с высокими камерами, где нары были в два этажа и где хотя и тесно, но партия все-таки могла кое-как разместиться. «Полуэтапы» были маленькие, в четырех небольших низких камерах, из которых одна отводилась для нас, политических, [1] — приходилось размещать около 200 человек. Теснота была невероятная, люди лежали не только под нарами, но занимали весь пол, лежали плечо к плечу.

К тому же арестантов запирали почему-то рано, и по ночам творилось нечто неописуемое. Долго из камер слышалась ругань из-за мест, скоро становилось душно и смрадно. И время от времени по ночам раздавались крики и ругательства, и мы знали, в чем дело. В коридоре, в который выходили все четыре камеры, по обеим сторонам входной двери ставились два огромных чана, совершенно одинаковой формы и величины, — один с водой для питья, а другой как параша. И вот случалось, что сонные дети, а иногда и взрослые, особенно тифозные, ошибались в назначении чанов. . .

На этапах, где полагалась дневка, партия отдыхала, мылась, чистилась, откармливалась. Весь день, с утра до ночи на этапном дворе шла оживленная торговля. Местные бабы выносили чугуны с горячими мясными щами, горшки со всякой вареной и жареной снедью, мясом, свининой, жареными рябчиками и курами, с неизбежными сибирскими шаньгами. [2] Все это продавалось удивительно дешево: помню пара рябчиков 15 копеек. У кого не было денег, шла меновая торговля. В те времена железной дороги не было, все местное было дешево, а привозное — дорого. Какой-нибудь ношеный платок, старая юбка, прослужи-

[1] На полуэтапах в нашей камере помещались и уголовные — 5—6 человек из верхов партии.

[2] Лепешки из кислого теста, смазанные сметаной.

*

вшая службу на плечах арестанта рубашка расценивались, как крупные ценности.

Много зависело от начальников этапов. Были злые, и даже не злые, а просто бестолковые, неряшливые люди, которым очевидно надоело сидение по глухим этапам, возня с арестантскими партиями. У таких все было грязно и бестолково. Камеры и нары оставались немытые и неметеные со всем тем, что оставляли после себя последние проходившие партии. Солдаты таких команд были грубые и тоже бестолковые. Кипяток во время не был готов; раньше, чем следует, запирали арестантов. Являлись нелепые стеснения, возникали конфликты с криками и руганью, несерьезные, так как начальники все-таки боялись арестантов, но напрасные и излишние, раздражавшие партию. Помню, бывали случаи: при утренней отправке партии офицер, обязанный сопровождать партию, садится в свою бричку и полной рысью уезжает вперед до следующего этапа, оставляя партию на солдат.

И арестанты, знавшие всех и все, смеялись:

— Ну, теперь закатился! Выпивка будет здоровая, и картеж на два дня.

Зато хозяйственных и благодушных начальников партия высоко ценила. Помню еще до Томска, между Екатеринбургом и Тюменью, когда мы подъезжали к Камышлову, сидевшие на нашей телеге каторжане весело говорили:

— Здесь отдохнем. Добрейшей души начальник. Хороший человек.

И действительно, встреча была совершенно неожиданная. Нары были вымыты, пол посыпан песком, разбросаны были веточки пихты и ели и был славный запах хвои. И первый человек, встретивший нас в Камышловской тюрьме, был старичок-арестант с тазом воды и чистым полотенцем на плече.

— Помыться не желаете ли? Пыльно в дороге. . .

Мы с наслаждением мылись и вытирались чистым полотенцем, когда в камеру вошел смотритель тюрьмы, худой и

бледный, чахоточного вида человек в стареньком мундире.

— Я к вам с просьбой, господин доктор, — обратился он ко мне. — Дети у меня в кори, не можете ли посмотреть.

Мы пошли к маленькому домику в том же тюремном дворе. Были гости у смотрителя: почтовый чиновник с женой, кто-то еще. На столике в углу стояла водка, домашние наливки и скромная закуска. Дети уже выздоравливали, моя помощь была в сущности не нужна, и мне показалось, что смотритель вызвал меня не для детей, а просто позвал в гости, чтобы дать вздохнуть бродившему по тюрьмам и этапам человеку. Тотчас же после осмотра детей, когда я успокоил смотрителя и жену его и собрался было уходить, меня повели к столику и стали уговаривать провести с ними вечерок.

— Побеседуйте. . . Уж не обессудьте, чем богаты. . .

Они были искренно огорчены, когда я отказался и заявил, что не желаю, чтобы из-за меня смотритель получил неприятность в случае какого-нибудь доноса на незаконное пребывание в его квартире арестанта, да еще политического. В камерах было общее веселье и общие похвалы хорошему человеку. Вымытые, на чистых нарах, лежали арестанты за чаепитием со всякой снедью, которую успели закупить на тюремном дворе.

Так же повеселели арестанты, когда мы подходили к Мариинску. И так же говорили:

— Там отдохнем. . . Хороший человек. Не теснит. . .

В камеру вошел смотритель, седенький маленький старичок, чуточку выпивший, и отрекомендовался мне.

— С детьми идете? Ну, здоровы и слава богу. Не надо ли вам чего-нибудь, доктор?

Я не собирался ни о чем просить.

— Чаю из самовара напиться бы, — как-то вырвалось у меня.

— Это мы живой рукой.

Старичок распорядился, скоро нам принесли кипящий самовар, смотритель остался у нас чай пить. Много рассказывал он про свою долгую службу и расчувствовался.

— Да, все гонят. И теперь гонят. А кабы вы видели, что было в 60-х годах после польского восстания! Боже мой! Боже мой! Тысячи прошли вот тут через мои руки. Хорошие люди. Всякие были: и бедные и богатые — все потеряли. Помню, графчик один шел, совсем мальчик, лет 16 — 17-ти, красавчик из себя, говорят, из первых богачей в своем месте, а чуть не босиком шел, в опорках.

И смотритель заплакал.

— Тоже поэта Михайлова, наверное слышали, тоже везли, видел. Худой такой. . .

Должно быть скучно было старику. Он долго не уходил от нас. Арестанты действительно отдыхали, никто не теснил. Старосте с несколькими арестантами разрешено было пойти в город за покупками для партии. В камерах было чисто, особенно много было торговок на тюремном дворе, кипяток в изобилии. Появилась, конечно, и водочка.

Наша партия была семейная, большинство состояло из женщин и детей. Кроме отцов и мужей, были, впрочем, и одинокие арестанты, потерявшие по тюрьмам своих жен и продолжавшие числиться в семейной партии. Знаменитостей арестантских — старых бродяг, громких грабителей и убийц — не было. Партия была смирная. Старостой был огромного роста, с холеными бакенбардами, петербургский швейцар одного из великосветских домов, шедший в каторгу за убийство. Его скоро, впрочем, партия сменила за воровство кормовых денег.

На первом же этапе ко мне подошел знакомиться помощник старосты, красивый арестант, лет 35. Дружелюбно и даже с некоторым торжеством он отрекомендовался мне:

— В жандармах служил. . . Как же, помилуйте, очень хорошо с политическими знаком. Сколько обысков производил! Может быть, знавали господина Реву. [1] Ведь я его в Архангельск отвозил.

[1] Рева — довольно известный литератор в 70-х и 80-х годах.

И по его радостному и дружелюбному тону видно было, что он гордился своим обширным знакомством с политическими и, повидимому, считал, что у него была интимная связь, некоторое содружество с политическими, какого не имела окружавшая его арестантская шпанка.

— Как же это вас угораздило? — спрашиваю я его, указывая на кандалы на его ногах.

— А глупое дело. По праздничному быту. . . — И долго и путано стал объяснять мне: — Давняя склока у меня с дядей выходила. Из-за земли: купчая была родовая. Ну, приехал я в побывку к себе в Тамбовскую губернию. Известно, праздник. Разговоры разные с дядей. Только вижу я, лезет он ночью в окно, — ну я его в роде, как топором.

И никакого огорчения по случаю убийства «в роде, как топором», своего дяди, повидимому, он не чувствовал. И вообще он был, пожалуй, самым веселым арестантом в партии. Жена его умерла в Тюмени, он продолжал итти, как семейный. Повидимому, он не особенно огорчался смертью жены и широко пользовался своим привилегированным положением одинокого мужчины среди одиночек-женщин нашей партии.

Ярче выступали на фоне арестантской массы женские фигуры. Помню двух неразлучных, хотя и вечно ссорившихся женщин. Одна — московская купчиха, шедшая в каторгу за отравление мужа — писаная красавица, с строгим лицом, соболиными бровями, полная, белотелая, розовая, другая — немка из Риги, тоненькая, казавшаяся 17 — 18-летней девочкой, с ясными голубыми глазами и прелестными белокурыми локонами, обрамлявшими юное личико, следовавшая в вечную каторгу за убийство матери.

И было дико слушать их громкие скабрезные разговоры, где все вещи назывались своими именами, и вырывавшиеся у них циничные, отвратительные ругательства, какие не часто услышишь от мужчин-арестантов, которыми ругались они между собой и с другими арестантками. Очевидно тюрьмы и

этапы быстро сняли с них обычное обывательское обличье, культурную внешность, то, что называется приличием, и прежде всего женскую стыдливость.

Рано утром партия ждет отправки. В толпе немка и купчиха переругиваются и хвастают друг перед другом.

— У меня ныне староста ночевал. . . — хвастается немка.

— А со мной фельдфебель спал. . . — победоносно говорит купчиха.

Была еще одна, сосредоточившая на себе общее внимание партии. Уральская казачка, высокая, стройная, красивая строгой красотой, с огромными черными глазами на бледном лице, вся в черном, с низко надвинутым платком на голове, вечно молчаливая, она была, как монахиня, сошедшая с картины Нестерова. И было что-то в ее властном лице, в ее напряженных глазах, смотревших из-под темных бровей, что останавливало всякие поползновения арестантов-ухаживателей. Она шла в каторгу за то, что задушила мужа, с нею шла и мать ее, помогавшая дочери душить мужа. Все знали, что впереди с холостой партией идет в каторгу возлюбленный казачки, принимавший участие в убийстве, и вся партия интересовалась, получит ли казачка на следующем этапе весточку от возлюбленного, аккуратно присылавшего с обратными [1] вести о себе.

Кроме меня с семьей, в партии следовала только одна политическая — Софья Васильевна Никитина. Она была типичная революционерка-народоволка конца 70-х, начала 80-х годов. Дочь священника Волкова кладбища, — брат ее был ректором Петербургского университета, а потом вице-президентом академии наук, — она была в юности свидетельницей политических похорон на Волковом кладбище, и, повидимому, они и заложили в ее душу революционное настроение. Как-то, смеясь, она рассказывала мне, что первое преступление она совершила гимназисткой 14 лет тем, что украсила цветами могилу похороненного накануне умершего в тюрьме политического, на чем и была поймана. С. В. была курсистка Бестужевских курсов, и одной из ее революционных функций — было поддержание связи с петербургскими писателями. Она бывала у Н. К. Михайловского, довольно близко знала Г. И. Успенского. Умная, с серьезной эрудицией, энергичная и очень привлекательная, она, вероятно, с успехом делала свое дело.

[1] Обратные — возвращавшиеся после отбытия наказания арестанты шли тем же путем, теми же этапами и служившие своего рода почтой, оповещавшей, что делается в тюрьмах и на этапах.

Мы, политические, были на особом положении. Нам отводилась отдельная камера; кроме общего конвоя, при нас состояли два солдата, специально для наблюдения за нами, безотлучно сопровождавшие нашу телегу, ночевавшие в нашей камере и не переменявшиеся всю дорогу. Повидимому, кроме усиления надзора над нами и предупреждения побегов, преследовалась и другая цель — возможное изолирование нас, политических, от арестантской массы. Это было не слишком умно и плохо достигало цели. Нельзя было устранить постоянного общения в пути и по необходимости общей жизни на этапах. И потом, как я уже упоминал, в тесных зданиях полуэтапов в нашу камеру помещались 5 — 6 арестантов — знати арестантской, т. е. самых влиятельных людей в партии. С двумя нашими стражами у нас сложились и продолжались всю дорогу наилучшие отношения. Оба солдата были сибиряки, прекрасные охотники и оба с гордостью показывали мне серебряные часы, полученные ими, как премию за учебную стрельбу. Они были дети ссыльных — отец одного из них был сослан за бунт против помещика, — и особыми верноподданническими чувствами коренной России они не отличались. И кроме того, помимо общего отношения сибиряков к ссыльным, как к несчастненьким, у них было специальное почтение к политическим. Они не разбирались в моих политических грехах, но им смутно импонировала деятельность революционной партии и в особенности та исключительная храбрость, которую проявляли революционеры.

Особая дружба образовалась у них с моими детьми. Сыну моему было 7 лет, дочери 6 лет, и оба они не задолго до ссылки погрузились в тайны чтения и письма и, охваченные энтузиазмом перед величием знания и жаждой прозелитизма, решили сообщить все свои познания этим двум неграмотным солдатам. И вот на этапах, когда оканчивались совместные ужины и чаепития, дети и солдаты с огарком свечки забирались на верхние нары, и начиналась учеба. Иногда возникали недоразумения между учителями и учениками:

— Ты же сказывала ночесь, — слышалось с нар реплика солдата моей дочке, — вот как надо, а теперь сказываешь по-другому.

Поднимался спор, в котором иногда и нам приходилось принимать участие. Я не помню, какие были результаты классных занятий, но рвение и у наставников и у воспитанников было огромное. И учеба не прерывалась все путешествие от Томска до Ачинска, где мы расстались с этими чудесными нашими стражами.

Хорошие отношения сложились у нас и с арестантской партией. Влияло и указанное выше уважение к политическим и то, что я был доктор. Перед отправкой из Уфы я запасся небольшой аптечкой, в Мариинске доктор, осматривавший партию, пополнил мои запасы, и я всю дорогу лечил больных. Начальство не противодействовало и, кажется, было радо. Я не много мог сделать для больных в тех условиях, в каких мы шли, но и та немногая помощь, которую я оказывал, ценилась лишенными всякой помощи арестантами. И благодарность партии выражалась иногда в трогавших меня формах.

Как на барже, когда мы ехали по Оби, так и на этапных дворах безобразная ругань, стоном стоявшая над партией, прекращалась, когда появлялись моя жена и дети, и арестанты останавливали тех, кто продолжал ругаться.

ОТ МАРИИНСКА ДО АЧИНСКА.

До Мариинска дело шло сравнительно благополучно, но зато переход от Мариинска до Ачинска был чрезвычайно тяжелый. Надвинулась глухая суровая сибирская осень. Солнце почти не показывалось, за холодным дождем шел снег, за снегом опять дождь. Дорогу развезло, ноги увязали в глинистой грязи, застревали телеги, ломались оси, и партия останавливалась, пока вытаскивали телегу или перегружали людей и арестантский скарб на другие телеги. Чтобы пройти обычные 20 — 25 верст, партия употребляла 9 — 10 часов. Выходить стали в 6 часов утра с рассветом и все-таки, случалось, приходили в сумерки.

А главное, появился сыпной тиф. Отдельные подозрительные случаи начались еще перед Мариинском, после него начались повальные заболевания. Очевидно, тиф был захвачен арестантами на барже или в Томской тюрьме, и инкубационный период протекал в дороге. Дети стали болеть скарлатиной и дифтеритом. Умирали в дороге, и матери везли мертвых детей до ближайшей церкви, где можно было похоронить их.

Печально выглядела партия. Все уменьшалось число нас, пешеходов, все больше подвод собиралось по деревням, и партия все растягивалась длиннее. Под снегом и дождем, в холодный ветер ехали больные скарлатиной дети, лежали сыпно-тифозные и стукались головами о перекладины телег. Становилось все холоднее и темнее. Мы въезжали в глубь Сибири, встала настоящая тайга и двумя стенами огромных, сумрачных деревьев придвинулась вплотную к дороге, и было сумрачно и в относительно ясный день. [1]

На этапах и в особенности полуэтапах творилось жестокое. Натащенная арестантами грязь разливалась зловонной жижей

[1] На одном переходе шедшие впереди арестанты видели медведя, переходившего через дорогу.

по коридору, по камерам. Здоровые занимали нары, тифозные валялись в грязи под нарами, на полу.

Врезался мне в память один полуэтап. Арестанты позвали меня ночью. Там выл диким, звериным воем тифозный больной и не давал никому спать. Ноги мои хлюпали в жидкой грязи, в камере приходилось осторожно ставить ноги между занимавшими весь пол лежавшими больными, чтобы не наступить на чью-либо голову, ноги, живот. Я полез со свечкой в угол под нары. Там лежал огромный киргиз с искаженным, безумным лицом и странно светившимися белками глаз, с кровяными подтеками. Он бился головой о пол и выл диким, страшным воем. Там же близко хрипел и как-то свистел умиравший от крупа мальчик. А кругом бормотали сыпно-тифозные. В Ачинске из 200 человек больше половины оказались в тифу, скарлатине и дифтерите.

Тотчас по отходе из Мариинска заболела сыпным тифом и наша спутница, С. В. Никитина, и больше недели нам пришлось везти ее, укутанную арестантскими халатами, с этапа на этап, так что в Ачинск она приехала в самом разгаре сыпного тифа.

Положение было трудное. Оставлять ее одну в Ачинской тюремной больнице, без достаточного ухода, в сомнительной обстановке, мне не хотелось, и я решил выписаться из маршрутной семейной партии и остаться в Ачинске до выздоровления Никитиной. Мне удалось это, удалось даже создать некоторые условия, нужные для ее лечения.

Помог счастливый случай. Скоро по водворении нас в Ачинскую тюрьму к нам в камеру явился исправник — полный, краснощекий человек, в парадной форме, в новеньком мундире с орденами, и обратился ко мне с вопросом:

— Вы доктор Елпатьевский? Не родственник ли вы будете Ивану Васильевичу Елпатьевскому?

Я ответил, что это двоюродный брат моего отца. Исправник совсем расцвел.

— Вот как! Очень приятно, очень приятно! Имел честь служить под начальством вашего дядюшки. Почтенный человек. Очень приятно. . . Очень. . .

Мой родственник занимал значительный пост в Сенате, и я понял, почему исправник явился ко мне, арестанту, в таком торжественном порядке.

— Чем могу служить? — любезно осведомился исправник.

Я сказал, что мне нужно было бы сходить в город за покупками. К моему удивлению, исправник выразил немедленное согласие.

— Пожалуйста, пожалуйста. . . Когда вам будет угодно. . .

— Один могу итти? — засмеялся я. — Без конвоя?

— Конечно, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.

Я сказал, что не хочу подводить его, и просил отправить со мной конвойного. Мы обошли город. Я запасся лекарствами для Никитиной, купил провизии, самовар, чтобы всегда иметь горячую воду. И решительно все, что мне нужно было устроить для лечения Никитиной, исправник немедленно разрешил.

Меня выписали из партии, обещали достать ванну. Тут же исправник распорядился, чтобы надзиратели носили воду для ванны, когда я потребую. И ванна, действительно, на другой же день была доставлена.

Ванна помещалась, конечно, в той же камере. Ежедневно мы клали Софью Васильевну в ванну, давали лекарства, достали вина. Тиф протекал без особых осложнений. Через неделю температура стала падать и спустилась до нормы. В это время обнаружился сыпной тиф и у моей дочки. Оставлять ее в тюремных условиях я боялся, поэтому я выписал жену и детей из своего статейного списка, и они отправились на почтовых в Красноярск. [1]

К этому времени подошла в Ачинск политическая офицерская партия, с которой Никитина ехала на барже до Томска

---

[1] Как следовавшая за мной добровольно, жена всегда могла выписаться из партии.

и с которой рассталась только в Томске, чтобы присоединиться к нашей семейной партии. С. В. была в удовлетворительном состоянии, появился аппетит, она стала сидеть, сама причесывалась, в ваннах не было уже надобности, и, я беспокоясь за дочь, решил отправиться вместе с офицерами. На общем совете было решено оставить с Никитиной двух офицеров по ее выбору— она выбрала Чижова и Синягина, и я вместе с остальными отправился в холостой партии.

Я уезжал с полной надеждой, что Софья Васильевна поправится, и имел от нее поручение, хлопотать перед начальством, чтобы ей разрешили жить с нами в одном месте, но после моего отъезда у Софьи Васильевны сделалось какое-то легочное осложнение, и через две недели она умерла в Ачинской тюрьме.

ОТ АЧИНСКА ДО КРАСНОЯРСКА.

Было уже очень холодно, и тем не менее, путешествие от Ачинска до Красноярска мне вспоминается, как легкий переход в сравнении с тем, что было раньше. Партия была холостая, не было женщин, детей, не было длинного обоза, люди шли быстро и очень рано, задолго до сумерек, приходили на этап. А главное, не было тифа, болезней.[1] Не было стонов и криков больных и умиравших людей. И больше было порядка, больше арестантской дисциплины на этапах. Случалось, даже веселье поднималось на дневках. Один из арестантов из каких-то щепочек сделал скрипку, раздобыл как-то струны, в партии оказалась музыка.

И была приятная компания политических товарищей. С партией шли два студента — Комарницкий и Давыдович, и, помимо оставшихся Чижова и Синягина, три офицера: Мицкевич, Крайский и Стратонович. Тотчас после прихода на этап торжественно вынимался мой самовар, и в камере становилось уютно. Шло бесконечное чаепитие, с долгими беседами, с рассказами

[1] Тиф оказался и в этой партии, но уже в Красноярске и за Красноярском.

про революционную деятельность, про военный быт. Помню интересные, остроумные рассказы Стратоновича о его офицерской жизни в маленьких крепостцах средней Азии, с дикими и жестокими офицерскими нравами, с единственным театром — солдатскими представлениями на масленице царя Максимилиана.

Меня особенно заинтересовали офицеры. На воле мне редко приходилось встречаться с революционерами из военной среды. Самое интересное для меня было то, что мои спутники были не молодежь, не юноши, а люди на возрасте, долго служившие — то были солидные люди, толща, самая сердцевина русской армии. Мицкевич, с большой, черной бородой, важный, медлительный, молчаливый, был уже за 40 лет и служил ротным командиром. Кажется, ротным командиром был и Крайский. Чижов окончил минные классы и заведывал минной ротой где-то на юге России. Стратонович делил походы в Средней Азии со Скобелевым и Куропаткиным. Не юноша был и Синягин, офицер Лейб-Атаманского казачьего полка. За исключением Синягина, остальные принадлежали к южному военному революционному кружку и много рассказывали мне о революционной организации, о способах пропаганды в армии. И во всех их рассказах с особой теплотой и уважением упоминались ими имена Веры Фигнер и подполковника Ашенбреннера, очевидно, оказывавшего на них большое влияние. Очень ярко и драматично выходило у них, когда они рассказывали, как после объявления приговора в присутствии выстроенных солдат ломали шпаги над их головами, и какое это огромное впечатление производило на офицеров и солдат.

Мне нравилось, что офицеры были настоящими военными людьми, знавшими свое дело и горячо интересовавшимися им. Ярко помню одну сцену. Мы пришли на этап, где, к нашему удивлению, все было чисто и прибрано, и даже свежие веточки пихты и ели украшали стены. К нам в камеру вошел белокурый, благодушный офицер конвойной команды, пожелавший позна-

комиться с «господами офицерами». Мы пригласили его к нашему чаю, и он просидел у нас до глубокой ночи. Очень скоро разговор перешел на военные темы, и мы, штатские, были свидетелями, как разгорелся горячий спор на специально военные темы о преимуществах того или иного оружия в тактических, стратегических и иных военных приемах русской и иностранной армии. Помню, я с интересом наблюдал за спорившими офицерами. Все они разгорячились. Мои спутники были в таких же серых шинелях, только без погон, как и конвойный офицер, и уже не было тут начальника этапа и следующих в ссылку политических арестантов, а были только офицеры, знавшие и понимавшие свое военное дело и горячо интересовавшиеся успехами русского оружия. Я уже засыпал, а горячий спор военных людей все продолжался.

. . . .

Было 30 гр. мороза при пронзительном ветре, когда мы с последнего этапа подходили к Красноярску. Партия почти бежала, и мы очень рано вошли, можно сказать, ворвались в Красноярскую тюрьму.

Была половина ноября.

КРАСНОЯРСК.

В Красноярске ждали меня тяжелые вести. Накануне моего приезда у моей дочки был кризис сыпного тифа, и в то же время показались дифтеритные пленки в горле, и сердце сразу ослабело. Пришедшая в тот же вечер ко мне в тюрьму моя жена рассказала, что лечивший доктор боится, что дочь моя не переживет ночь.

Из темных ночей, выпадавших в жизни на мою долю, эта была самая черная, самая страшная ночь. Закусить зубами руку — не особенно помогает внутренней боли.

На другой день меня рано выпустили на несколько часов на свидание с дочерью в гостиницу, где моя семья устроилась. Это было совершенно неожиданное разрешение. В 6 часов утра

жена отправилась к губернатору и потребовала, чтобы губернатора разбудили.

И очевидно, эта исключительная настойчивость так импонировала и прислуге и самому губернатору, что он вышел в халате, принял жену и тут же дал распоряжение об отпуске меня на свидание с дочерью.

К счастью, дело кончилось благополучно. Я застал мою девочку очень слабой, но дифтеритные явления в горле шли на убыль, температура выравнивалась, сердце лучше работало.

Я пробыл несколько часов со своими и был снова отведен в тюрьму, но через несколько дней мне разрешили на время выздоровления моей дочери перебраться в гостиницу.

Болезнь дочери освободила меня от дальнейшего следования по этапам. Я тотчас же отправился к губернатору, и заявил, что после двойного заболевания, сыпным тифом и дифтеритом моя дочь медленно поправляется, и при таких условиях отправка меня и семьи зимой по этапам за тысячу верст до Иркутска, где я должен был узнать о моем назначении, является угрозой для ее жизни. Губернатор обещал снестись с Иркутским генерал-губернатором, и через некоторое время мне было объявлено, что местом моей ссылки был назначен Енисейский округ. Дочь медленно поправлялась, и мне пришлось еще около двух недель прожить в Красноярске.

Незадолго до отъезда неожиданно ко мне в номер явился Владимир Галактионович Короленко, возвращавшийся из Якутской ссылки. Раз или два мы встречались с ним в студенческие времена в Москве, у нас был общий круг студенческих знакомств, и Владимир Галактионович разыскал меня в Красноярске.

Красивый со своими пышными, каштановыми волосами, с блестящими глазами, он был оживлен и весел. Мне пришлось потом прожить с ним долгую совместную жизнь в Нижнем-Новгороде и в Петербурге, но таким сияющим, озаренным радостью, я его уже не видал. Кончились его бесконечные скитания по тюрьмам и глухим ссылкам, он возвращался в Россию

на вольное житье, его ждала там семья, ждала невеста, давно любимая им девушка, — радость и оживление сияли в его глазах.

Он много рассказывал мне о своей жизни в Якутской области. Мы, молодежь, среди которой В. Г. уж тогда пользовался огромным уважением, были очень заинтересованы его первым художественным рассказом в журнале «Слово», и я поинтересовался узнать, пишет ли он. В. Г. рассказал мне, что у него накопился большой литературный материал, и что он везет с собой уже готовый для печати рассказ.[1]

Зазвенели колокольчики под дугой. Быстро мчат нас мохнатые сибирские лошадки. Триста с чем-то верст от Красноярска до Енисейска, справа и слева две стены тайги. Глубокая зима. Ярко светило солнце на синем небе. Глубокий пушистый, ослепительный белый снег кругом. Дремучая тишина, и кажется, это от звона нашего колокольчика падают снежинки с белых глыб снега, придавивших лохматые темные лапы елей, пихт и кедров. Временами развертывается белая громадная пелена застывшего Енисея и опять две стены леса: промелькнут сжатые тайгой и жмущиеся к реке деревеньки. Протянулось на несколько верст огромное село «Казачье».

1-го августа вышли мы из Уфы, 5-го декабря, т. е. через 4 месяца, я, наконец, приехал в Енисейск, место моей ссылки.

---

[1] Его знаменитый «Сон Макара».

V

В СИБИРИ

5 декабря 1884 года, через четыре месяца после выезда из Уфы, я приехал, наконец, в Енисейск. В полицейском управлении меня встретил толстый монументальный исправник с свирепым лицом и благодушным, как потом оказалось, нравом. Из моего статейного списка он уже знал о запрещении мне проживания в городах со средними учебными заведениями, а следовательно, и в Енисейске, где были мужская и женская гимназии, и на мое заявление о болезни дочери и необходимости остаться в городе сказал.

— Я вам назначу Верхнюю Деревню — это под городом, а пока что — живите.

«Пока что» я и жил в Енисейске. На два, на три дня уезжал в Верхнюю Деревню и по неделям жил в городе. Так я прожил зиму и весну, широко практикуя в городе, пока не приехал в Енисейск вновь назначенный генерал-губернатор Восточной Сибири граф Игнатьев.[1] Он не удостоил ступить на енисейскую землю и короткое время своего пребывания оставался на пароходе, куда и являлись начальственные енисейские люди.

Я пошел-было с прошением о разрешении жить в Енисейске в виду необходимости учить детей; но на пристани меня остановил исправник. Бледный, с трясущейся нижнею челюстью, он загородил мне дорогу и торопливо шептал:

— Боже вас упаси! Уезжайте в Верхнюю, сейчас же уезжайте... Первый вопрос графа: «Почему Елпатьевский живет в го-

---

[1] Убитый потом в Твери Ильинским.

*

роде?». Донес кто-то. Я графу ответил, что семья только в городе, а вы в Бельской волости... Сейчас же уезжайте, сию минуту. Подведете меня.

Сию минуту я не уехал, но рано утром со светом был уже в Верхней Деревне.

В девяти верстах от города, небольшое село — хотя и называлось Верхняя Деревня — было типичным трактовым селом. Сжатое огромным Енисеем и бесконечной тайгой, оно тянулось и как-то робко жалось по сторонам тракта. Полей около деревни — преимущественно овес — было мало, а настоящее хозяйство велось на заимках за 15 — 20 верст в тайге, где были избы и поля, где не по-русски все лето продолжался сенокос и куда много крестьян переселялось на лето.

И был медведь, в значительной мере определявший жизнь. Он был воистину хозяин тайги. Скот пасся в деревне, на заимках без пастухов, только с подвешенными колокольцами, по которым и разыскивали его в тайге. Считалось благоприятным годом, когда медведь «задирал» одну лошадь, одну корову со двора. Это была своего рода подать, арендная плата, которую люди платили хозяину за пользование его владениями.

Как-то ночью в мое время вышло в село восемь медведей, за ночь они высосали целое овсяное поле, — прекословить им остававшиеся жители не осмелились. Одно время я жил в брошенной избушке на краю деревни, ночью замерзала вода в кувшине, так что мне весь день приходилось поддерживать огонь в печке, а ночью спать не раздеваясь в валенках и медвежьей шубе. И вот однажды утром меня разбудил сосед-крестьянин:

— Ты что, паря, спишь? Медведь у тебя в гостях был.

На свеже выпавшем снегу были ясно видны отпечатки медвежьих лап. Он, видимо, останавливался у двери и у окна, но по деликатности меня не потревожил. [1]

[1] Бывают редкие случаи, медведь не ложится на зиму в берлогу, такие медведи «шатуны» голодные и потому самые страшные.

Я устроил маленькую аптечку, принимал больных — они оплачивали стоимость лекарств, — работа началась, стали наезжать из ближайшего села. Но вечерами скучно было сидеть в мерзлой избушке с пальцами, которые отказывались писать, — я запрягал лошадь и ехал в город. Жутко было ехать эти девять верст между двумя стенами тайги и вспоминать, что в предшествовавшую зиму медведь задрал тут верхне-деревенскую, возвращавшуюся из города, женщину, от которой только изгрызанную ногу в валенке нашли потом недалеко от дороги, — но желание быть в семье, провести вечер с товарищами-ссыльными было сильнее. Я проводил вечер и ночь в городе и рано утром с рассветом уезжал к себе.

Конечно, полиция знала о моих поездках, но исправник скоро отдышался после игнатьевской грозы и меня не трогал.

Вызволил меня из Верхней Деревни дифтерит. Как-то из города приехала жена приказчика, в семье которого я лечил, с просьбой — посмотреть заболевшего ребенка. У ребенка оказался дифтерит, я сказал, что не имею права ездить в город, и предложил послать телеграмму енисейскому губернатору и в Иркутск генерал-губернатору с просьбой разрешить доктору Елпатьевскому приехать в Енисейск для лечения ее сына. Она так и сделала, и, к моему удивлению, скоро было получено разрешение. [1]

[1] Дифтерит, свирепствовавший тогда на юге России, от которого случалось — писали тогда в газетах — вымирало в некоторых селах Украины детское население, был еще мало известен на востоке. Два случая дифтерита, диагносцированные мною в Уфе, произвели там большой шум. Мне приходилось показывать эти случаи уфимскам врачам, никогда не видавшим дифтерита. Помню, мне пришлось вести курьезный разговор с тамошним инспектором врачебной управы. — Какой это дифтерит вы тут открыли? Перепугали всю Уфу. Ведь это просто angina maligna! — Инспектор, очевидно, не знал, что в учебниках так и значилось: Diphteritis seu angina maligna. И в Енисейске был, большой шум, когда вскоре после моего приезда вымерла от дифтерита целая семья из 4-х человек, от которой и я заразился.

Я переселился в город. Ребенок, к счастью, выздоровел, но я продолжал полгода оставаться в городе, как врач, лечащий дифтерийного ребенка. А потом пришла телеграмма от губернатора Педашенко: «Прошу доктора Елпатьевского помочь в борьбе с эпидемиями». Енисейский сельский врач, на обязанности которого было лечить население Енисейского уезда, растянувшегося более чем на тысячу верст, бороться с эпидемиями и прочее, получавший, кстати сказать, за сию работу 50 рублей в месяц, молодой доктор Моралов застрелился, и некем было заменить его.[1]

Верхне-деревенская жизнь кончилась, через два дня я уже ехал с исправником по широкому ложу замерзших Енисея и Ангары за 900 верст в Кежменскую волость, на границе Иркутской губернии, «бороться» с эпидемией скарлатины, охватившей поселения по Ангаре от устья до Кежмы.

Это была удивительная эпидемия, какую, нужно думать, редко приходилось наблюдать русским врачам, западно-европейским — тем менее. Болели не только дети, но и взрослые, и старики, и старухи. Когда-то я читал, как европейский корабль завез корь на один из глухих океанских островов, где не бывало кори, и как чуть не вымерло население острова. Повидимому, так же обстояло дело на Ангаре. Скарлатина, очевидно, давно не заглядывала в эти глухие деревни, — собрать сколько-нибудь точные сведения не было никакой возможности. «Кораблем», который завез сюда скарлатину, был, повидимому, этап. Появились ссыльные, не направлявшиеся ранее на Анагру. Эпидемия шла на убыль. Пока начальство узнало о «болезни на людях», пока раскачалось прислать врача, эпидемия успела обойти поселения по Ангаре, и мне пришлось долечивать последние случаи.

---

[1] Я был вызван ночью и застал егс уже мертвым. На столе лежала записная книжка, полная стихов с жалобами на одиночество и заброшенность.

Стояли жестокие морозы. На метеорологической станции в Енисейске температура больше недели отмечалась ниже сорока. Огромные сани, в которых можно было растянуться во всю длину, были обиты внутри мехом, а сверху лежало огромное одеяло, сшитое из нескольких медвежьих шкур. Исправник захватил большой мешок замороженных пельменей и несколько кругов замороженного бульону, я тоже захватил с собой провизии, — этим и питались мы всю поездку.

Перегоны были невелики, и только один перегон по Ангаре в 60 — 70 верст по безлюдному месту. Исправник предупредил меня, что если случится метель, нам придется переночевать в ожидании лошадей в яме, где на дне в углу раскладывается костер и сверху покрывается кедровыми и пихтовыми ветвями, и где бывает тепло и уютно, как уверял исправник, которому приходилось по прежней службе не раз отсиживаться в таких ямах. Я с нетерпением ждал этой ямы и с искренним сожалением увидел дожидавшихся уже нас на этом перегоне подставных лошадей. Горел большой костер на льду, где грелись дожидавшие нас люди. Перепрягли лошадей, и мы потихоньку поехали дальше, — была метель и дорогу занесло.

В каждой избе, где мы останавливались, была докрасна раскаленная железная печка, очевидно, топившаяся целый день, мы растапливали в чугунке куски ледяного бульона, кипятили мерзлые пельмени, поджаривали на лучинках замерзшую, как камень твердую телятину и пили кирпичный чай.

Исправник делал свои дела — он за три года службы в первый раз был в этих местах. Я обходил избы, осматривал больных, раздавал лекарства из дорожной аптечки, и мы ехали дальше по снежной в 10 верст шириной суровой и величественной в своей красоте Ангаре.

Селения были только на крутом утесистом берегу Ангары, на другой низменной стороне поселений, повидимому, не было, по

крайней мере, мы ни разу не заезжали туда.[1] Крестьяне показались мне... не русскими. Были все черноволосые, с нерусским прорезом глаз, с странным говором. В избу набралось много крестьян, они говорили с исправником о своих нуждах, а я искал между ними настоящее русское лицо и нашел светлого рыжеватого молодого крестьянина с вьющимися волосами и тут же потихоньку сообщил исправнику о своем открытии. Был большой смех в избе, когда после расспросов исправника оказалось, что именно этот парень был настоящий тунгус, а все остальные — подлинные русские, по крайней мере считавшие себя таковыми.

В Кежме, в волостном селе, нам пришлось задержаться на несколько дней, ждать тунгусов из тайги, которые в это время года выходят с пушниной в село. Кажется, исправник посылал за ними.

Главная причина поездки исправника — было расследование судьбы экспедиции, за два года пред тем отправившейся из Енисейска в Подкаменную Тунгузку. Это была характерная сибирская история.

Молодой человек, служащий одного из енисейских промышленников, энергичный и предприимчивый, как сибиряки вообще, решил отправиться в Подкаменную Тунгузку, тогда совсем не исследованную, где, по слухам, было золото. Использовал свои маленькие сбережения, заручился кредитом, на который охотно шли енисейские купцы при всяких поисках золота, набрал таких

[1] Окружной врач А. И. Вицын, прослуживший 35 лет в Енисейске, говорил мне, что ему только раз, по поводу какого-то экстренного убийства, пришлось побывать в селе на этом пустынном берегу Ангары. Люди там оказались какие-то чудные, совсем особенные. Кое-кто носили бакенбарды, как-то особенно одевались, у двух-трех крестьян он увидел узорчатые фарфоровые трубки. Крестьяне не помнили своего происхождения, и только потому, что Вицын нашел у старосты на полке библию на шведском языке и после расспросов у сведущих красноярских людей, он заключил, что то были потомки шведов, плененных под Полтавой и направленных Петром в Сибирь.

же смелых и энергичных товарищей из золотопромышленных рабочих, соорудил баркас, нагрузил его сухарями и провизией на два года, захватил молоденькую жену с ребенком и двинулся из Енисейска.

Прошло два года, никаких известий об экспедиции не поступало. Мать жены служащего, полковница, сосланная за какое-то уголовное преступление и служившая нянькой у промышленника, начала забрасывать губернатора и генерал-губернатора письмами с просьбой о помощи экспедиции, в конце концов исправнику поручено было выяснить вопрос и, в случае нужды помочь экспедиции. Потому исправник и поехал в Кежму, куда выходили тунгусы и из Подкаменной Тунгузки.

Явились на съезжую избу, где мы остановились, четыре тунгуса. Они долго отмалчивались, отзываясь незнанием того, о чем их спрашивали, и только после того, как исправник угостил их добрым стаканом спирта, — водка замерзала в такие морозы, и исправник возил с собою спирт, — языки развязались, и тунгусы через переводчика стали рассказывать то, что они знали или что хотели сказать.

По их рассказам, они нашли на берегу Подкаменной Тунгузки довольно далеко от устья лагерь останавливавшихся людей, остатки костра, кости съеденных птиц, некоторые вещи, между прочим, серебряные часы. Стали следить, путь шел в тайгу, и еще несколько раз тунгусы находили остатки костров, а потом уже только перья и кости птиц, которые, очевидно, были съедены сырыми, последние следы остановки они нашли на берегу таежной реки, а затем все следы людей исчезли.

Можно было думать, что баркас потерпел крушение, оставшиеся от экспедиции люди шли по тайге в надежде встретить жилье, соорудили плот у речки, где была последняя остановка, поплыли и там погибли. Я прожил еще год в Енисейске, и никто из экспедиции не возвратился.

На обратном пути мы уже не останавливались в деревнях и ехали днем и ночью от станка к станку.

Тотчас же по приезде из Кежмы мне пришлось ехать в другом направлении — к северу, вниз по Енисею. Там была эпидемия кори, должно быть, также давно не появлявшаяся в этом районе, так как заболевали поголовно и старые, и малые. Ехал я уже один.

Было не так холодно, 20 градусов мороза вместо 40 чувствуются уже как значительное потепление, и можно было обходиться без благодетельного медвежьего одеяла, но зато снегу было еще больше. Ехать приходилось медленнее, а когда нужно было выехать с Енисея на берег и двигаться по тайге уже в Туруханском округе — дорога совсем исчезла. Должно быть, прошла метель, давно не проезжала редкая почта из Енисейска в Туруханск и, должно быть, незачем было людям ездить друг к другу и достаточно было лыж для общения.

Лежал глубокий пятиаршинный снег, не слежавшийся, рыхлый, как взбитая пуховая перина. Пришлось оставить кошевку, перелезть в нарту, узенький ящик, и без вожжей отдаться на волю лошади. Для того, чтобы пробраться из деревни в деревню, две нарты ехали впереди и прокладывали путь.

Ехать приходилось, как по перине, и когда лошадь оступалась, мы погружались глубоко в пухлый снег. Колокольчик переставал звонить, и из передних нарт приходили вытаскивать меня и барахтавшуюся маленькую, лохматую, как овца, лошаденку. Ехать, конечно, приходилось шагом, ехать, как в снежном туннеле.

Непробудная тишина кругом, тишина могилы... Надо мной глубокое синее-синее небо, яркое холодное солнце, мириадами искр сверкают глыбы белого-белого снега, повисшие на мохнатых темных лапах кедров и пихт. По снежному полю бегут беленькие куропатки с красными лапками и черненькими глазками, подбегают к самым нартам и с удивлением смотрят на меня. Тишина, и только милый друг сибирских путешествий — колокольчик — нежно и грустно звенит по тайге.

Взрослых мужчин по деревням не видать было, ушли в тайгу

белковать и соболевать. Баба-староста, баба-сотский водят меня с фонарем. День короткий — по избам осматриваю и переписываю больных, а на съезжей избе раздаю лекарства. Набирается много народу, получают лекарства и не расходятся, слушают, что я говорю, и с любопытством рассматривают мою аптечку, из которой я выдаю порошки и отливаю капли. Сначала жмутся, робеют — а потом осмеливаются, и когда я закрываю аптечку — тут и начинаются просьбы. И насчет «грызи», что грызет животик у ребенка, и насчет женского положения, и просят зайти посмотреть черно-немощную, которую корежит на молодой месяц.

И здесь не очень много русского было в этих нескладных фигурах с короткими ногами, приплюснутыми носами, сюсюкающем говоре, и, показалось мне, не очень отличались они от остячка, чью жену я лечил в одной из деревень. Это не мешало деревенским людям считать себя настоящими русскими, державным племенем, и презрительно называть остяков и тунгусов «тварь» и «зверь». — Выговаривали «тфаль» и «зферь», вместо очень «жарко» говорили : «осень зарко». Эпидемия была также на исходе.

Из моих поездок у меня составилось впечатление, что людские поселения были только по рекам Енисею и Ангаре, а за ними шла бесконечная, безлюдная тайга. Только раз мне пришлось поехать в сторону от реки и от тракта. Село было большое, богатое. Был праздник, кажется, масленицы, было весело в селе. Я сидел у старосты в избе из громадных бревен с широченными, белыми, чистыми скамьями за двухведерным самоваром, который, как перышко, внесла широкоспинная могучая хозяйка. Мой приезд вызвал большое недоумение. Никакой «болезни на людях», о которой гласило волостное донесение, в селе не оказалось, и только после моих настойчивых расспросов собравшиеся в избу селяне стали вспоминать, что, действительно, полгода тому назад, а может и побольше, «горели люди и сыпня по телу выходила», но давно все кончилось и, благодарение богу, «не хвораем».

Разговоры пошли душевные. Веселые сытые люди объясняли мне:

— Умные дедушки хорошо место выбрали. Главное дело, — в стороне, от начальства далеко, — не заглядывают... Летом никуда ни прохода, ни проезда, топь кругом, опять же медведь. И зимой — не рука, — в стороне, а подует пурга, не проедешь. — Как это вы добрались? — участливо спрашивают. — И живем ничего промежду себя, жалиться нечего.

С приятностью попили чайку, с приятностью побеседовали, все больше о том, как это хорошо, если начальство не путается, и я уехал обратно, быстро прекратив эпидемию.

Приехал в Енисейск новый сельский врач И. И. Кусков, моя миссия по борьбе с эпидемиями кончилась, но вопрос о выселении меня из Енисейска уже не поднимался, и я до окончания ссылки прожил в городе.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ

Нас, политических ссыльных, было в то время в Енисейске около сорока. Публика была разнообразная. Были одиночки. Жил старик Маркс, учитель одной из московских гимназий, сосланный еще в 60-х годах по каракозовскому делу, когда ему было уже под пятьдесят лет. Когда был в силах, занимался научными исследованиями, — и умер в Енисейске. Был юноша Сурин, служивший счетоводом и каком-то барском имении в Рязанской губернии, не революционер и сосланный — так он рассказывал мне — за то, что читал даже без всяких комментариев крестьянам газеты с отчетами о политических процессах. Он чувствовал себя одиноким и, несмотря на теплое дружеское отношение к нему товарищей, страшно тосковал и застрелился в моей избушке в Верхней Деревне, которую после переселения в город я предоставил в его распоряжение. Был Н. Ф. Вишневецкий. Он уже раз бежал из Сибири и снова водворен был в Енисейск. Из ссыльных Вишневецкий вел наиболее деятельную

жизнь. Он заведывал метеорологической станцией и изучал английский язык. Был в Енисейске оригинальный англичанин Бойлинг, долго ездивший по свету матросом и как-то осевший в Енисейске. Он был строитель судов, но средств у него не было, и полуготовый остов большого парусного судна, стоявший у его домика, кажется, так и не был закончен. Вишневецкий сдружился с ним, постоянно бывал у него, оберегал одинокого старика и настолько овладел английским языком, что, когда уже после моего отъезда приехали англичане в Енисейск, он был у них переводчиком. Вернувшись после ссылки в Севастополь, он сделался преподавателем английского языка в морской школе.

Были группировки. Очень много было поляков, между прочим сосланных по варшавскому процессу, на котором молодой Плеве сделал свою карьеру. Были между ними люди националистически настроенные, как О. О. Гласко, сделавшийся потом редактором одной из варшавских газет, и были целиком связавшие себя с русским революционным движением, как Михалевич, Рогальский, Андржейкович, Лапицкий.

В общем жили дружно, разделяющих линий не было. То время, половина 80-х годов, было временем спада народническо-революционной волны и только что начавшейся и не успевшей еще крупно выявиться новой, социал-демократической, волны. Почти все ссыльные — и офицерская группа, с которой я шел этапом, Мицкевич, Крайский, Стратанович, Чижев, и остальные — Сикорский, Паули, Гортынский, Зак, студенты Комарницкий, Давидович, морской офицер Лавров — были народовольцы или землевольцы. Были люди, повидимому, тяготевшие к марксизму, но партийных с.-д. ссыльных еще не было.

Наиболее активной была группа, состоявшая из Сикорского, Михалевича, Паули и отчасти Андржейковича. Они рвались вернуться в Россию и продолжать свою революционную террористическую деятельность. Двое из них, Паули и Михалевич, устроили побег и добрались до России. Сикорский, сильный и

смелый человек, остался в Сибири, участвовал в крупной экспедиции в Якутской области и приехал ко мне в Ялту умирать от тяжкого туберкулеза.

Из-за побега Паули у меня был произведен обыск. Приехали жандармский полковник и прокурор по поводу денег, полученных на мое имя из Москвы и назначенных, по их сведениям, для организации побегов политических ссыльных. Доказательств у них не было, дело окончилось ничем, но одно время вопрос стоял о высылке меня в дальние места, и тогдашний губернатор Педашенко, присылавший раньше мне благодарность за мою работу по эпидемии, вскипел гневом, повидимому, вскоре остывшим, и через доктора Кускова прислал мне грозное предостережение.

МИХАЛЕВИЧ. ЗАК

Ярко встают в моей памяти два товарища: поляк Михалевич и еврей Лев Зак. Поляк, говорили мне, из старинного польского рода, Михалевич с юности и до могилы связал себя с русским революционным движением и был по натуре и по своей жизни ярким представителем тогдашнего высоко-идеалистического революционного движения.

У поляков есть одна черта, характерная для них, которую я назвал бы восторженностью. Эта восторженность в лучшем смысле была в Михалевиче. Мягкий, деликатный, тонкий по своей внутренней организации, он жил только революцией. У него не было будней, а был только праздник революционного подъема. Не было семьи, не было дома уюта, службы, мирной обывательской жизни, — только жизнь революционеров с обысками, арестами, побегами, с вечной бездомностью. Он не говорил равнодушным голосом будничных слов; у него были порывистые движения, приподнятый тон и горели восторженностью большие блестящие глаза.

Мы разъехались из Енисейска в разные места, и до меня доносились только случайные сведения о нем. А когда через двадцать

лет разыскал он меня в Петербурге, около времени манифеста Николая, он был все тот же Михалевич с восторженными глазами, с незнавшей передышки и отдыха революционной жизнью. Он не верил ни в какую мирную эволюцию и в работу Государственной думы и был занят революционной работой в военных кругах. Похудевший и побледневший, как затравленный зверь,— его разыскивали в Петербурге, — он приходил иногда ко мне ночевать и с увлечением рассказывал, как успешно идет его работа. С некоторыми из офицеров он познакомил меня.

Дело закончилось процессом, где он присужден был на каторгу, но до каторги не дожил и умер в петербургской тюрьме, и мне рассказывали, как мужественно и спокойно, достойно революционера, он принял смерть.

Лев Зак был представителем другого типа, не менее характерного для революционеров-семидесятников.

Как-то он рассказал мне свою историю. Из правоверной еврейской семьи Западного края, он готовился быть ученым евреем: всю юность провел в изучении талмуда и сочинений еврейских мудрецов и до шестнадцати лет не умел писать по-русски. Кто его совратил с намеченного пути, не помню, но кончилось тем, что он увлекся русской литературой, сначала по ночам, скрываясь на чердаке, занимался чтением, а потом и вовсе ушел из родительского дома. Жил некоторое время в Берлине, а потом стал пропагандистом и всем сердцем вошел в движение 70-х годов.

Он жил в Енисейске аскетом. Питался скудно, мало тратил на себя. У него были состоятельные родные, его двоюродный брат Зак играл тогда большую роль в финансовом мире Петербурга. Лев Зак не брал денег от родных и жил на казенное пособие, изредка подрабатывая. Когда строилась енисейская гимназия, он таскал кирпичи на постройку и этим жил. Не часто ходил в гости, сидел за книгами и много занимался.

Необыкновенной кротостью и лаской веяло от него. Люди чувствуют внутреннюю красоту в человеке, — кажется, не было у него в нашей колонии не только врага, но и человека, который

бы не ценил его. Интеллигентный, очень развитой, он как-то всегда оборачивался к людям этой бесконечно доброй и ласковой стороной своего существа, — он был общим утешителем и примирителем в возникавших конфликтах. Было у него особенное чувство к детям. И все знали это, и, когда родителям хотелось пойти на маскарад или на вечеринку, устраивавшуюся в ссыльной компании, Зак предлагал домовничать. И оставался с детьми, кормил их, укладывал спать, и дети, как тонко чувствующие, кто их по-настоящему любит, были всегдашними его друзьями и не протестовали, когда родители оставляли их на попечении их приятеля.

Судьба посмеялась над ним. Он освободился от ссылки, вернулся на родину, женился и скоро умер от дизентерии. [1]

Д. А. КЛЕМЕНЦ

Когда я окончательно осел в Енисейске, мне разрешили съездить в Минусинск. Там также много было ссыльных и между ними Клеменц, Иванчин-Писарев, Тырков, Белоконский, Венцковский и два моих ближайших друга по Москве — Мартынов и Лебедев.

Там я познакомился с Дмитрием Александровичем Клеменцем. Еще в студенческие годы я много слышал рассказов об его хождении в народ, об его удивительном пропагандистском таланте, об его смелости и редкостном остроумии, помогавшем ему выпутываться из самых запутанных обстоятельств. Наше знакомство продолжалось в Петербурге и перешло в дружбу, — к нему привязывались все, кто ближе узнавал его.

Он был революционер, и его революционная деятельность достаточно известна, но его всегда тянуло к теоретической мысли, к научной работе, и в разгаре революционной деятельности он

[1] Я знал потом жену его Лурье. Она служила земским врачом в Лыскове Нижегородской губернии, и меня вызывали из Нижнего лечить ее, когда она заболела тифом.

находил время писать и печатать в легальных журналах свои статьи. По существу Клеменц был мыслитель, типичный ученый. Мне приходилось не раз писать о русских людях, «не использованных историей» в силу и в меру отпущенных им талантов, и в настоящих воспоминаниях я говорил уже об отце и сыне Ведерниковых, горячо преданных химии и геологии и ставших — один акцизным чиновником, а другой чиновником какой-то землеустроительной комиссии. Можно думать, что, родись Клеменц за границей, тяга к науке взяла бы верх, и из него вышла бы крупная научная сила, но он родился в России и был слишком благороден, слишком чист сердцем и высок мыслью, чтобы не болеть горестями русской жизни, не отозваться на зло и насилие.

Повторяю, по настоящему призванию Клеменц был типичный ученый, и в Минусинске, когда от него ушла революционная деятельность, вскрылась его тяга к научным изысканиям. Оригинальный, своеобразный, с немецкой фамилией и полукалмыцким лицом, он по-своему оригинально устроил свою жизнь. Спокойная жизнь в городе не удовлетворяла его. Он вдруг неожиданно для всех седлал свою сибирскую лошадку, отзывавшуюся на его свист, бегавшую за ним, как собака, клал в торбу краюху хлеба и соль и уезжал надолго в степь. Он раскапывал могильники Абаканской степи и создавал вместе с Мартьяновым Минусинский музей, ставший знаменитым не только в России, но и за границей. [1] Его экскурсии все расширялись, — через географическое общество он получил разрешение на поездки. На свой страх, один он перевалил через Саянский хребет и проник в пустыню Гоби в качестве отчасти торговца, отчасти доктора. Он захватил с собой лекарства, которые мог употреблять по наставлениям знакомых минусинских врачей, и имел боль-

[1] Много лет спустя Деникер, эмигрировавший из России в первой половине 70-х годов, с которым я встречался в Париже, много расспрашивал меня о Клеменце и рассказывал, что за границей очень заинтересованы исследованиями Клеменца, и все ждут опубликования дальнейших его работ.

шой успех, как рассказывал он мне потом, главным образом, хиной и лечением иодистым калием тамошних сифилитиков. Он успел объездить значительные пространства пустыни Гоби, посетил давно покинутые людские поселения, открыл забытые храмы-пещеры христиан-несториан и показывал мне снятые им кое-где сохранившиеся изображения Христа, богородицы, святых.

С присущей ему особой манерой подходить ко всяким людям, он успел сразу создать добрые отношения с князьками местных племен и благодаря этому во вторую поездку в Гоби сумел для Аскании-Нова и для какого-то германского зоологического сада наловить несколько открытых Пржевальским диких лошадей, тогда еще неизвестных в Европе.

В его экспедициях в Монголию принимала участие жена его, — он женился в Минусинске на начальнице местной гимназии. Одну экспедицию в Монголию Елизавета Николаевна сделала одна самостоятельно и открыла там камень-памятник, на котором были вырезаны события и даты древнейших времен Китая, камень, настолько заинтересовавший ученый мир, что, как передавали мне, немецкий профессор написал об этом камне целую книгу.

И вот, человек большого, выдающегося ума, огромной разносторонней эрудиции, Клеменц не оставил после себя ничего крупного, и небольшие напечатанные его работы были слишком незначительны для того, что он мог дать науке. От естественно-исторических и экономических вопросов он постепенно перешел к огромной области истории культуры. Да, он был основателем и первым директором Петербургского этнографического музея, ездил по разным местам и собирал коллекции, и его идеи были положены основой этого музея, — но всего этого мало для большого Клеменца.

Он не был дилетантом, каких много в России, он всегда оставался на научной базе и критически проверенными научными данными обставлял свои положения. Он был исследователем, человеком большого размаха мысли, широких концепций, и,

быть может, отчасти, эта широта его замыслов, открывавшая ему по мере углубления его научной работы все новые и новые перспективы, и помешала ему во-время опубликовать свои исследования.

Как-то в Петербурге мы провели долгий вечер в беседе о его научных планах. На мои настойчивые советы разработать и опубликовать сделанные им исследования он отвечал, что уже подал в университет заявление о желании читать лекции в качестве приват-доцента по истории культуры, что он уже готовится к лекциям, что тогда он соберет воедино все то, над чем работал, и сразу опубликует свой труд. Он увлекательно рассказывал мне в тот вечер проблему великого движения азиатских орд, начиная Чингиз-ханом, говорил мне о постепенном поднятии и обезводнении пустыни Гоби, толкавших когда-то огромные людские толпы на выход и поиски новых мест для жилья. Рисовал, как складывались армии этих диких орд по существу из охотничьих племен разных способов охоты и как применялись эти способы и в войне на европейском фронте. Я не помню всех подробностей тогдашней беседы, но у меня остался в памяти широкий научный размах мысли Клеменца по истории культуры разных народов.

Он умер, не прочитавши ни одной лекции и не опубликовавши своих главных работ.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАРТЫНОВ

Главной причиной моей поездки в Минусинск было желание повидаться с моими ближайшими друзьями по Москве С. В. Мартыновым и В. С. Лебедевым. [1]

Я помню С. В. Мартынова юношей; он на два курса был моложе меня, с тонкой, как у барышни, талией, с узкими плечами, с

---

[1] Я уже писал, что мы пятеро: П. П. Викторов, П. П. Кащенко, Лебедев, Мартынов и я, составляли кружок, стоявший в центре тогдашнего московского студенческого движения.

*

светлыми, мягкими, вьющимися волосами, с голубыми глазами, он выглядел барчуком, холеным, в пеленках воспитанным.[1] Злые насмешницы — герьевские курсистки — за его наружность дразнили его «Маргаритой».

А у этого человека, которого дразнили Маргаритой, была огромная воля и крепкая внутренняя дисциплина. Он рано, повидимому, еще до университета, бесповоротно, как все, что он делал, определил свою позицию в жизни и уже с первых курсов университета был сложившимся и законченным, каким и оставался всю жизнь. Он тщательно изучил революционные движения и поражал меня сведениями, в особенности об организации и системе действий итальянских карбонариев. И соответственно намеченному будущему устроил свою жизнь.

Так, как он, не жил ни один из знакомых мне студентов, хотя мои знакомые почти исключительно были из бедноты, жившей на стипендию или на уроки. Жил он в старом, гнилом, скверно пахнувшем доме, в сумрачной комнате, за которую платил, кажется, 7 рублей в месяц, с скудной мебелью, с кроватью, покрытой тощим, как войлок, матрацем, с разбитым, заклеенным бумагой окном. В кухмистерской, где мы обедали за 20, а иногда и за 15 копеек, он редко столовался, а обыкновенно вечером, когда возвращался из анатомического театра или из клиники, затоплял свою печку и варил в чугунке неизменную картошку, уверяя, что этого совершенно достаточно для человека, не занимающегося физическим трудом.

Он не проживал 25-рублевой стипендии, на которую жил, и охотно делился с товарищами. Как-то, когда я был на пятом курсе — я был уже женат — у меня было двое детей и мне при-

[1] Он был из состоятельной дворянско-чиновничьей семьи. Его отец был управляющим казенной палатой в Ставрополе, старший брат был тогда уже военный генерал, сестра замужем за прославившимся в турецкую кампанию генералом Гейманом.

шлось довольно туго, так как из-за выпускных экзаменов надо было сократить количество уроков на которые я жил всю университетскую жизнь — С. В. предложил мне заложить у знакомого ростовщика его стипендию за год вперед и, повидимому, остался огорчен, что я отказался от его дружеской услуги.

Недостаточно было обрезать свои потребности до минимума, надо знать, на что идешь что ждет тебя.

— Каждому, кто хочет вступить на революционный путь, нужно решить вопросы о смерти, — как-то неожиданно заговорил он со мной. — Многие думают, что это большая вещь, а ведь, в сущности, это так легко и просто. Видите, вот крюк. Привязать веревку, накинуть петлю — одна минута, и все кончено.

Был один случай, о котором рассказали мне в Минусинске ссыльные. Купались они в Абакане. Мартынова подхватило течение, он начал погружаться в воду, и, когда выныривал, говорил своим обычным голосом:

— Тону... — Голова опять погружалась в воду, и снова раздавался голос: — Тону... «Тону» говорилось так спокойно, обычным голосом, что сидевшие на берегу думали, что С. В. шутит, и только, когда голова стал реже появляться над водой и голос ослабел, бросились спасать и вытащили почти бесчувственного Мартынова.

Так и умер он без крика. В Петербурге с ним сделался удар, — была, кажется, эмболия мозга.

Гемиплегия довольно скоро прошла, С. В. поправился, но решил, что он конченный человек, и поселился в купленном женою его маленьком домике на южном берегу Крыма при деревне Кизильташ. Лечил татар, копался в небольшом виноградднике, примыкавшем к дому, и изредка ездил ко мне в Ялту. Я был у него за неделю до его смерти. Он увидел меня из огорода, где копался в винограднике, и, медленно передвигаясь, с трудом поднялся в комнату. Ноги были как тумбы, немощное сердце отказывалось работать. На лечение он давно махнул рукой, мы

разговаривали обо всем, кроме его болезни и скорой смерти. Он тонул в вечную глубину, но был все тот же спокойный, я бы сказал, ясный.

С. В. Мартынов был типичный революционер, но другого склада, чем экспансивный, восторженный Михалевич. Без жестов, без декламации — весь собранный в себе, без внешних проявлений. Он имел большое влияние на окружающих,[1] но не был пропагандистом, агитатором, не говорил речей и был скуп на слова. Он был человеком подвига, действия, решительных поступков, их он ждал, их искал.

Я помню один случай. Во время процесса 193-х наш комитет решил подать во время университетского акта 12 января — я не знаю как назвать — петицию-протест от учащейся молодежи против того, что творилось тогда в России, генерал-губернатору Долгорукову, всегда являвшемуся на университетский акт. Текст был выработан, и С. В. взялся подать его генерал-губернатору, но накануне, после долгого обсуждения, мы отменили по некоторым соображениям свое решение. Я рано пришел на акт и с удивлением заметил одиноко бродившего Мартынова, подчеркнуто корректно одетого — он был изящен в эту минуту. Карман его сюртука подозрительно оттопыривался, у меня явилось подозрение, и на мои настойчивые вопросы С. В. признался, что пришел подать бумагу за свой личный счет. И только когда я напустился на него, говоря, что он не имеет права, вопреки постановлению комитета, принимать единоличное решение, — он отказался от своего намерения.

Уже на пятом курсе он целиком вошел в революционную работу. Его комната — адрес обычной публике не сообщался — была центром, куда являлись жившие в Москве и приезжавшие

[1] Характерно отметить, что за те 2 — 3 года, которые он прожил в Кизильташе, он оставил по себе такую память среди татар, что они, в период разрухи, гражданской войны и всяких захватов, по своей инициативе охраняли его домик и виноградник и сдали вино из его виноградника приехавшему через год сыну Мартынова.

члены Исполнительного комитета партии Народной воли. И здесь он устроился по-своему: нанял комнату в узком переулке, куда выходил задний фасад помещения обер-полицмейстера, очень близко от входа. И я думаю, что именно эта дерзость спасала посетителей от разгрома, — очевидно, жандармам не могло притти в голову, чтобы революционер сам полез в пасть львиную.

Там я познакомился в 1879 году с Александром Михайловым.

После окончания университета, когда С. В. сделался членом Исполнтельного комитета партии Народной воли, он переехал с женой в Петербург, устроился в «приличной» квартире с должной обстановкой. Квартира его сделалась центром, куда собирались крупные народовольцы — в их числе Теллалов, у него арестован Михалевич.

Он был негнущийся, он был из цельного крепкого камня, без трещин и извилин, в нем было нечто от древнего рыцаря, что давал рыцарскую присягу и посвящал себя делу освобождения Иерусалима, был из того же материала, из которого были сделаны самые выдающиеся революционеры 70-х годов, и не его вина, что он не сложил свою голову так, как они.

Принадлежность С. В. к Исполнительному комитету не была установлена, и дело ограничилось высылкой его в административном порядке в Восточную Сибирь на 5 лет. По возвращении в Россию он сделался гласным в Воронежском земстве, и за выступление на земском собрании по вопросу, поднятому тогда правительством «об оскудении центра», был еще раз сослан в Архангельскую губернию.

Как и Клеменца, революция увела Мартынова от того места, которое он мог бы занять при нормальных условиях. Можно думать, что из него вышел бы незаурядный хирург. У него было настоящее призвание, он был предназначен быть хирургом. В этом смысле он рано определился. Несмотря на революционную деятельность он был одним из самых занимающихся студентов, великолепно знал анатомию и уже на третьем курсе по вечерам

работал с нами, пятикурсниками, по оперативной хирургии. Работал так, как никто из нас. Когда можно было, он покупал у сторожей трупы и работал один по ночам, проделывая самые сложные хирургические операции. И когда он жил у меня в квартире в Енисейске, любимым отдыхом С. В. было перечитывание анатомии или хирургической литературы, за которой он не переставал следить.

По его инициативе и под его руководством была сделана доктором Кусковым крупная операция овариотомии — первая овариотомия, сделанная в Сибири — говорили мне. С. В. уговорил молодого врача Кускова, недавно кончившего и робевшего, произвести операцию над огромной кистой — он хотел, чтобы молодой врач приучился к хирургии. С. В. руководил разрезом и всем ходом операции, и, несмотря на то, что за отсутствием приспособленной больницы операция была произведена в домашней мещанской обстановке, она блестяще удалась, и больная выздоровела. Кусков долго гордился первой операцией овариотомии в Сибири, но, как скромный человек, прибавлял — сделанной С. В. Мартыновым.

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ЛЕБЕДЕВ

В. С. Лебедев был человеком другого уклада. Человек большого ума, широкой и разносторонней эрудиции, строгой логики, он обладал еще тем, что редко встречается у людей даже большого ума, — чувством меры, каким-то особым пониманием всей сложности житейских явлений и тем, что труднее всего дается — умением выбирать из многих путей, которые открывает жизнь, именно тот путь, какой в данной сложности событий и общественных явлений является наиболее достижимым, вернее всего ведущим к цели. Он был государственный ум.

Я помню его первое публичное выступление в Москве во время университетской сходки по поводу охотнорядского избиения студентов. Анатомический театр был занят тысячной толпой

учащихся высших учебных заведений Москвы, — толпой, первый раз собравшейся в таком количестве, не выработавшей навыков, не имевшей опыта в прошлом. Я, как сейчас, помню, как с самой верхней скамьи раздался голос Лебедева. Это была не речь, он сказал несколько вступительных слов и прочитал в заключение вырезку из катковской передовицы, появившейся в тот день в «Московских ведомостях», где с торжеством приветствовалось выступление охотнорядцев, помню, оканчивавшейся чем-то вроде реплики: «Так ответил русский народ на петербургские безобразия». (Кажется, дело шло об оправдании Веры Засулич.) И это было лучше всякой речи, это было именно то, что требовалось для объединения тысячной толпы в чувстве негодования и протеста. Следующим оратором выступил П. П. Викторов. Это была блестящая речь, но Викторов был увлечен и поднят настроением толпы и закончил речь призывом итти на площадь к генерал-губернатору. Я чувствовал, как толпа сразу сдвинулась, и уверен, что она сейчас же пошла бы туда, куда звал ее оратор, но в это время с верхней скамьи снова раздался голос Лебедева, и опять в коротких словах он точно и ясно показал публике, к чему нужно стремиться и чего можно и должно достичь. И это было так ясно, логично и непреложно убедительно, что прежнее настроение сразу схлынуло и, сходка приняла должное решение. Вызванному ректору Тихонравову предъявили требование об освобождении арестованных товарищей, что и было исполнено, и тут же зафиксировано право сходок. И именно благодаря Лебедеву эта первая по своей многочисленности сходка, объединившая студенчество всех высших учебных заведений Москвы, — своим настроением, своей дисциплиной и, главное, своим успехом имела большое значение для московской учащейся молодежи. Именно с этого времени университетские сходки полулегализовались, а впоследствии были и совсем легализованы, и одно время происходили под председательством П. П. Кащенко.

Таков был всегда В. С. Лебедев и в нашем маленьком коми-

тете. При возникавших между нами спорах нередко достаточно было двух-трех его замечаний, чтобы спорившие поняли существо дела и согласились на то, что предлагал В. С.

Как член Исполнительного комитета партии Народной воли, В. С. Лебедев редактировал партийный орган вместе с Львом Тихомировым, с которым он жил тогда. Под редакцией Лебедева и при ближайшем его сотрудничестве вышли в свет 4 выпуска партийного органа:

1) «Листок Народной воли» № 1 от 22 июля 1881 года. Перу В. С. принадлежит обширная передовая статья «Новое царствование», где он представлял картину состояния русского общества после события 1 марта и где, помню, первый разгадал физиономию нового царя, назвавши его «Сидором Карпычем».

2) «Народная воля», социально-революционное обозрение, № 6 от 23 октября 1881 года.

3) Следующий выпуск «Народной воли» № 7, от 23 декабря 1881 года, где В. С. принадлежит редакционная заметка «Единение власти с землей».

4) Соединенный номер 8 — 9 социально-революционного обозрения «Народная воля» от 5 февраля 1882 года, который в значительной части принадлежит перу В. С. Лебедева. Эта деятельность В. С. продолжалась только около года, в феврале 1882 года он был арестован и, так как принадлежность к Исполнительному комитету не была установлена, сослан был административно в Восточную Сибирь на пять лет.

Повторяю, он был государственный ум, я бы сказал — центральный ум, который составляет ось всякой людской организованности. Такие люди мало известны широким слоям, но зато их высоко ценят работающие в данной организованности, близко знающие эту роль центрального ума.

И насколько мне известно, так его расценивали товарищи по санитарному бюро Московского губернского земства, в котором он по возвращении его из ссылки работал вплоть до тяжкого недуга, сведшего его в могилу, — с таким глубоким уважением

и оценкой его ума и логики говорили мне о нем его товарищи по работе. [1]

Обоих — и Лебедева, и Мартынова — я уговорил переехать в Енисейск, где больше можно было найти работы, чем в Минусинске. Лебедева я устроил формально фельдшером, а по существу врачом — на прииски к знакомому золотопромышленнику Востротину. [2] Жена Мартынова в это время уехала с детьми в Воронеж — устраивать дела по имению. Софья Александровна была из революционной семьи Перелешиных, и их имение взято было правительством под опеку. Мартынов прожил год у меня на квартире до моего отъезда и до возвращения его семьи.

ГОРОД

Если и Уфа пахнула на меня по первому впечатлению давним, уже пережитым в центральной России, то от Енисейска на меня повеяло старо-давним, временами Николая I, временами «Ревизора». Так же, как в Николаевские времена, когда официальным людям было запрещено носить бороды, много и неофициальных енисейских людей, — купцов и служащих, в особенности, кто был постарше, — брили бороды и носили только усы. Как во времена «Ревизора» больница была «Приказ общественного призрения», и доктор Антоневич, заведывавший ею, просил меня не посылать туда больных, потому что больница морилка, клоака, которую он пытался и был бессилен почистить. Не было земства, городское самоуправление было весьма упрощенное и мало чем проявляло себя в жизни. Был старый суд. Почта приходила редко, ни в Енисейске, ни в губернском Красноярске газеты не было.

---

[1] См. статью В. С. Лебедева по поводу оставления им земской службы: «Санитарная хроника Московского земства» № 4, 1917 г.

[2] Лебедев был арестован на пятом курсе. Он и был одним из серьезно занимавшихся студентов. Сдавать экзамен на врача ему пришлось 39 лет в Казани.

Хранились редкие, вышедшие из употребления в коренной России слова, хранились старинные фамилии на «их», которых много было во времена Иоанна Грозного и которые я только изредка встречал на Урале: «Русских», «Савиных», «Черемных», «Молодых», «Больших». Сохранялись старинные народные русские песни, давно забытые в коренной России. И самые имена: не только не встречал я там Валерианов и Анатолиев, Тамар и Маргарит, но рядом с обычными, так сказать, крестьянскими именами сплошь и рядом встречались очень редкие, забытые уже в русском крестьянстве старинные имена, которые попадались мне только в мужских и женских монастырях.

Если Уфа оживала летом с первым пароходом, то Енисейск оживал только осенью и зимой. Нервом енисейской жизни были золотые прииски. Летом Енисейск пустел, и жизнь просыпалась только в сентябре, когда отходили из тайги золотопромышленные рабочие, служащие и хозяева.

Жизнь начиналась своеобразная, шумная и разгульная. Тех проявлений разгула рабочих, выносивших в былые времена много припрятанного золота, когда, по рассказам, рабочими покупались в магазинах куски шелковых материй и расстилались по улицам, по грязи, чтобы кутящий мог пройти к своему ночлегу, — уже не было, но кутеж в прибрежных кабаках и во всяких притонах шел днями и ночами, пока не пропивались заработанные деньги и запрятанное золотишко... Я еще видел, как рабочий нанимал всех извозчиков, какие оказывались на бирже на площади, садился на переднего и остальных заставлял ехать за собой и так разъезжал по городу.

Оживал клуб, начинались любительские спектакли, устраивались маскарады, езда в гости, именины.

Общественная жизнь, случается, выливается в своеобразные, непредусмотренные формы. Повторяю, местных близких газет не было — роль прессы, своего рода стенной, вернее: спинной, газеты исполняли маскарады. К ним задолго готовились. На незамысловатых домино на спины наклеивались, написанные от

руки, «внутренние известия». Исключительно обличительная литература. Объявления, корреспонденции с приисков, где прозрачными словами говорилось, какую финансовую проделку устроил такой-то енисеец, что делается на приисках у другого, какой солониной кормит своих рабочих третий. За такими домино ходили толпы и читали вслух заметки и объявления. Случалось, маски обступали какого-нибудь енисейского туза и забрасывали его каверзными, ехидными вопросами. Литераторами были служащие, а иногда и гимназисты старших классов. Особое значение имели в городе именины.

Игнатий Петрович Кытманов, [1] один из крупных енисейских золотопромышленников, празднует свои именины.

Кто-то в его семье заболел, и мне пришлось рано, в девятьдесять часов утра, зайти к нему. Именины уже начались. Огромный, длинный стол был уставлен закусками, бутылками. В передней гудели, так называемые, венгерцы, каким-то образом очу-

---

[1] Кытманов был характерной для Енисейска и для Сибири вообще фигурой. Крестьянин одной из деревень по Енисею, смолоду ездил за рыбой, был возчиком продуктов в тайгу на прииска, узнал там от приятелей, приисковых рабочих, места с «золотишком» и из маленького приискателя сделался одним из крупных енисейских золотопромышленников. Кытманов долго лечился у меня от тяжелой болезни, и у нас образовались добрые отношения.

Как-то я приехал к нему вечером, он был один в своем большом кабинете за письменным столом, заваленным историческими журналами.

— Неужели вы все это читаете? — спрашиваю.

— Читаю... что декабристов касается.

И тут рассказал мне свою жизнь. Как лет шестнадцати он познакомился с декабристами — две фамилии у меня остались в памяти: Фон-Визин и Якубович; как они учили и наставляли его, как он с ними ездил вниз по Енисею за рыбой... И чем больше рассказывал, тем больше оживлялся, и вдруг старик заплакал:

— Не могу, как вспомню... Люди были... Люди были...

Мне приходилось встречать довольно много сибиряков, знавших декабристов, и всегда в отзывах о них слышалось глубокое уважение, глубокая симпатия.

тившиеся в Енисейске. Игнатий Петрович выходит и одаривает. Потом является причт его приходской церкви, служит молебен с провозглашением многолетия, потом является другой причт — собора, приходят музыканты из клуба и играют что-то торжественное, потом поет церковный хор, — всех обходит и одаривает Игнатий Петрович. Приходят гости, беседуют у стола с винами и закусками и уходят и новые все идут и идут.

Именинник взял с меня слово, что я приеду обедать. Кто-кто не перебывал за день у именинника! Я думаю — «весь Енисейск», и не только «знать», но и служащие, кто постарше, и чиновничество, и какие-то таежные люди, не сбросившие с себя еще таежного облика. Был мелкий золотопромышленник, только три года назад служивший лакеем у Кытманова, и другой золотопромышленник, начавший карьеру на его же, кытмановских, приисках,— всех любезно принимал Игнатий Петрович.

Обедали в двух больших комнатах за длинными столами, уставленными бесчисленными пирогами, огромными нельмами. Долго обедали, а потом был ужин, а между обедом и ужином опять закуска и опять, конечно, выпивка. Расставляются столы для карт. Я ушел после обеда, но от домашних Кытманова слышал, что ужин был такой же многолюдный, как обед, и что после ужина, когда хозяин ушел уже спать, гости остались играть в карты, прикладываясь к неоскудевающему столу с напитками, и разошлись только перед утром.

И долго потом по городу слышалось: на именинах у Игнатия Петровича сказывали...

Оттуда исходили известия о финансовых делах, всякие новости. На именины съезжались из уезда, случалось из Красноярска. Проехать триста с чем-то верст поздравить именинника считалось простым делом для настоящего сибиряка, — и приятеля поздравишь, и всех увидишь, и сразу все узнаешь насчет дел. Тогда получались губернские новости и иркутские, и петербургские.

Именины захватывали широкие круги енисейского населения. Единственной, насколько мне известно, книгой, изданной в Енисейске со дня основания его, был «Список именинников и именинниц города Енисейска», изрядной величины книжка, долго хранившаяся у меня, куда занесены были сотни енисейских жителей — и купцы, и золотопромышленники, и приказчики, и всякие служащие.

А 17 сентября (Веры, Надежды, Любви и Софьи) и 30 января (трех святителей) все дела в городе останавливались, и весь город был на ногах. Так как приходилось бывать не у одного именинника, то по взаимному соглашению Василии, Иваны и Григории распределяли время: завтрак у одного Ивана, обед у Василия, в промежутках посещение других Иванов и Григориев, а ужин и ночь до утра у другого Василия.

ВЛАДИМИРЦЫ

В Енисейске было мало врачей. Кроме казенных, окружного, сельского и городского врачей, мало занимавшихся практикой, был только заведывавший больницей доктор Антоневич, поляк, бывший ссыльный по восстанию 1863 года, да на зиму выезжал из тайги приисковый врач доктор Самойло, бывший каторжанин, осужденный по тому же восстанию, и до приезда доктора Кускова городская практика лежала, главным образом, на мне и товарище, административно-ссыльном Мондшейне, высланном с пятого курса и практиковавшем, как врач — дельный и знающий врач.

Скоро я познакомился с купеческим и золотопромышленным миром, с приказчиками и служащими. И здесь, как в Уфе, я встретился с земляками, владимирцами, игравшими в Сибири еще большую роль, чем в Уфе. Если в золотопромышленности больше работали местные люди, то сибирская торговля была, главным образом, в руках владимирцев. И не только в Енисейске и Красноярске, но, как мне передавали, и в Томске.

Можно сказать, что владимирцы не только в Уфе и в Сибири,

но и вообще в России представляли в былые времена яркое и оригинальное явление. Люди, не вчера родившиеся, вероятно, помнят тип владимирского офени, молодого владимирца с огромным тюком на спине с аршином в руках, переходившего со своим товаром из деревни в деревню. Это был сметливый ловкий человек с неотразимым для деревенских дам красноречием, вынимавший из своего тюка-лавочки все то, что удовлетворяло деревенские, в особенности женские нужды, где рядом с ситцами, яркими платками и полушалками, иголками, нитками, лентами и бусами был и «Бова-Королевич», и «Английский милорд», и «Гуак-непреоборимая верность».

Офеню можно было встретить не только в центральной России, но и на Украине, и на Дону, и в Крыму, и на Кавказе, в Уфе и Сибири. Ловкий человек изучал местные условия, до тонкости узнавал вкусы и потребности местных людей и нередко после нескольких путешествий оседал там, где было ему любо, и постепенно становился основателем уже крупного коммерческого дела. И стягивал к себе других владимирцев. Помню, в 1877 году в Турецкую кампанию я разговорился в Тифлисе в крупном магазине на Головинском проспекте с хозяином магазина. Он оказался владимирцем, бывшим офеней, и тут же рассказал мне, что он не один на Кавказе и что владимирцы торгуют не так чтобы худо, несмотря на конкуренцию армян.

В Красноярске и в Енисейске владимирцев было много. И не только в городах. Между Красноярском и Енисейском и по главному Сибирскому тракту были огромные села в роде Казачьего и Рыбного, игравшие роль городов и обслуживающиеся, главным образом, владимирцами.

Была в Красноярске очень крупная фирма двух братьев Гадаловых — отец их был тоже выходец из Владимирской губернии, — раскинувшая свои операции по всей Енисейской губернии и за пределы ее. В городах и селах были у них лавки и склады, в которых торговали приказчики-владимирцы. Гадаловым же принадлежало пассажирское пароходство между Красноярском, Енисейском и Минусинском, и также пароходная администрация, капитаны и машинисты были, главным образом, владимирцы. Приказчики и доверенные постепенно уходили и открывали свое дело, а на их место посылались новые люди из, повидимому, неистощимого запаса подходящих владимирских людей.

Случайно мне пришлось наблюдать, как подбирался этот штат служащих. По возвращении из Сибири в Нижнем-Новгороде мне пришлось во время ярмарки жить в одной из ярмарочных гостиниц. В том же коридоре, недалеко от меня, жил и один из братьев Гадаловых, приехавший на ярмарку за товарами и, как скоро оказалось, за людьми.

Как-то утром в коридоре послышался большой шум. Широкий коридор был полон крестьянами и подростками приблизительно по 8 — 12 лет. И взрослые, и дети явились в парадном виде, в чистых поддевках, в блестевших сапогах-бутылками, с густо намасленными коровьим маслом и аккуратным прямым пробором расчесанными волосами. Родители-владимирцы привели своих сыновей, чтобы отдать их на службу Гадаловым. И я видел, как вышел в халате не совсем отоспавшийся Гадалов и начал осматривать детей. Было очевидно, и так мне рассказывал потом официант, что все явившиеся были из одной округи, если не из одной волости, из той, из которой вышли и сами Гадаловы. Отцы наперебой доказывали переходившему от группы к группе Гадалову их деревенскую связанность, родство и свойство с Гадаловыми. Слышалось:

— Тетенька ваша... Еще родитель ваш... Как же, кума мне приходится...

Гадалов слушал и разглядывал ребятишек. Мальчонки были шустрые, с живыми глазками. Сколько было отобрано детей, я не знаю, но слышал потом, что целый транспорт этих детей прямо с ярмарки был отправлен под надзором гадаловского приказчика в Красноярск. И вот из детей этих родственников, свойственников, кумовьев, однодеревенцев, по прохождении обыч-

ного курса «мальчиками» при лавке или при конторе, формировался штат служащих в многочисленных гадаловских предприятиях, — и приказчиков, и счетоводов, и капитанов, и машинистов.

Эти владимирские дети в большинстве случаев уже навсегда порывали связь со своей Владимирской губернией и становились сибиряками. Мне пришлось лечить двух братьев-владимирцев, и у меня образовалось с ними прочное знакомство. Оба они также мальчиками 10-11 лет попали в Сибирь со своим отцом, бывшим офеней. Один из братьев был управляющим золотыми приисками, другой служил капитаном на пароходе, плававшем по летам в низовья Енисея за рыбой и пушниной. У обоих ничего уже не осталось от владимирского облика. Оба были по енисейской моде бритые, носили только усы, говорили сибирским говором, и манеры были сибирские, и вкусы, и быт, и порядок жизни. Оба женаты были на сибирячках, оба стали сибиряками и сибирскими патриотами. Они помнили еще свои места, знали, что там остались их родственники, дядья, тетки, но когда я спрашивал — неужели их никогда не тянет в свою Владимирскую губернию посмотреть родное село, они равнодушно отвечали:

— А что мы там забыли? Чего смотреть?

И всегда оканчивали фразой, которую часто приходилось слышать от сибиряков:

— Сибирь-то у вас, а не у нас.

ВО ВЛАСТИ ПРИРОДЫ

Восточная Сибирь ярче, колоритнее, меньше похожа на Европейскую Россию, чем Западная. Она вся еще под властью природы, она вся еще в периоде борьбы человека с природой, когда не человек властвует над природой, а природа над ним.

И город Енисейск. С трех сторон тайга, начинающаяся сейчас же за городом, глухая, непроходимая, — ни полей кругом, ни

слободок — а с другой стороны — могучий, глубокий, в четыре версты шириной, в крутых берегах Енисей, по которому океанский пароход из Англии плыл около двух тысяч верст без перегрузки, пока не причалил к енисейскому бульвару. А между ними город, сжатый тайгой и рекой. И медведи заходили не только в Верхнюю Деревню, — три медведя при мне благополучно прошлись по улицам Енисейска и так же благополучно ушли в свою тайгу.

Я проехал добрых три тысячи верст по Ангаре и Енисею, триста верст сделал верхом по тайге, когда ездил на прииска, столько же проехал верхом и в таратайке по Абаканской степи, [1] и везде поражали меня огромность и безлюдность сибирской земли. Безграничная тайга, безлюдная степь, огромные суровые реки, медведи, стадами выходящие в людские поселения... Люди жмутся к проходному, к проезжему месту, к реке, к тракту и словно боятся податься вглубь, врезаться в тайгу, уйти от насиженного, обжитого места.

И сибирские слова точно определяют это взаимоотношение человека и природы. Мне редко приходилось слышать русские слова: «кончился», «умер» — говорили: «пропал», «потерялся»...

---

[1] Месяца полтора я прожил с больным моим пациентом в палатке на берегу озера Шира. Тогда оно было пустынное и дикое. Кругом не было жилья, и только высились высокие камни древних могильников, и я видел, как неслось по степи стадо в несколько тысяч полудиких лошадей, от которых земля дрожала и шум несся по степи. Кроме нас, было еще две-три палатки приезжих больных и шалаш Ивана Ивановича, местного инородца, кормившего нас неизменной бараниной. Озеро было широко известно в Сибири, в особенности вываренная из воды его соль, которой лечились от заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта; но врачами было не исследовано, и, повидимому, я был первым врачом, пожившим на нем. Красноярские врачи тогда заинтересовались моей поездкой и просили меня сделать доклад о лечебном значении озера. Тогда там лечились ваннами, купаньями ревматики, больные невралгией, подагрики и страдавшие желудочно-кишечными расстройствами.

*

— Знаете, Иван-то Степанович пропал! — говорит мне совершенно культурный человек и тут же поясняет, что Иван Степанович пропал в собственной спальне в одночасье, после хорошего ужина.

Как-то в Верхней Деревне пришел сосед крестьянин поделиться горем — конь потерялся у меня. Спрашиваю: — в тайге? Оказалось, потерялся конь у него же в хлеву.

— Раздуло пузо, как гора, и потерялся.

Не пропадают, не теряются в борьбе с суровой природой только люди сильные, бесстрашные, с крепкими мускулами, с крепкой волей.

Я видел силачей в Сибири. Мне показывали человека, перекидывавшего двухпудовую гирю через сарай, я видел человека, боровшегося в обнимку с медведем в тайге и сломившего медведя, знал двух могучих стариков, бывших скотогонов, о подвигах которых ходили в городе легендарные рассказы.

И Сибирь не была исхожена дедами и прадедами, нужно было самим прокладывать пути. Сибирь полна была тайн, неисследованных мест, нужно было самим исследовать, нужно было проявлять огромную энергию и широкую инициативу.

Так и было. Я уже рассказывал о погибшей в Подкаменной Тунгузке экспедиции. Другой енисеец решил найти водный соединительный путь между бассейном Лены и Енисея и отправился один-одинешенек, спустился по Лене, в лодочке поднялся по какому-то из северных притоков Лены, пробрался оттуда в приток Нижней Тунгузки. У него перевернулась лодка и утонуло ружье, которым он добывал себе пищу, питался сырой рыбой и птицей и как-то все-таки добрался до человеческого жилья и вернулся по Енисею в Енисейск.

Знакомый енисеец, сын богатого золотопромышленника, студент Парижского университета, только что женившись на енисейке, которую я знал еще гимназисткой, отправился в Лондон, нанял там корабль, нагрузил его товарами и поехал со своей 18-летней женой через Карское море и приехал на этом корабле к своему дому на енисейском бульваре. И жена его только смеялась, когда я спрашивал, не страшно ли было при встрече со льдами.

Много лет спустя, когда я уже жил в Ялте, ко мне явился енисеец, уже пожилой человек, и напомнил мне о нашей короткой встрече в Енисейске. Он — служащий на приисках и заехал в Ялту, как он сказал мне, «по спопутности», по дороге в Австралию. Узнал он, что в Австралии с большим успехом применяются в золотопромышленности драги — тогда новая вещь. Кроме енисейского языка он не знал никакого другого и благополучно добрался до Австралии, работал там на приисках, изучил дело и, как мне потом рассказывали, вернулся домой и завел там драги.

В Енисейске не было музыки. После музыкальной Уфы бросалось в глаза молчание улицы, отсутствие музыки в домах. Встречались рояли в нескольких домах, но мне казалось, что они были больше красивой мебелью и открывались только изредка, когда приходил заезжий человек, чиновник из России, ссыльный. В двух-трех домах были старинные гусли, уже основательно забытые в России, и я с удовольствием заезжал изредка к священнику, хорошо игравшему на гуслях.

Редко приходилось слышать пение. И если пели, то все старинные русские песни, полузабытые в России. У меня бывали две сибирячки-гимназистки, с хорошими голосами, любительницы пения, пели мне старинные русские песни, и когда я попросил их спеть ихнюю сибирскую песню, они запели очень редкую старинную русскую песню, которую я, знавший много народных песен, слышал только раз от моей бабушки, прожившей до девяноста с лишком лет. Гимназистки очень огорчились и даже обиделись, когда я сказал, что и эта песня не ихняя, а все же русская. Были подлинно сибирские песни — сильные, суровые, волнующие, но только песни, вышедшие из каторги, из тюрьмы, сложенные бродягами, и других песен, своих, Сибирь тогда еще не сложила.

Не только музыки и пения, — не было еще тяги к красоте, к искусству, к художественности. Не было еще даже желания украсить свою жизнь, свое жилище. Как-то голо было даже в богатых домах, не было картин, красивых вещей и тех красивых пустяков, которые составляют неизбежно принадлежность среднего обывательского дома России. И не было воспоминаний в сибирских домах — тех, что встают от дедушкиной кровати, от бабушкиных вышивок, старых зеркал, которые, кажется, потемнели от множества лиц, смотревших в них. Казалось, люди только что выстроили жилье, только что переехали в него, только что начинают обживаться и не успели еще создать уюта обжитого места. Не поднялась еще тогда художественная волна в сибирских душах, не потянуло их к искусству, к красоте.

Реки еще не изъездили, тайгу не исходили, медведя не выгнали. Некогда было, недосуг.

По-другому настроена была душа сибиряков. Они не жертвовали на монастыри и на украшения храмов, мало думали о мертвых и не приукрашены были их кладбища. Они мало заботились о больницах, о богадельнях, о детских приютах. Им некогда было думать и заботиться о мертвых, о пропавших и потерянных, об отсталых и немощных. Некогда, недосуг. Живая жизнь строго и повелительно звала к себе, и в эту сторону — к строительству своей сибирской жизни — были направлены умы и сердца культурных сибиряков. Они приветствовали всякие начинания в этом направлении — давали деньги на училища и библиотеки, на всякие курсы, на музеи, на сибирский университет, бывший дотоле мечтой сибиряков, на помощь сибирскому студенчеству, мужскому и женскому, в Москве и Петербурге — на все, что отвечало устройству сибирской жизни, в особенности в области образования.

И тот же золотопромышленник Кытманов, при мне сердито отпихивавший приставвших к нему нищих, выстроил гимназию, стоившую ему — говорили мне — двести тысяч, отправил

учиться в Академию художеств енисейского мещанина, показавшегося ему талантливым, и во время учения содержал оставшихся в Енисейске жену и двух детей мещанина и давал деньги на всякие просветительные дела. А сын его тотчас по окончании университета занялся созданием в Енисейске естественно-исторического музея, а дочь уехала в Швейцарию учиться, а другая дочь поехала с мужем на упомянутом корабле из Лондона в Енисейск налаживать — таков был план мужа — постоянное сообщение Енисейска с Лондоном.

Нет лирики, нет мелодии в сибирской жизни. Тайга прекрасна, но красота ее строгая, суровая. Не прилетал в нее соловей, нет там птичьего щебетанья, нет весеннего зеленого шума. Голые до вершин стволы кедров, лиственниц и пихт тянутся рядами, как колонны в старом готическом храме. И тихо там, как в храме, где не началась еще служба, и только пустынные, глухие крики дикого голубя, да однотонная, однозвучная молитва кукушки нарушают великое молчание. А когда заговорит тайга, закачаются вершины деревьев, там нет мелодии, там нет Шопена и Чайковского — там величественный и строгий Бах.

СИБИРЯКИ

Я любил рассматривать альбомы в семьях моих пациентов, переселявшихся в Енисейск из других частей Сибири, — приказчиков, золотопромышленных служащих, местных чиновников, сибирских уроженцев. И нередко не нужно было спрашивать, откуда происходила семья — так много было якутских черт лиц в альбомах людей, живших в Якутии, и монголо-бурятских — у выходцев из Забайкалья. И при расспросах оказывалось: мать, бабушка — якутка, бурятка, киргизка или татарка из Западной Сибири.

И в самом Енисейске. Я знал в общем биографии знакомых мне коренных енисейцев, считая таковыми — их было не очень много — тех, чьи отцы родились в Сибири, — редко можно было

встретить между ними чисто русский — великорусский тип. [1] И при расспросах оказывалась примесь, иногда значительная, инородческой крови — в Енисейске большей частью остяцкой и тунгусской крови.

Как-то на вечере у моего пациента, где собрались мелкие золотопромышленники и приисковые служащие, мой собеседник, как и я не игравший в ландскнехт, чем заняты были все гости, рассказывал мне, кто из присутствующих откуда вышел и какое у него родство, — и у меня невольно вырвалось:

— Выходит, что вы один здесь настоящий русский.

Мой собеседник с правильными с точки зрения русского чертами лица, с светлыми волосами. Повидимому, он не совсем понял мое восклицание и спокойно ответил:

— Да, отец у меня российский, только мать бурятка...

Так по всей Сибири. На севере и юге, востоке и западе ее со времен Ивана Грозного шло смешение русской крови с теми многочисленными и разнородными национальностями, какие застали русские люди в Сибири. Бесконечно вливались волны вольных и невольных переселенцев из всех мест многоязычной и разноплеменной России, и все это сталкивалось и перемешивалось в общую кучу, — и русские и кавказцы, жители прибалтийских губерний и татары, поляки и башкиры, евреи и украинцы.

При этом столкновении и смешении шла великая нивелировка, — стирались взаимно острые углы, — национальные, религиозные. В Сибири я как-то не встречал крепко религиозных людей и совсем не слыхал религиозных споров и распрей. Совершенно не чувствовалось тогда антисемитизма в Сибири, в частности в Енисейске, где было много евреев. Постепенно создавалась особая атмосфера Сибири, складывались новые обычаи, нравы, вкусы, верования, обычное право, костюмы, манеры питания, быт, язык. [1]

[1] В Енисейске я знал только одну семью Калашниковых чисто русского типа, редкую семью, которая помнила своих давних предков, както сохранившую характерный великорусский облик, у которой хранилась еще бумага времен Ивана Грозного о разрешении Ивашке Калашникову с братьями торговать в Сибири,

Все это пришлое население быстро — во втором, а иногда и в первом поколении — осибирячивалось и утрачивало национальные черты. Мне приходилось наблюдать, как сравнительно быстро осибирячивались поляки, украинцы, немцы, евреи, но особенно поразительно быстро великороссы. Я думаю, великороссы — единственный в мире народ, который так способен ассимилировать и ассимилироваться — в особенности ассимилироваться, вплоть до забытия русского языка у русских, плотно осевших в Остзейском крае, до полной ассимиляции, как у короленковского Макара. [2]

Сибирь переживала — в несколько другом масштабе — тот же период, который пережила Европейская Россия, когда население Киевской области массами кинулось на север, заселило Суздальскую область, когда из-за слияния с местными инородцами образовалась та «смешица», как говорят о себе кое-где сибиряки, из которой сложилось великорусское племя центральных и северных губерний. Так же, как тогда, брачными и внебрачными отношениями русские новоселы смешивались с сибирскими инородцами, шел тот же процесс ассимилирования и ассимиляции, взаимной диффузии, обмена верованиями, манерами быта, бытом. Русские, когда болели, звали сибирских шаманов,

[1] Исследователи Сибири устанавливают, что в Березовском крае и в Забайкалье приблизительно треть слов разговорного русского языка состоит из местных инородческих слов. Путешественник Врангель писал, что он не мог принять участия в разговоре за обедом «высшего общества в Якутске», так как русские все говорили по-якутски. Ядринцев отмечает, что в некоторых местах вкусы, понятия о красоте резко изменились. Белокурые русские не нравятся, а нравятся «карымы» — помесь, «смешица». Я не люблю «маганого» — пришлого настоящего русского, — я люблю «карыма», — говорит сибирская девушка.

[2] Известный рассказ В. Г. Короленко: «Сон Макара».

а тунгусы и остяки, выходя из тайги в русское село, шли в церковь ставить свечку Николе, кажется, единственному русскому богу, которого они признавали. Так же по-новому складывался быт, изменялся русский облик, чужие слова входили в русскую речь и иначе выговаривались слова.[1]

И так же изменяется антропологический тип сибирского русского населения. Еще рано говорить об общем физическом сибирском типе. Разно выглядят русские на Ангаре и Енисее, на Оби и на Лене, в Забайкальи и на Алтае, слишком пестро и многообразно смешение русских с различными народностями Сибири, но есть одна общая черта — более или менее значительное уклонение от типа коренной России.

Но если рано говорить об общем для всей Сибири физическом типе, то духовный облик сибиряка сколько-нибудь культурных слоев успел уже сложиться определенно и ярко.

Сибиряк уже, менее сложен, чем русский, но он цельнее, структурнее, в нем мало русской тоски, русской мечты, русского раздумья и русского сердоболья — ему в равной мере чужды и Гамлет, и Дон-Кихот, но он знает, чего хочет, и он жилистый, крепкий и умеет хотеть и может мочь. В нем мало тяги к художественности, к красоте, к украшению жизни, но у него огромная тяга к знанию, к практическому делу, к строительству своей сибирской жизни. Ему чужды Онегины и Обломовы и всякие Гамлеты Щигровского уезда, — ему ближе однотонный Базаров, устремленный Инсаров. Среди разноплеменных разноверных людей он не знает, не чувствует разделительных граней, — религиозных, национальных; он безгранный, вненациональный, он сибиряк, он только о б л а с т н и к. Он не по-русски —

[1] Как-то я рассказал о своих наблюдениях В. О. Ключевскому, он очень заинтересовался и при другой встрече, через несколько лет, говорил, что продолжает интересоваться Сибирью, и приводил на лекциях мои соображения.

реже и менее усердно молится, не по-русски ругается,[1] и о пришедших из-за Урала говорит: «он российский».

Сибирь не знала дворянства, задававшего тон русской жизни. Слово «барин» редко звучало в Сибири и прилагалось не очень почтительно — только к чиновному начальству. Сибиряк был всегда глубоко демократичен и не очень верноподданный. Сыновья людей, преступивших русский закон, потомки беглых людей, бежавших от барина, от чиновника, от консистории и от синода, от царской власти, потомки вольных смелых людей, уходивших от склоки, связанности, от скудости русской жизни искать долю в жизни в беспредельной Сибири, — сибиряки никогда не чувствовали нежности к русскому правительству и не благоговели, не трепетали, как раньше русские, перед царской властью.

Этот новый, отличный от русского, облик сибиряка резко бросался в глаза всякому, кто мог наблюдать вблизи сибирскую жизнь. В былые времена сибирская учащаяся молодежь резко выделялась из масс русского студенчества своим физическим и духовным обликом, манерами, мимикой лица, жестами, говором и еще одним: для русского студенчества вся Россия была своим местом и не особенно тянулись люди устраиваться в своем р о д н о м месте, — для сибирской учащейся молодежи своим местом в те времена была только Сибирь и туда в это свое родное место в большинстве возвращалась она по окончании курса. Это была миссия, долг, осознанное областничество.

Сибирь — не окраина, Сибирь давно перестала быть и колонией. Она давно осознала себя отдельным, обособленным коллективом. Были глупые разговоры «Московских ведомостей» о сибирском сепаратизме, но областничество было уже всеобщим

[1] Через Урал почему-то не перешагнули подлые русские ругательства, похабные слова. И даже недавний обитатель этапа быстро переставал употреблять их и переходил к единственному сибирскому ругательству; «язвите», «пятнайте». По крайней мере в те времена я не слыхал других ругательств.

сознанием Сибири. И всегдашним требованием от центральной власти было признание этого областничества, своих специальных нужд и, прежде всего, права самим устраивать свою жизнь.

Уже образовалось, вылилось в определенную форму сибирское лицо, яркое, характерное. Трудно учесть пределы и характер будущей эволюции Сибири, — придет время, покорит сибиряк свою ощетинившуюся, бунтующую природу, придет время, будет у него досуг, проснется в нем художественность, тяга к красоте, даст она своих больших поэтов и художников, но, нужно думать, основные черты сибирского лица останутся те же. Явится новая великая Россия, и эта новая Россия, быть может, явится в некоторых отношениях дополнением и поправкой к старой коренной России.

СТАРЕЦ ФЕДОР КУЗЬМИЧ

Сорок лет тому назад легенда об умершем в Томске таинственном старце Федоре Кузьмиче была еще жива в Сибири. Мне случалось встречать людей, знавших старца еще до переселения его в Томск, но кроме рассказов о паломничестве к нему множества лиц да глухого упоминания о книгах на иностранном языке, будто бы бывших у старца, я ничего интересного не слыхал.

В Енисейске мне пришлось лечить одну пациентку, оказавшуюся дочерью того купца в Томске, у которого жил в последние годы и где умер Федор Кузьмич. Она была тогда подростком — ей исполнилось четырнадцать лет, когда умер старец, и, повидимому, была близка к старцу. По ее рассказам, он только ее одну допускал в свою комнату для уборки. Она подарила мне снимок с известного портрета Кузьмича и на обороте воспроизвела знаки, написанные от руки на заглавном листе библии на иностранном языке, которую особенно берег старец. Четыре знака были в роде измененных букв. К сожалению, моя тетрадка с краткими записями о Сибири и с резюме рассказа моей пациентки вместе со снимком пропали в один из обысков у меня. По просьбе Л. Н. Толстого я перерыл весь свой архив, но снимков не нашел.

Моя пациентка рассказывала, как шли к старцу люди за советами и утешениями. Говорила, что он мало заботился о себе, был неприхотлив на пищу и ни на что не жаловался, и только была у него одна слабость — не любил грубого белья и всегда радовался и не скрывал своей радости, когда приносили ему тонкое белье. Говорила, что как-то при ней проезжали через Томск из Петербурга какие-то важные господа, которые посетили старца, долго не уходили от него, она послушала-было у двери, но ничего не поняла — разговаривали не по-русски.

И еще рассказывала, что перед смертью старца приезжал к нему тогдашний томский архиерей, — долго пробыл у него и вышел весь в слезах. Архиерей, по ее словам, был уверен, что Федор Кузьмич был император Александр I и что будто бы даже по его распоряжению на могильном кресте были написаны инициалы императора под короной, которые потом, по распоряжению власти, были стерты. Нечего и говорить, что и отец моей пациентки, и окружающие были непоколебимо уверены, что старец был Александр I.

Кто он был, — некому сказать. Несомненно, что это был не обычный бродяга типа «Иванов непомнящих», но дальше фигура его осталась, вероятно, и останется навсегда, загадкой, перед которой много людей останавливалось и которую никто не мог разгадать.

VI

НИЖНИЙ-НОВГОРОД

СЛУЖАЩИЕ.

Летом 1887 года моя ссылка окончилась, и я вернулся из Сибири. Мне было запрещено для жительства кроме столиц тринадцать губерний, в число которых почему-то не попала Нижегородская губ. Нижний-Новгород я и выбрал. Это был ближайщий город к Москве, людный губернский город, где были у меня кое-какие связи и где уже поселился знакомый человек — Владимир Галактионович Короленко. Соблазняла и самая Волга.

После тихих Уфы и Енисейска мне показалось необыкновенно шумно и оживленно в Нижнем-Новгороде. И Волга глянула на меня не той сумрачной, какой я видел ее в первый раз, когда ехал в Уфу. Начиная от Казани шла столбовая дорога, набитая красавцами пассажирскими пароходами, грузными буксирами, огромными пузатыми белянами с уфимскими лесными изделиями, плотами сплавляемого леса, в гомоне криков, свистков, хриплых зовов пароходов, шумных пристаней. В самом разгаре была Нижегородская ярмарка, уже падавшая, по мнению нижегородцев, в своем значении, но показавшаяся мне многолюдной, шумной и яркой.

Я сразу попал в гущу нижегородской жизни. Вскоре по приезде я сделался врачом Общества вспоможения частному служебному труду, которое объединяло огромную массу служилого люда, — приказчиков, служащих банков, причастных к огромному тогда Окскому и Волжскому пароходному делу, — разномастных людей от так называемых доверенных, получавших большие жалованья, до официанта Нижегородского вокзала, кстати сказать, одного из наиболее усердных читателей библиотеки Общества.

Уже в силу моей службы в Обществе я сделался членом Общества, принимал участие в собраниях, был избран в библиотечную комиссию и продолжал работать в нем все десять лет, которые я прожил в Нижнем, когда был уже врачом городской амбулатории и членом городской санитарной комиссии. Общество было очень любопытное. Здесь впервые мне приходилось наблюдать вплотную эволюцию служащих торгово-промышленного класса. 80-е и 90-е годы были временем усиленного роста капитализма в России и быстрого увеличения кадров служащих.

Менялись старые привычные отношения «хозяина» и «работника». Исчезали патриархальные и полупатриархальные уфимские и сибирские взаимоотношения хозяев с своими приказчиками и служащими, там часто родственниками и свойственниками, где разделительная линия была не резко проверена и где сравнительно нередко служащий сам мог становиться хозяином. Здесь эта разделительная линия проходила уже глубоко. Были еще кое-где, в особенности в старообрядческих кругах, старые патриархальные отношения, но масса служащих уже резко обосабливалась в особенности в пароходном и заводском деле, где часто не было л и ц а хозяина, заседавшего где-то в Петербурге или Москве в виде правления акционерного общества и где лицом к лицу стоял безымянный капитал и безымянный служащий.

Складывалось классовое обособление, осознавание своего классового коллектива. Общество вспоможения частному служебному труду и являлось объединяющим центром для нижегородского приказчичьего мира и для служащих Волжского и Окского пароходства. Повторяю, Общество было по своему составу не однотипное, пестрое, — были богатые люди — доверенные, биржевые маклера; были старики-приказчики осно-

ватели общества, люди, воспитавшиеся на старых дрожжах и несшие в себе старую психологию, были мелкие служащие, получавшие скудное жалованье, и много было молодежи, порвавшей со старой психологией. Она не была тогда революционной, но, так сказать, радикально настроена. Поднималась индивидуальность, шло освобождение личности, поднималось чувство чести, личного достоинства, и вставала жажда к знанию.

Мне приходилось наблюдать борьбу этих старых и новых людей. Борьба вспыхивала сплошь и рядом по самым разнообразным случаям: при выборе почетных членов, при отчислении сумм на просветительные нужды Общества, на библиотеку, на назначение стипендий в учебные заведения. На этой почве вышел даже характерный скандал на одном из торжественных ужинов членов Общества. Один из основателей Общества, горячо преданный успехам Общества старый приказчик, ценимый в Обществе, расчувствовавшись, сказал речь, в которой поучал молодежь мудрости жизни, каковая, по его мнению, состояла в том, чтобы приказчик хозяину должный процент добывал и себя не забывал, себе пользу устраивал. Вышел громкий скандал. Молодежь возмутилась, прочитали отповедь старику, чтобы не звал на воровское дело итти, и значительная часть демонстративно ушла с ужина.

Другим объединяющим центром для служащих был Всесословный клуб, самый многолюдный из трех нижегородских клубов, почему-то именовавшийся в просторечии «Собачкой». Я застал еще клуб, когда вся жизнь его сводилась к карточным столам, буфету и бильярду, и большой зал открывался, только когда устраивались маскарады, не енисейского характера, а очень неопрятные, очень вульгарные маскарады с мало прикрытым развратом. И на моих глазах через несколько лет создалась при клубе хорошая библиотека, а в большом зале читались лекции, для которых выписывали даже столичных профессоров, когда редко можно было найти пустое место в зале.

А дети служащих и нередко наиболее бедных поступали в

гимназии или в высшие учебные заведения и на женские курсы, и мне много потом приходилось встречать революционеров, детей членов этого Общества.

КУПЦЫ И ПРОМЫШЛЕННИКИ

Поднимал голову, начинал обособляться, осознавать себя, как класс, купец и промышленник. Это, конечно, давно началось, но, после не особенно обособленного уфимского и енисейского купечества, мне особенно ярко бросилось в глаза купечество в Нижнем-Новгороде.

Волга кишела судами, Нижний делал большие дела. Нижегородский купец-промышленник в массе был старого уклада, не более ученый и образованный, чем уфимский и енисейский купцы — я не помню никого, кончившего высшее учебное заведение из тогдашних главарей торгово-промышленного дела, — он не выступал еще открыто на государственную арену, не заводил еще своих купецких газет, но он уже забрал силу и почувствовал эту силу. И он вел миллионные дела, ездил в Москву и Петербург, имел там конторы, встречался с столичным купечеством, у него были связи и деловые и часто родственные со всей Волгой, и наконец, раз в год он спаивался на ярмарке со всероссийским купечеством, с людьми, уже понявшими свою новую позицию в государстве.

На начинавшие пустеть дворянские кресла садился купец. Его сыновья учились не только в гимназиях, но и в дворянском институте (та же гимназия), дочери поступали в институт благородных девиц, и рядом с не очень грамотными отцами стали появляться и занимать места в жизни их сыновья — доктора, адвокаты, инженеры. И на общем фоне нижегородской жизни, несмотря на довольно многочисленное дворянство, выступал купец, и он задавал тон жизни. Этот купец резко отграничивал себя от бывшего высшего русского персонажа — дворянина. Можно сказать больше. Как в былые недавние времена, в 40-50-х

годах слово купец, «купчишка» звучало презрительно в дворянских усадьбах, так теперь купец с высоты своего капитала, с высоты своего растущего значения полупрезрительно смотрел на барина, на опускавшееся все ниже и ниже дворянство. Их разделяли интересы при дележе государственного пирога, которым искони кормились и дворянское землевладение, и торгово-промышленный класс, но, нужно думать, значительную роль играла здесь старая, веками сложившаяся враждебная психология крестьянства, из рядов которого, главным образом, выходило провинциальное купечество вообще.[1]

Пред самым моим отъездом, в 1896 году, развернулся в Нижнем-Новгороде пир на весь мир, именины русской промышленности, — именно Нижний-Новгород Витте избрал для открытия всероссийской выставки. Там было все для проявления новой эры в промышленности России. Земство, народное образование, кустари, крестьянское хозяйство были представлены скудно,

[1] Долго спустя, проездом, я зашел к своему знакомому крупному пароходчику, игравшему значительную роль в нижегородской жизни. Это было время начала реакции, отобрания назад манифеста 17 октября, и мне в некотором роде пришлось присутствовать при организации первых шагов черносотенного движения. Когда мы мирно беседовали, явились два гостя. Один высокий, сухой, за пятьдесят лет, человек старомодного уклада, как я потом узнал, владелец крупной фабрики на верхней Волге, а с ним молодой человек — таких в Нижнем называли «поддужный» — шустрый, лакированный, в крахмальном белье, с красивым портфелем. Старик-фабрикант сразу же заявил, что он с поручением от Москвы, где образовался кружок почтенных дворян громких фамилий, которые сорганизовались, чтобы сберечь самодержавную Россию от разрухи и погибели, которой грозил манифест 17 октября, и с просьбой к моему знакомому организовать такой же кружок в Нижнем.

Мой знакомый серьезно слушал рассказ фабриканта и реплики «поддужного» об оскорблении Николая-чудотворца и коротко выговорил:

— У них (у дворян) кровь порченная... Нам с ними не рука.

И на настойчивые уговоры фабриканта рошительно закончил:

— Нам не по дороге...

Так и ушли ни с чем организаторы черносотенства.

но зато широко и пышно разлеглись павильоны промышленности, и когда приехал царь на выставку, дворянство было оттиснуто, фигурировало ярмарочное и нижегородское купечество. Губернатор Баранов одел молодых купцов в костюмы древних гридней, и они, а не дворянские дети, были выставлены во дворец во время приема царя. А нижегородский «Волгарь», газета, верно служившая волжскому купечеству, излагая в передовой статье успехи промышленности и новые позиции, которые стала она занимать в России, напечатала фразу, облетевшую тогда все газеты и основательно высмеянную: «Мы всё можем». Фраза была глупа, но в этой наивно-глупой фразе сказалось новое самочувствие торгово-промышленного класса.

Несмотря на этот пышный расцвет, на это «мы все можем», русское торгово-промышленное дело мне казалось тогда, — я говорю о представителях его, не в столицах, а в провинции, — каким-то не солидным, не крепким, зыбким и неустойчивым. Старых, давних купеческих родов, когда-то гремевших по Волге, в Нижнем-Новгороде уже не было, сошли «на-нет», как говорили нижегородцы. Разно сходили на-нет. Мои пациенты, старики-приказчики, рассказывали, как купеческие роды сходили на-нет. Спивались люди, вырождались от болезней, просто вдруг бросали дело и уходили куда глаза глядят. Старожилы перечисляли мне, какие потомки старых богатых купеческих фамилий безнадежно больны, находятся в психиатрических лечебницах, какие доживают свой век в богадельнях. Помнили еще в Нижнем случай, когда в одночасье померли отец и мать и как трое взрослых детей — сын уже вел отцовское большое дело, дочери — невесты — бросили свое дело, «расписали» свое имущество по монастырям, по церквам, по богадельням, и сами все трое ушли в дальние монастыри.

И в мое время. Был в Нижнем знаменитый по всей Волге пароходчик Гордей Чернов. Атлетического телосложения, властный, он время от времени иногда в разгаре своих мирных занятий устраивал дикие дебоши и скандалы. Одним из его развле-

*

чений в такие периоды было являться в Соединенный клуб, обходить карточные столы и стукать лбами друг о друга играющих. Мне рассказывали, какая паника поднималась в клубе и как играющие покидали свои столы, когда получалось известие: Гордей приехал! Вывести его была задача трудная, несмотря на то, что один из швейцаров был приглашен именно за свою силу с специальной миссией выводить из клуба дебоширов, приходилось мобилизовать служащих, — Гордей Чернов снимал сюртук и, как щепки, разбрасывал наседавших на него людей.

Было в нем дикое, сильное и смелое. Много ходило рассказов о его подвигах во время всяких аварий на Волге, и при мне с удивлением рассказывали, как он в рупор во всеуслышание обругал губернатора Баранова крепкими русскими словами, когда тот вздумал вмешиваться в распоряжения Гордея Чернова, выехавшего на своем буксире разводить суда во внезапно наступившее половодье. Удивлялись, что и Баранов смолчал и не сделал из этого истории.

И вдруг, в разгаре своей силы, своих подвигов и дебоширств, Гордей Чернов скрылся из Нижнего, и никто не знал, куда он уехал, и только через год один из его приятелей получил письмо от него из монастыря на Афоне приблизительно такого содержания: «Попили мы с тобой, друг, погуляли достаточно, — пора и о грехах подумать». Я знал случай, когда приехавший на ярмарку за товарами провинциальный купец закрутил и целый год скитался по России с цыганским табором, только через год вернулся к себе оборванный и нищий.

На место спившихся, выродившихся являлись новые, свежие люди из крестьянства, из городского мещанства, но история повторялась одна и та же. Человек большого ума, с сильной волей, правдами и неправдами наживал состояние, заводил большое дело. Сын продолжал, изредка расширял предприятие, внук, много правнук, спускался вниз, и дело сходило на-нет или попадало в другие цепкие руки.

Если уфимские и сибирские купцы и промышленники были люди вчерашнего дня, то нижегородцы были третьеводнешние. Только третьеводнешние. В Нижнем помнили, как явились в Нижний дедушки крупнейших нижегородских хлеботорговцев и мукомолов Бугровых и Блиновых, крестьяне Семеновского уезда, и как начали они дело. Помнили кое-кого из крупных промышленников, как они мальчишками бегали из лавки с чайниками за кипятком. На моих глазах вырождались крупнейшие нижегородские семьи, появлялось то, что называлось чудачеством, дикие, нелепые выходки, дело вываливалось из рук. Со смертью Бугрова, — его блиновское дело стало рассыпаться, сходить «на-нет».

Я мало знаком был с столичным торогово-промышленным миром, не говорю об акционерных обществах, но близко знал провинциальный мир, и везде я наблюдал эту зыбкость, неустойчивость торгово-промышленного дела, быструю смену ее представителей. Как-то в Париже, во время президентства Казимира Перье, я прочитал в газетах, что торговая фирма Перье существует в одном роду 700 лет. В России за сто лет существования фирмы давали дворянство, и я помню только два-три случая этого пожалования — торговые фирмы не доживали до ста лет. Как русское дворянство сходило на-нет при самых счастливых условиях для дворянского землевладения, так русское купечество быстро выбывало из строя; как русский дворянин быстро раздворянивался и легко переходил в разряд разночинцев, так, и еще скорее, купец раскупечивался и превращался в мещанина, в мелкого служащего. И я думаю, что дело здесь не только в том, что у русской буржуазии не было такого исторического прошлого, как у западно-европейской буржуазии; не в том только, что она слишком молода, не успела выработать должных навыков, традиций, несложной, но крепкой идеологии западноевропейского буржуа, не было наторенных и, так сказать, асфальтированных путей для нее, но и в сложной мудреной психологии русского человека. Казалось, в нем, в дворянине, в купце, сидел

еще тот древний русский человек, что веками бродил по лицу русской земли, садился на место и снова снимался; подавался на север, на юг, на восток и не успел окончательно усесться, найти свое подлинное постоянное место. И казалось, что под цивилизованною внешностью, под сюртуком и даже фраком лежит давнее, дикое, стихийное, что взрывается дикими взрывами, что мирная, размеренная, дисциплинированная жизнь не переносна еще для людей и прорывается или буйными озорными дебошами, беспробудным пьянством, или уходом от мира в молчание монастырей, в смирение дикой воли, «в послушание».

СТАРООБРЯДЦЫ

Как-то так случилось, что нижегородские старообрядцы стали лечиться, главным образом, у меня. Началось с того, что я был приглашен лечить в огромном вдовьем доме, только что выстроенном тогда старообрядцем Бугровым на краю города. А в версте от него в поле был огороженный широкой оградой старообрядческий приют, в сущности являвшийся с молчаливого согласия местной администрации монастырем, где было все полагавшееся для монастыря, — и молельня, уставленная старинными образами, и темные старухи богаделки-монашенки, и молодые девушки, и священник, бывший, кажется, раньше православным, перешедший в бугровскую веру, как тогда называли старообрядцев, прикосновенных в Бугрову. Там тоже приходилось бывать мне два-три раза в неделю. Постепенно практика среди старообрядцев расширялась, ко мне наезжать стали из уездов.

Я был даже приглашен одно время — чему дивились сами старообрядцы — лечить старуху Блинову, тетку Бугрова.

Она играла большую роль в нижегородском старообрядческом мире, устроила монастырь в Заволжье, где, как говорили мне, было до семидесяти монахинь. Помню длинную амфиладу больших комнат, сидевшие в комнатах за пяльцами и за вышивками бледные личики белокурых и темноволосых девушек, жуткую

тишину молчания в пустынных комнатах, и в самом конце полутемную комнату, увешанную драгоценными старинными иконами, где сидела строгая суровая старуха. Блинова была строгая и властная и управляла не только девушками своего дома и монахинями своего монастыря. Мне рассказывали, как бородатые солидные купцы-старообрядцы жевали чай и разные снадобья, перед тем как явиться к ней, чтобы не пахло от них табачишком, которым некоторые баловались. И сам толстый, тяжелый, грузный Бугров, как рассказывал мне его племянник Блинов, если ему не удавалось улизнуть на свою мельницу, аккуратно клал бесконечные тяжелые великопостные поклоны под строгим взглядом старухи.

Во главе нижегородского старообрядчества, даже значительной части старообрядцев Волги, стоял купец Н. А. Бугров. Он был ревнитель древнего благочестия и оберегатель старой веры, заступник ее. Повторяю, было тогда на Волге выражение «бугровской веры». И это было в нем настоящее, искреннее, сердцевиной его. Помню, я приехал к нему лечить кого-то из его домашних, — он потащил меня в гостиную. На стене висела известная картина Сурикова — «Боярыня Морозова».

— Заказал в Москве копию, — вот только что привез...

И, отступая и подходя к картине, все повторял:

— А? Что! Как написано! Нет, вы посмотрите: лицо-то... лицо-то!

И тыкал в два пальца, вытянутые боярыней Морозовой, и, говорил:

— Видите! Видите!..

Он был огромный, тяжеловесный, несуразный, характерного крестьянского облика. И был человеком старого уклада по манерам, по костюму, по быту. Благотворитель тоже по старым купеческим манерам. Кроме вдовьего дома, он устроил в Нижнем ночлежный дом, в поминальные семейные дни одаривал нищих, которых к этим дням собиралось великое множество.

И в своем оберегании старой веры он держался давних при-

вычек, — искания «милостивцев», «подмазывания». Мои знакомые старообрядцы рассказывали мне, как в былые времена приходилось закупать на местах и в Петербурге нужных людей, как был случай, когда лакею дали двадцать тысяч рублей за то, чтобы он замолвил словечко и пропустил во-время к нужному важному человеку.

Не много отличались от этого старого и манеры Бугрова оберегания своей веры. С местной администрацией он был в наилучших отношениях. Злые языки говорили, что всегда нуждавшийся в деньгах губернатор Баранов пользовался широким кредитом у Бугрова, и рассказывали, как однажды Бугров встретил приехавшего в гости к нему Баранова с подносом, на котором лежали разорванные векселя Баранова.

— Чтобы вашему превосходительству не думалось!..

Его превосходительству, кажется, вообще мало думалось о таких пустяках, как выданные векселя. Я знаю, что он по годам не платил по магазинам за забранные там товары, и не слыхал, чтобы, в конце концов, он заплатил за них.

Бугров проник даже к Победоносцеву, главному вдохновителю преследований старообрядцев, и завязал с ним довольно близкие отношения. В Нижнем рассказывали, что Бугров вручил Победоносцеву крупную сумму на построение православных храмов в Сибири, о чем в связи с проведением Сибирской железной дороги хлопотал тогда Победоносцев.

У Бугрова развилась даже какая-то страсть, особое влечение к высокопоставленным людям. Помню, как Бугров, тяжелый, неповоротливый, всегда ходивший важно и медлительно — легким аллюром, петушком сопровождал наехавшего в Нижний министра Н. Н. Дурново, когда тот осматривал Вдовий дом. Был другой случай. Проезжал по дороге в Иркутск назначенный туда генерал-губернатором Пантелеев. Он не имел совсем никакого отношения к нижегородским старообрядцам и не нужен был Бугрову, тем не менее Бугров устроил для Пантелеева со свитой и какого-то еще проезжавшего сановника катанье по Волге, приготовил на пароходе роскошный ужин. Племянник Бугрова Блинов говорил мне:

— Любит дядюшка высокопоставленных людей! Его и медом не корми.

Старообрядцы в массе значительно выделялись из среды православного купечества, они были крепче, устойчивее и солиднее. Гонения, которым подвергалось старообрядчество еще в недавние времена, — в Нижнем-Новгороде еще хорошо помнили разгром заволжских старообрядческих монастырей, в котором близкое участие принимал и сам писатель Мельников-Печерский, — клали на людей особую печать, вырабатывали внутреннюю дисциплину, вырабатывали крепких духом, упорных людей, державшихся друг за друга.

Были между ними интересные люди. Изредка лечился у меня пароходчик Овчинников. Как-то раз он вызвал меня к себе в Городец к заболевшей дочери. Пришлось ночевать, и тут за вечерним чаем мы разговорились. Оказалось, что кроме его небольшого пароходного дела у него было еще другое, в которое он, повидимому, больше вкладывал души, чем в свои пароходные операции. Он собирал старину — иконы, но главным образом старые рукописи и старинные книги. Он собирал их всюду: в Москве, по Архангельской и Вологодской губернии, и специально ездил разыскивать в Поволжье, на Урал. Более всего интересовался болгарскими рукописями, которые он добывал через проживавших в Болгарии и Румынии старообрядцев.

И в Нижнем на ярмарке. В те времена — я узнал это только от него — на ярмарку приезжали люди, профессионально занимавшиеся скупкой таких вещей, и свозили на ярмарку для таких, как Овчинников, любителей то, что успевали собрать за год. Овчинников знал их всех, в совершенстве изучил это дело и рассказывал, как вначале попадался на подделки и как потом выучился по бумаге определять, к какому веку принадлежит та или иная болгарская рукопись. Он выстроил на дворе каменное здание, отдельно от других построек, безопасное в пожар-

ном отношении, для хранения своих драгоценностей и с гордостью сказал мне, что его книгохранилище известно в ученых кругах Москвы и что к нему уже приезжали работать два молодых профессора.

Мои отношения с старообрядцами не порвались с моим отъездом из Нижнего-Новгорода. Как-то много спустя в Ялте, во время пребывания там в Ливадии Николая II — дело было незадолго до Японской войны — ко мне явились трое старообрядцев. Один был нижегородец Сироткин, бывший потом городским головой Нижнего-Новгорода, и два представителя от Москвы и от Петербурга, — пришли посоветоваться о своем деле. Им нужно было добиться аудиенции у царя, чтобы вручить ему привезенную ими петицию от старообрядчества. Они показали мне переплетенную на старинный лад толстую рукопись, вернее: ряд рукописей и прошений, где описывались преследования, которым подвергались и подвергаются люди старой веры. Помню, при коротком обзоре, упоминание о костях донских старообрядческих епископов, выброшенных из могил неистовыми правительственными чиновниками.

У депутации был уже выработан план. Они собирались — кто-то им посоветовал — обратиться к княгине М. В. Барятинской, бывшей тогда начальницей «Ялтинской общины Красного креста», и предложить ей сто тысяч рублей на расширение ее общины, если она устроит им аудиенцию у царя и передачу ему петиции. Плана я не одобрил и сказал им, что аудиенции у царя, наверное, они не получат и что у них не будет уверенности, дойдет ли петиция до царя и не затеряется ли она в придворных кругах. Я просил их зайти ко мне через несколько дней, когда я успею навести нужные справки.

Мой двоюродный брат, ялтинский санитарный врач Розанов, рассказал о депутации лейб-медику царя старику Гиршу, и Гирш скоро сообщил, что он переговорил с великим князем Александром Михайловичем, жившим тогда в Ай-Тодоре, что Александр Михайлович согласен принять депутацию и передать царю их петицию. Так все и вышло, и депутация после приема Александра Михайловича и передачи ему петиции приехала ко мне с великой благодарностью за мой совет. Как деловые люди, они сказали, что они знают о моих хлопотах по устройству в Ялте Яузлара, санатории для нуждающихся приезжих туберкулезных больных, и что они придут ко мне на помощь. В дальнейшем разговоре выяснилось, что в случае успеха петиции они намерены выстроить на южном берегу Крыма миллионную санаторию для всех без различия вероисповедания чахоточных больных, но только чтобы она значилась выстроенной русским старообрядчеством в ознаменование прекращения гонений на старую веру, и что они будут рады соединиться с нами в общем деле.

Серьезного из их петиции ничего не вышло. Но некоторый успех она, повидимому, имела — долго спустя старообрядцы говорили мне, что преследования несколько смягчились. Японская война, а потом все пертурбации, которые начались в России, помешали осуществлению старообрядческих намерений. Так ничего и не вышло.

Старообрядцы и еще раз обращались ко мне. Как-то в Петербурге меня разыскал петербургский представитель бывшей делегации и просил навестить в Мариинской больнице тяжело больного и, если я признаю нужным, устроить его в Ялте. При этом он рассказал, что больной — дорогой для них человек, что именно он выступал всегда с блестящим успехом в Петербурге в религиозных прениях с представителями православного духовенства. Я был в больнице. У больного оказался эксудативный плеврит, плохо рассасывавшийся, и, так как я должен был через несколько дней уезжать в Крым, я захватил больного с собой.

Мельников оказался очень интересным человеком. Он быстро начал поправляться в Ялте, и уже через две недели мы ходили с ним в горы, и он рассказывал мне свою жизнь. С шестнадцати лет он пошел по тюрьмам за свою веру, за пропаганду. Не раз был арестован при переезде через румынскую границу, когда

переправлял старообрядческую литературу. Ему было 35 лет. Помимо огромного знакомства с старообрядческой литературой, он хорошо знал историю церкви, вернее: историю церквей, так как интересовался католичеством, и жаловался мне, что никак ему не удается — все некогда — засесть вплотную за французский язык, который он начал изучать. Он был не узкий, не начетчик, в привычном понимании этого слова, интересовался литературой, жадно тянулся к широкому знанию. Ни в беседах, ни в манерах его не чувствовалось буквы, односторонней узости, и, не зная его прошлого и того, что рассказывал о нем петербургский старообрядец, я никогда не подумал бы, что он все-таки начетчик, что у него вся жизнь только в том, что он делал.

Мельников понимал, что старые методы старообрядчества в смысле оборонения себя отжили свой век и что настоящего освобождения, полного легализирования старообрядчество может ждать только от освобождения народа, от изменения всей государственной жизни России. И именно он с улыбкой рассказывал мне о старых методах старообрядчества, когда главной задачей было найти ходы к человеку «в случае», когда платили по двадцати тысяч лакею только за то, чтобы допустил к нужной персоне.

Ялтинская петиция была уже новым этапом в отношениях старообрядчества к власти, но Мельников понимал, что это тоже недалеко уходит от старых методов и что нужны другие.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ

За 10 лет, протекших тогда с моего окончания университета, многое изменилось, и Нижний-Новгород, как губернский город, встал для меня новым явлением. Он удивил меня количеством интеллигенции, обилием, так сказать, своих, близких людей.

За время моего студенчества губернские города в этом смысле были пусты. Мне приходилось тогда рассылать нелегальную литературу и устанавливать связи с несколькими губернскими

городами, и мы знали, что в таком-то городе есть два, в другом три человека с общественным положением, с которыми можно было сноситься по нелегальным делам. Там были кружки гимназической и семинарской молодежи, руководившиеся наезжавшими на родину студентами, но взрослых, созвучных нам людей было мало. Были редки такие города, как Саратов, как Орел во время жизни там Занчиевского.

В Нижнем я впервые близко познакомился с так называемым «третьим элементом», — в Рязани, в Уфе он был представлен слабо, в Сибири его и не могло быть, за отсутствием земства, около которого он, главным образом, группировался. Земская деятельность, несмотря на правительственное давление, расширялась и усложнялась. Не только увеличилось количество медицинского и учительского персонала, — появились техники, инженеры, агрономы, инструкторы и статистики, именами которых иногда назывался вообще третий элемент.

«Третий элемент» являлся своеобразным продуктом русской своеобразной жизни. В большинстве случаев он набирался из людей, познавших закономерность русской жизни, из студентов, выгнанных из высших учебных заведений, из людей, побывавших в тюрьмах, в ссылках. Там были партийные и беспартийные люди, но их объединяло враждебное отношение к правительству и в этом смысле революционное настроение. Рядом с подпольной работой, часть интеллигенции, в то время еще по преимуществу народнической, избирала легальный путь и работала на открытом воздухе. Шли и, так сказать, мирные люди, но не желавшие служить на государственной службе и не соблазнявшиеся легкими и обильными хлебами частной службы. В большинстве случаев люди третьего элемента, по крайней мере те, которых я знал, входили в земское и городское самоуправление, не как приказчики, не как конторские служащие, отбывавшие урочное время от такого-то часу и до такого-то, а как люди, для которых дело, которое они желали, было идейным и общественным делом, в которое они вкладывали свой ум и свое сердце.

И во многих отраслях из исполнителей и служащих люди третьего элемента делались организаторами и руководителями земского и городского дела. В передовых земствах, как Московское, Тверское, Саратовское и некоторые другие, по существу врачи, а не земцы, строили и определяли медицинско-санитарное дело, и не будет преувеличением сказать, что их работа явилась самостоятельным и оригинальным творчеством общественно-медицинского дела в России, не имевшим прецедентов в Западной Европе. В частности, только П. П. Кащенко, которого я усиленно переманивал из Тверского земства в Нижний, явился организатором и основоположником психиатрической помощи населению Нижегородской губернии. Именно он провел новое тогда в России посемейное распределение тихих и спокойных психически-больных по окрестностям Н.-Новгорода — главным образом, в Балахне. И он устроил как следует Нижегородскую психиатрическую лечебницу.

Особо видную роль в нижегородской жизни сыграли статистики. На зов Н. Ф. Анненского, почти одновременно со мной приехавшего из Казани и ставшего во главе земской статистики Нижегородского губ. земства, собрались исключительно ценные работники — многие из них стали потом во главе статистического дела в других губерниях и в Сибири. Они глубоко вклинились в земское дело и нередко выходили далеко за пределы своего специально статистического дела. В частности, во время знаменитого голода 1891 года именно им поручена была закупка хлебов для Нижегородской губернии, и знакомые нижегородские хлеботорговцы с удивлением говорили мне, как хорошо и дешево был накуплен хлеб статистиками.[1]

Роль третьего элемента не ограничивалась работой в земстве. Везде, где они были достаточно представлены, — они являлись

---

[1] В земской управе рассказывали, как статистик П. Н. Неволин, командированный на Кубань, в отчете о поездке не поместил расходы на свое питание, и на вопрос управы ответил, что он дома все равно бы ел.

организаторами или, по крайней мере, участниками всяких общественно-прогрессивных начинаний, являлись инициаторами возникновения или сотрудниками местных газет. И в Нижнем-Новгороде упомянутая эволюция Соединенного клуба, превратившая его из кабака в культурно-просветительное учреждение, началась, когда вошли в него и начали принимать деятельное участие люди из третьего элемента.

В земстве шла борьба земской оппозиции, лучших земских людей против дворянского засилья. Нижегородское дворянство, как и везде, шло на убыль, имения переходили в недворянские руки, а оставшиеся в руках помещиков были заложены и перезаложены, но дворян-помещиков, живших на местах, было еще много, в особенности в таких уездах, как Лукьяновский, Васильсурский, и в нижегородской жизни они играли еще значительную роль. Уездным земством правил и владел председатель земской управы Андреев, распоряжавшийся в уезде, как в своем имении, и в земской кассе, как в своем кармане, дворяне верховодили на губернских земских собраниях, распоряжались по-своему в Дворянском банке, а на местах задавали тон уездной администрации.

Борьба велась в уездном и губернском земских собраниях, велась на страницах казанских и столичных газет, и, можно сказать, печать сыграла главную роль в этой борьбе. Корреспонденции В. Г. Короленко — к которым он относился так же серьезно, как к своим художественным произведениям — о безобразиях администрации и дворян производили сенсацию. Скоро, помимо казанских газет, где, главным образом, помещались корреспонденции о нижегородских делах, в Нижнем возникло отделение казанской газеты «Волжский вестник», которым заведывал Иванчин-Писарев, куда стекались всякие сведения и корреспонденции отдельных авторов.

Борьба окончилась победой. Андреев слетел из председателей. Один из лидеров дворянства, Панютин, посажен был в тюрьму по обвинению в поджоге в своем имении и там умер от сыпного

тифа. Председателем уездной, а потом и губернской управы стал А. А. Савельев, примыкавший вместе с П. К. Позерном и другими людьми оппозиции к нашему кружку, далекий от дворянских традиций. [1] Побеждены и посрамлены были, в конце концов, и лукьяновские неистовые дворяне, так упорно отрицавшие голод в 1891 году и враждебно относившиеся к помощи голодавшему крестьянству.

Тогдашнее интеллигентное общество Н.-Новгорода состояло не из одного третьего элемента. Через Нижний проезжали возвращавшиеся из Сибири ссыльные, и некоторые оседали надолго. Засиделся в Нижнем А. И. Богданович, сделавшийся потом редактором журнала «Мир божий», навсегда, до смерти остался Дробыш-Дробышевский, вставший во главе новой прогрессивной нижегородской газеты, сослуживший большую общественную службу, жил Зарудный и другие.

А потом оседали бездомные русские «перекати-поле», которых много было тогда в России, — люди, вышибленные из жизни, взыскующие града, сбегавшиеся на огоньки, что светились тогда из Нижнего Новгорода.

И чем дальше шла жизнь за те десять лет, которые я прожил в Н.-Новгороде, тем больше приливало туда людей. После голода 1891 года и начавшегося тогда оживления в среде учащейся молодежи начали приезжать целыми группами высылавшиеся из Москвы и Петербурга студенты, и некоторые из них также оседали в Н.-Новгороде.

Одно время собралось много писателей. Кроме В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненского, некоторое время жили Иванчин-Писарев, Петропавловский-Каронин, Ольхин, из молодежи Горький, Чириков, Ашешов. Приезжал не надолго Н. К. Михайловский, два раза приезжал погостить у своих друзей — Короленко и Анненского — Глеб Ив. Успенский. [1]

[1] Был членом всех Государственных дум.

К образовавшемуся довольно широкому нашему кружку в той или иной мере примыкали и местные люди, — земцы, кое-кто из так называемого общества, учительницы и, конечно, учащаяся молодежь.

Стало оживленно и шумно в Н.-Новгороде. Довольно много собралось людей около открывшихся вечерних классов для неграмотных и полуграмотных. [2] Организовывались литературные вечера, и помню, когда я читал о Чернышевском — по случаю его смерти, — в моей небольшой квартире собралось около ста человек. Благодаря, главным образом, инициативе и энергии высланного из Петербурга студента-медика Андрея Юльевича Фейта устроились систематические курсы для учащейся молодежи, — лекции читались по естествознанию, по политической экономии и статистике.

Центром, вокруг которого группировались люди, притягательной силой для съезжавшихся в Нижний людей были Владимир Галактионович Короленко и Николай Федорович Анненский.

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ И ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

Я встречал и близко знал многих выдающихся по уму и талантливости людей, — ученых, писателей, выделяющихся из толпы людей, — и не могу вспомнить ни одного, кого я мог бы поста-

[1] Второй раз уже больным он прожил у меня две недели. См. мои «Близкие тени».

[2] Мне пришлось присутствовать при интересном разговоре местного архиерея, приглашенного на открытие классов с дамой-патронессой, Бер, выхлопотавшей разрешение на устройство этих курсов.

— Кажется, в 60-х годах уже были подобные вечерние классы для рабочих? — спросил архиерей.

Дама ответила:

— Да, но тогда внедряли рабочим права, а мы будем учить обязанностям.

Ожидания дамы не оправдались.

вить рядом по необыкновенной одаренности с Н. Ф. Анненским.

Поражали в нем объем, богатство его духовного содержания и его исключительный темперамент, редкая комбинация обширного ума, строгой мысли и горячего бунтующего сердца. Необычна была и карьера его. Он окончил филологический факультет и должен был остаться при университете профессором истории, но тогда, в 60-х годах, вводились новые судебные учреждения, казалось, открывавшие новую эру, новый выход русской общественности, — Анненский оканчивает юридический факультет, но после первых же защит бросает адвокатуру. Он служит в министерстве, переходит в другое министерство, два раза командируется за границу — на международные съезды, как представитель русского государства, и вместо блестящей служебной карьеры попадает в центральную вышневолоцкую тюрьму, чтобы очутиться в Западной Сибири. Он выступает в 70-х годах с статьями: «Катедер-социалисты в Германии», — статьями, которые мы, тогдашние студенты, обязательно читали, он пишет в «Русском богатстве» времен Н. К. Михайловского статьи о государственной росписи, которые знатоки считают лучшими статьями по государственному бюджету, — и не делается настоящим писателем в меру своего роста.

Он широко организует земское статистическое дело, — о статистиках говорят: «школы Анненского», и все знавшие его видели и сознавали, что это для него полудело, что оно использует только часть большого, много одаренного Анненского.

Покойный профессор А. И. Чупров передавал мне, как поражены были они, участники статистического съезда в Москве, когда Анненский на протяжении двух часов говорил, без бумаги, без записок доклад по постановке земской статистики, оперируя с огромными цифрами. Такова была его математическая память. И он же помнил мотивы всех опер — он был любитель музыки, — какие он слышал в России и за границей, и он же мог цитировать наизусть речи Цицерона и по-гречески целые страницы из Гомера. Он, точный ум, знаток финансовых и поли-

тико-экономических вопросов, был тонкий ценитель западно-европейского искусства от Дюрера и Рембрандта до школы новейших художников.

И все это освещалось страстным, я бы сказал: буйным, темпераментом, не терпевшим полуслов, полурешений, так часто поднимавшим этого удивительно доброго и деликатного человека до гнева и страстного обличения. Он был блестящий оратор, настоящий оратор, из тех, которые заражаются толпой и заражают толпу. И особенностью Анненского была комбинация пафоса и юмора — высокого пафоса и яркого юмора, равного которому я опять-таки не встречал в жизни.

И вот встает вопрос: почему так мало осталось от него?

Потому, что он родился в России, жил в России, потому что русская действительность не давала возможности проявиться во весь рост такому человеку, как Анненский. Потому, что он был предуготованный лидер, организатор, политический вождь. Анненский не годился для подполья, для конспирации, — он был трибун широких эстрад, площадей, баррикад.

Только в конце жизни, точно смеясь, русская действительность позвала его и хотя в малой степени использовала его. Он стал председателем банкетов и митингов перед и во время первой революции 1905 года, и характерно, что как-то сразу, по какому-то безмолвному сговору революционные люди разных направлений искали и звали Анненского, как председателя и оратора, и что больной, с тяжелым артериосклерозом, гипертрофированным сердцем, не зная покоя и отдыха, он весь ушел в дело, которого ждал всю жизнь. И здесь все еще можно было видеть Анненского с его страстью, с его гневом и пафосом.

Я не могу забыть, как приехал ко мне в Ниццу на мое попечение незадолго до своей смерти Анненский, — приехал тяжело больной, еле двигавшийся от одышки, с измученным, износившимся, отказывавшимся служить сердцем. И мне стоило большого труда уговорить его не участвовать в демонстрации на кладбище, на могиле Герцена, во время устраивавшегося тогда

торжества памяти Герцена, и не выступать на банкете, устроенном в той же гостинице, где я его поместил. Он все-таки нарушил мой запрет и сказал на банкете, — не мог не сказать, — прерывающимся голосом несколько слов о Герцене, которого он так высоко ценил и — прибавлю — с которым у него было так много общего в его духовной организации.

Владимир Галактионович Короленко был другого склада души.

Он рано определился, как человек, и сложился таким, каким оставался всю жизнь, рано наметил себе ту дорогу, свою дорогу, по которой шел всю жизнь. Он был студентом в Москве и Петербурге в 70-х годах, во время подъема революционного движения, и не сделался человеком партии. Но он был человеком строгим к себе, с огромной внутренней дисциплиной, человеком неумолимой совести, он питал отвращение, был полон ненависти к насилию, лжи, обману, позе, — он сделался беспартийным революционером. И тогдашняя русская жизнь, полная насилия и беззакония, повелительно звала к себе, не позволяла таким людям, как Короленко, благодушно сидеть в келье под елью и удовлетворяться мирной обывательской жизнью и хотя бы высоко художественной работой.

Владимир Галактионович скоро нашел себя и как писателя. Еще студентом письмом в петербургскую газету о студенческой истории в Петровской академии он начал свою литературную деятельность. Еще юношей он напечатал в журнале «Слово» свой первый беллетристический рассказ. И потом во время ссылок, в Березовском починке, в каменном мешке Тобольска, в Якутской области, в Нижнем, в Петербурге, в Полтаве — он обращался к жизни писательским лицом, и литературу, свои писания, он сделал главным орудием своей борьбы с неправдой, с насилием.

А по существу, по складу натуры он был писатель-художник, созерцатель, с тонким художественным проникновением жизни.

Его тянуло к художественности, и я знал, что он лучше всего чувствовал себя за письменным столом, когда он мог отдаваться своим художественным замыслам.

И когда кончились ссылки и Владимир Галактионович поселился в Нижнем, казалось, все сложилось так, чтобы он мог широко использовать себя, как художник. После «Сна Макара» он сразу очутился в первых рядах литературы и мог не служить. В гости он ходил только к немногим из нашей интимной компании, не часто бывал в театре, был равнодушен к мызуке.[1]

Любимыми его развлечениями были физический труд, к которому, повидимому, пристрастился во время жизни в якутской ссылке, — я встречал его особенно веселым и оживленным, когда заставал за рубкой дров,913 таcканием воды или видал его возвращающимся после длинных путешествий пешком «за иконой», по Поволжью, после плавания в лодочке по глухим заволжским речкам. В одном из писем его ко мне из Полтавы, он с особой радостью отмечал, что доктора позволили ему рубить дрова.

И жизнь свою он устроил подходяще. Поселился в тихой уличке, в деревянном домике, окруженном большим садом. Семья была большая. Кроме жены и детей с ним жила мать его, тетка, брат Илларион, а в нижнем этаже семья сестры его — Лошкаревых. Семья была крепкая, спаянная, согласная, одного тона с ним, без любви к вечерам, без обывательской атмосферы, — и брат и Лошкаревы также прошли чрез ссылку. Казалось, здесь бы и развернуться Владимиру Галактионовичу во всю ширь...

А не вышло... Не вышло того, что, вероятно, вышло бы, если бы Короленко жил в Англии, во Франции, в Германии, где он мог бы исписать себя всего, оставить после себя томы художественных произведений, а не хотя и прекрасное, но небольшое для таланта Владимира Галактионовича художественное наследство, которое он оставил.

Но он был русский и жил в России. Кроме кабинета и пись-

[1] Он любил живопись, тонко ценил ее и сам недурно рисовал.

менного стола и художественных замыслов его тянула к себе улица, к которой он чутко прислушивался, в которую зорко всматривался, — улица со всем тем, что было тогда на русской улице. И в конце концов улица победила кабинет и увела Короленко к себе от письменного стола, от художественных замыслов.

К нему шли люди. Приходили земцы узнать мысли Владимира Галактионовича, посоветоваться и... оправдаться пред ним. Приходили разные люди с своими обидами и горестями. Являлись павловские кустари, приезжали люди из уездов. Шли за советами и указаниями молодые, начинающие писатели, проезжавшие ссыльные неизменно останавливались в Нижнем, чтобы повидаться с Владимиром Галактионовичем, заходили познакомиться проезжавшие через Нижний писатели, художники. Я долго лечил мать Владимира Галактионовича, а когда заболевали дети, случалось по неделям ежедневно бывал в семье, и я нечасто даже в утренние, самые дорогие для писателя часы заставал его одного в кабинете.

И мне приходилось наблюдать, как шаг за шагом, год за годом улица уводила Короленко от его дела писателя-художника. Надолго увлекла — он весь вошел на борьбу с дворянским засильем и нижегородским беззаконием, потом увезла его в Лукояновский уезд, помогать голодавшему крестьянству и бороться с лукояновскими помещиками, потом увела его далеко на Мултанское дело. А потом дело об избиении полтавских крестьян, дело Бейлиса, вплоть до того времени, когда вся Россия из дальних углов ее стала стучаться в сердце и разум Владимира Галактионовича с своими обидами, с своими «бытовыми явлениями».

Художественные замыслы не додумывались, рассказы не дописывались, все росли горы записных книжек, а письменный стол все больше и больше загромождался письмами незнаемых людей и рукописями начинающих писателей, в особенности начинавших подниматься тогда из народа писателей, требовавших подробных и обстоятельных отзывов и получавших таковые.

Когда я в первый раз писал о В. Г. Короленко, — об этом

исключительно чистом, ясном и светлом человеке, — у меня как-то невольно подвернулось заглавие: «В белых ризах». Поистину в белых, незапятнанных ризах прошел свою жизнь В. Г. Короленко. И, оглядываясь на прошлое, я думаю, что прожитое мною десятилетие в Нижнем-Новгороде можно назвать нижегородским периодом Короленко и Анненского, как последующий период — периодом Горького.

А в России шла тогда темная и дикая реакция. «Дворянский» царь Александр III отбирал назад то, что дал его более умный отец, и открыто стремился поворотить Россию к давнему, отжитому крепостничеству. «Слушайтесь ваших предводителей дворянства!» — вот все, что унесли крестьяне, бывшие на коронации нового царя. Устранены были выборные мировые судьи и поставлены были над крестьянами дворяне — земские начальники, издавались распоряжения не учить крестьянских детей в школах считать дальше тысячи, раздавались окрики на «кухаркиных детей», восстановлено было телесное наказание для крестьян. Урезывали и сжимали земство, давили печать, ломали суд, во-всю работал департамент полиции.

Реакция была дикая, реакция глупая. Когда я оглядываюсь назад на этих двух разрушителей идеи монархии в России, — Александра III и Николая II, — мне кажется, как будто там вверху в центре власти сидел какой-то враг, кто направлял все действия власти на погибель самодержавия и династии.

Они были не умны, державные люди, когда хотели подпереть шатавшееся здание такими гнилыми подпорками, как дворянство, умиравшее естественной смертью, близкое к агонии. Они были не умны, когда чрез тридцать лет после отмены крепостного права, когда выросло новое крестьянское поколение, не знавшее крепости, для которого уже дико звучала старая рабская формула обращения к помещикам: «вы наши отцы, мы ваши дети», вздумали восстановлять крепостное право. Они были не умны, когда решились ломать суд, земские учреждения, уже

глубоко вклинившиеся в русскую жизнь. И не умен был умнейший из них, Витте, когда чрез четверть века жизни этого земства подавал царю доклад о несовместимости земских учреждений с самодержавием.

Они были глупы, когда за студенческие, только студенческие беспорядки тысячи студентов выбрасывали из высших учебных заведений, высылали на родину, ссылали в ссылку, отдавали в солдаты, расселяли по широкому лицу русской земли и тем самым не давали несложившимся юношам сделаться докторами, адвокатами, инженерами, учеными людьми, нередко быстро забывавшими юношеские бредни, не давали обрастать обывательским благополучием, а самой обстановкой жизни революционизировали их, накопляли ими ряды революционных организаций, ряды третьего элемента, делали из них на местах бродило революционно-оппозиционного настроения.

Они были еще более глупы, когда за стачки, — за стачки на экономической почве, — тысячи рабочих выбрасывали с фабрик, сажали в тюрьмы, ссылали в ссылки, заставляли расселяться по дальним местам. Рабочие учились в тюрьмах, получали в ссылках образование, которое некогда было им пополнять в условиях фабрично-заводского труда, возвращались из тюрем и ссылок закаленные, вооруженные знанием, и растекались по России, чтобы организовывать новые революционные гнезда в далеких от центров местах.

Они, люди власти, были глухи и слепы, они не видели и не слышали, что вода все прибывает — с полей, с гор и долин, не слышали угрожающего шума ее и все затыкали дыры прорвавшейся плотины, все вбивали в нее новые гнилые сваи, пока бурный вал не разорвал плотину сверху донизу и не рассеял по бревнышку старую государственную мельницу. Они были не умны, глухи и слепы, когда, заперши революционеров Народной воли в Шлиссельбургскую крепость, думали, что революция разгромлена, когда немного лет до революции, в то время как Россия уже начинала вздрагивать от волнений, — генерал

Пантелеев, при посещении Шлиссельбурга, тоном победителя говорил заключенному Н. А. Морозову:

— Вы боролись против самодержавия, а самодержавие теперь крепче чем когда-либо!..

Они учитывали тогдашнее приуменьшение террора и снижение народнической волны, но недооценивали значения поднимавшейся новой социал-демократической волны. Они боялись всякой организаванности рабочих и всячески стремились распылить ее, но не понимали всего значения этой организованности и последствий распыления.

Некоторым оправданием самонадеянной глупости людей власти служило молчание, пассивность так называемого «общества» — это было время чеховских сумерок, чеховских «хмурых людей». В 80-х годах была, чувствовавшаяся в особенности в провинции, общая подавленность. Общество, пережившее во времена деятельности партии Народной воли некоторое пробуждение и возбуждение, казалось, говорило революционерам: «Вы обещали освободить нас, а ничего не вышло» — и вернулось к своей мирной обывательской жизни до 90-х годов, когда снова начался общий подъем.

И тем страннее была шумная, оживленная жизнь в Н.-Новгороде, где люди все-таки боролись и одерживали победы — пусть маленькие победы, где не чувствовалось, мало чувствовалось хмурых, унылых чеховских людей.

ХОЛЕРА

В 1892 году пришла весть о холере. Она двигалась с низу Волги из Астрахани и Царицына, как грозная туча, с страшными вспышками страшных огней. Неслись, как громовые раскаты, слухи о том, что делалось в низовьях Волги, — об убийствах врачей, о растерзании на улицах неповинных людей. Она шла быстро, она бежала, — пароходами, поездами, и телеграммы едва успевали сообщать об этапах, которые она проходила, —

Саратов, Симбирск, Самара, Казань, — и вот она уже у ворот Нижнего-Новгорода.

Нижний-Новгород готовился — и, нужно отдать справедливость, готовился, как нигде. Слишком велика была опасность для предстоявшей ярмарки и разноса из нее холеры по всем направлениям, — и денег не жалели. Было приглашено очень много врачей, явились во множестве студенты-медики высших курсов. Среди города и ярмарки рассыпаны были пункты первой подачи помощи с дежурившим день и ночь медицинским персоналом, широко были поставлены бактериологические исследования в городе и на ярмарке. Наученная горьким опытом нелепых распоряжений администрации низовых волжских городов, нижегородская администрация не делала тайны и широко оповещала население о ходе эпидемии. Хоронила с отпеванием духовенства, допускала родных.

А слухи в низах населения росли мрачные, угрожающие. Говорили об отравлениях докторами колодезей и людей, о каких-то распоряжениях сверху травить людей, о зарывании в землю не успевших помереть людей. Самым популярным был рассказ, как несли хоронить обсыпанного известкой холерного и как он вдруг поднялся из гроба и стал звать народ на помощь. И люди, конечно, рассказывали, что сами видели такие случаи. Один крестьянин рассказывал моему знакомому за достоверное, что англичанка испугалась, что в России очень много разродилось народу, и подкупила докторов и начальство морить людей, чтобы убавить русского народу. Другой крестьянин подгородней деревни лично мне рассказывал, что бегает по деревням маленький человечек с зайца, и где пробежит, там и мрет народ. И насчет отравы тоже верно, — отчего раки мрут? — даже так, что вылезают из воды и на берегу умирают. [1]

Настроение Нижнего базара, набережной и Канавина было

---

[1] В то время раки вымерли по всей Волге и во всех притоках, кроме — говорили мне — двух каких-то лесных рек выше Рыбинска.

грозное. В только-что выстроенные, еще пустые холерные бараки ночью полетели камни и кого-то, кажется, фельдшерицу, ранили. По вечерам, когда мне приходилось навещать больных на Нижнем базаре, я видал подозрительные кучки народа, замолкавшие при моем приближении и провожавшие угрюмыми взглядами мою соломенную шляпу. Появился грозный приказ губернатора Баранова с обещанием вешать за беспорядки. Кого-то публично выпороли за распространение ложных слухов.

Холера пришла. И чуть ли не с первым случаем пришлось встретиться мне, — не на ярмарке, а в городе, рядом с моей квартирой. То был буфетчик с парохода, только-что прибывшего из Астрахани, перемогавшийся на пароходе и успевший добраться до дому. А потом стало «похватывать», и быстро эпидемия развернулась во всю силу массовыми заболеваниями. Пункты подачи первой помощи стали работать во-всю, и так как все делалось гласно, на виду у всех, и медицинский персонал подобрался тактичный, — толковые студенты и молодые врачи не тащили принудительно в бараки, а, когда можно было, лечили на дому, — настроение сравнительно быстро улеглось, и того, что происходило в низовьях Волги, в Нижнем-Новгороде не повторилось.

Было любопытно наблюдать панику, которая овладела людьми. Слово «холера» не произносилось, — говорили: «она». Людям страшно было самое слово, и, случалось, даже интеллигентные люди спрашивали меня:

— Ну, как она?

И когда меня звали к больному, я уже просто спрашивал:

— Она?

И мне отвечали:

— Должно быть, она.

Были люди, запиравшиеся наглухо по домам, боявшиеся глотнуть воздуха улицы. Были случаи психических заболеваний от этой паники. Помню один случай. Пришла женщина звать к заболевшему мужу: «Несет, раз вырвало, а теперь корежить стало». Купец из Вятской губернии, приехавший на ярмарку за

товаром, лежал на диване с здоровым упитанным лицом, и только глаза дико и испуганно глядели на меня. При моем входе у него начались судороги рук, показавшиеся мне странными, плохой имитацией настоящих холерных судорог. Я схватил его руки, положил вдоль тела и крикнул:

— Не сметь! Лежите смирно...

Судороги прекратились, а купец плаксивым тоном говорил мне:

— Что это, господин доктор? Меня ведет, а вы кричите на меня!

Я просидел полчаса, новые судороги при первом моем окрике прекращались, но после моего ухода снова началась имитация холеры. Пришлось отправить его в психиатрическую лечебницу, где он пролежал около двух месяцев. Я следил за ним, и доктор Кащенко говорил мне, что это был не единственный случай.

Приходили звать к больным вечером, особенно ночью, чтобы люди не видали, чтобы полиция не узнала, чтобы не взяли в барак, не засыпали бы известкой. Общее настроение улеглось, но от страха и страшных рассказов люди медленно освобождались.

Приходит как-то поздним вечером с таинственным видом женщина звать к мужу, содержателю постоялого двора в Канавине, которого забрала «она».

— Возьмите, сколько хотите, только чтобы не узнали. И чтобы этой дезинфекции не было. Сам знаешь, ярмарка, постояльцы разбегутся.

Я долго уговаривал ее подчиниться законному требованию, обещал, что не потащу больного в барак, она выслушала, но ушла и больше не возвращалась. И, конечно, ее постоялый двор продолжал работать.

Повторяю, борьба с холерой в эту эпидемию была поставлена лучше, чем в любом губернском городе, и, тем не менее, я тогда уже понял, насколько всякие угрозы — мелочные стеснительные предписания, принудительное помещение больных в бараки,

самая постройка отдельных, специальных, да еще иногда выкрашенных в особую краску бараков, а не приспособление основных больниц, к которым население привыкло, все эти «известки», скоропалительная и в большинстве случаев бестолковая дезинфекция, обливание керосином, и я не помню, чем еще, привозимых в город огурцов [1] и свежей зелени, — как все это нервировало население, увеличивало панику, заставляло скрывать больных и сводило на-нет самые разумные начинания.

В то время как губернаторские приказы грозили тяжелыми наказаниями за сокрытие холерных заболеваний, холера свободно разгуливала в самых опасных местах, в роде упомянутого постоялого двора. Помню, наделали большого шума заболевания в одной из крупных ярмарочных гостиниц, — вымерла чуть не вся семья содержателя гостиницы. Как раз пришел ко мне старик-повар из этой гостиницы, долго лечившийся у меня зимой от паралича, и на мой вопрос, как это у них в гостинице вдруг оказалось столько заболеваний, — улыбаясь, ответил:

— Какое вдруг! Перво-на-перво прачку схватило, — домой поехала, в деревню, да не доехала. Тоже дворник в одночасье кончился. Мой подручный по кухне здорово захворал-было, но отошел, — крапивой оттерли.

И вот холера работала в низах гостиницы, никому не ведомая, скрываемая, пока не перебралась в верхние этажи.

И начальство долго не знало, что ярмарочные бани стали своего рода лечебным учреждением. Мясник из лавки, здоровенный парень, простодушно рассказывал про способы лечения:

— Как из наших кто заболеет, — сейчас в баню, — банщику трешницу, раскалит, значит, и на полке вениками жарит. А

---

[1] В Нижнем сваливали в овраги облитые керосином огурцы, а знакомый врач признался мне, что они, врачи, у себя в Торжке разрешали продавать огурцы и яблоки, только предварительно обливали их легким раствором сулемы. — Легким, — подчеркнул он. Нужно думать, что в других городах находились столь же старательные и заботливые врачи, принимавшие не менее рациональные меры.

почнет корежить, — не даем, работаем. Его ведет, руки-ноги в одну сторону, а мы оттягиваем в другую, и хозяина отхаживали: так двое отгибали, — здоровенный.

Для меня довольно скоро выяснились особенности тогдашней эпидемии. Бросались в глаза массовые поносы. Как за год перед тем в огромную эпидемию инфлюэнцы, когда заболевали не только люди, но и лошади и кошки, — половина Нижнего кашляла и лихорадила, — так теперь Нижний «несло». И скоро вскрылся другой важный факт, — в этих поносах, не доходивших до судорог и даже до рвоты, — при массовых исследованиях часто находили в той или иной мере холерные бациллы. Было очевидно, что как при инфлюэнце, так и теперь при холере инфекция захватила громадную массу населения и что рядом с резко выраженными, классическими формами было много — думаю, чрезвычайно много — случаев недоразвившейся, так сказать, амбулаторной холеры, переносившейся на ногах.

И второй, в практическом отношении не менее важный, факт. Из наблюдения над большим количеством холерных, прошедших чрез мои руки, я пришел к заключению, что холера сравнительно редко начинается с р а з у и что своевременное лечение гораздо более действительно, чем принято думать. Так называемой «сухой», «молниеносной» холеры за все время эпидемии мне пришлось встретить только два случая, — один — приказчик из знакомого магазина, вернувшийся в шесть часов утра после ночного кутежа и через два часа умерший почти без поноса и рвоты, но с сильнейшими судорогами, и второй — перс, заболевший вечером, которого я ночью застал уже без пульса, похолодевшим.

Обычный, средний темп холерного заболевания был таков: полсутки, иногда сутки понос, характерный для холеры, и потом уже быстро нарастающая слабость, рвота и судороги. Не всегда и своевременное лечение достигало цели, и люди погибали, но у меня осталось впечатление, что лечение, начатое в самом начале поносов, помогало и уже при полной картине болезни чаще, чем я думал на основании литературных данных и пессимистических рассказов старых нижегородских врачей, переживших холеру 1871-72 года. И я убежден, что смертность от холеры гораздо ниже приводимых цифр, так как официальная статистика основывается, главным образом, на данных лечебных учреждений и не учитывает — не может учитывать! — легких случаев, амбулаторной холеры.

Скоро началась моя большая работа «на Песках». По летам во время ярмарки я состоял врачом, — по частному соглашению, — на так называемых «Гребневских песках». Это была узкая, длинная полоса песков, встававшая из Оки после половодья, где выстраивались узкой и длинной полосой балаганы с уральским железом и где сосредоточивалась ярмарочная торговля металлическими изделиями. Каждый завод имел свой балаган, где жили все ярмарочное время служащие со своими семьями, водоливы, сторожа и к которым примыкали грузчики, по нижегородской терминологии «ягутки», которых набиралось на Песках больше двух тысяч. Моя служба начиналась с 15 июля, дня официального открытия ярмарки, и продолжалась до фактического конца ее в сентябре, когда Пески пустели и балаганы разбирались до следующего года.

В этот раз еще в начале июня, как только прибыли на Пески суда с уральским железом, ко мне явился доверенный Кыштымских заводов с просьбой немедленно начать работу на Песках. Холеры в Нижнем еще не было, но в Казани и на Каме она уже была. Грозные слухи все нарастали, и паника в балаганах была огромная. Доверенный рассказал мне, что рабочие собираются уезжать домой на Урал, что отказываются от службы даже старые водоливы, служащие на заводе по 20 лет, что некому стало откачивать воду и что суда, из которых еще не успели выгрузить железо, могут затонуть. Я предупредил доверенного, что отговаривать и убеждать остаться никого не буду, только расскажу рабочим о холере, чего бояться и как предохранить себя от за-

болевания. И поставил свои условия вступления в должность, — чтобы всем ежедневно выдавали горячую мясную пищу, чтобы сделали нары, а не валялись бы люди на сыром песке, и чтобы устроены были баки с кипяченой водой, куда бы вливалось в известной пропорции красное вино для всех, работающих в балагане.

Нечего и говорить, что, в виду огромной опасности для судов, все мои условия доверенным были приняты, — я поехал на Пески. Балаган был полон народа. Явились служащие, водоливы, рабочие, — лица были угрюмые, настроение настороженное. В задних рядах виднелись люди с узлами, с сундуками за плечами, очевидно, собравшиеся итти на пароход. Набрались люди из соседних балаганов. Я сказал маленькую лекцию о том, что такое холера, как она схватывает людей, как нужно жить при ней, чем питаться, чего бояться, — все то, что я перечитал и о чем передумал. Слушали угрюмо. Из задних рядов донесся возглас:

— Чего разговаривать! На пароход опоздаем...

Но постепенно настроение становилось мягче, слушали внимательнее, ближе проталкивались, стали задавать вопросы:

— Что слышно про нее?

Я ответил, что она уже в Казани и перекинулась на Каму. В заключение я сказал в присутствии доверенного об условиях, на которых я вступил в работу — они были тотчас выполнены, — а собравшимся уезжать сказал несколько слов о том, как они должны держаться в пути, чтобы не заболеть. Из толпы выдвинулся старый бородатый водолив, который иногда подлечивался у меня в предшествовавший год.

— Посоветуйте, доктор, скажите по правде, — ехать или оставаться?

Я знал, что пароходы, на которых болели и умирали в пути, были заражены и плохо дезинфицировались, что люди поедут навстречу холере, и был убежден, что лучше оставаться, чем уезжать, но я не хотел брать на себя ответственности за возможные заболевания и неизбежные в будущем упреки и ответил, что ни уговаривать, ни отговаривать не буду, что я все сказал по совести и что пусть они сами решают, ехать или оставаться. Кажется, кое-кто уехал из соседних балаганов, но в Кыштымском балагане все остались, и я видел, как люди снимали с себя узлы и сундучки. И для меня было потом великой радостью, что в этом балагане не было холерных заболеваний.

Меня стали приглашать в другие балаганы, заведующие принимали мои условия, и мне приходилось вести много бесед с рабочими балаганов и с грузчиками.

Мои знакомые пугали меня «ягутками», но все обошлось благополучно. Очень помогла удача лечения скоро начавшихся массовых поносов. Несколько раз так случалось, что обращавшиеся во время моих обходов балаганов за советом благополучно поправлялись, а не обращавшихся больных такими же поносами ночью отвозили в холерный барак. Это быстро разнеслось по Пескам, рабочие сами рассказывали мне об этих случаях, и обращения стали многочисленнее и сразу установилось доверие ко мне и превосходные отношения. Помню, перед 1 августа меня обступила толпа грузчиков и стала советоваться со мной насчет еды в предстоявший успенский пост. Мы стали разбирать возможное постное питание — пришлые грузчики не получали еды из балаганов и кормились сами, — все выходили только огурцы и лук, вобла и квас, сваренный неизвестно из какой воды, и после общего обсуждения решили на этот раз не соблюдать поста и есть скоромное. Я следил, чтобы везде, где приняты были мои условия, выдавалась горячая мясная пища и была кипяченая вода с красным вином, — густой кавказский чихирь — красное вино — покупался бочками и стоил на ярмарке тогда 80 копеек за ведро. Работать было приятно, несмотря на плохие санитарные условия. Пески дали наименьший процент холерных заболеваний сравнительно с другими ярмарочными районами. Быть может, помогла и разбросанность балаганов и отделенность от города и ярмарочного центра.

Много значило, что я был «вольный» доктор, а не «казенный» и присланный специально на холеру, что меня знали и в городе, и на Песках, что я был привычное, как привычна была обычная больница в сравнении с специально выстроенными бараками. В самый разгар холеры у моей жены вышел такой разговор с знакомым крестьянином, отвозившим ее на дачу. После подробных рассказов крестьянина, как доктора и начальство морят людей, жена спросила:

— Ну, вот, вы знаете моего мужа... как вы думаете, — будет он морить людей?

— Ну, вот еще?.. Мы Сергея Яковлевича знаем, — он вольный доктор. Какой ему интерес морить людей? Не казенный...

Мне пришлось рано переехать на ярмарку и работать во-всю. И потому, что я был вольный доктор и другие вольные доктора съехались только с открытием ярмарки, ко мне много обращались. В силу упомянутой паники обращались, главным образом, в сумерки и ночью. Работать приходилось день и ночь; за три с половиной месяца, проведенные мною на ярмарке, — Пески пустели только в сентябре — мне приходилось спать не больше двух-трех часов в сутки.

На следующее лето эпидемия снова вспыхнула, но в гораздо меньших размерах. И интересно отметить, что в городе заболеваний было мало, а на ярмарке чаще всего заболевали купцы и служащие, побоявшиеся приезжать в предшествовавшую ярмарку, — очевидно, население получило иммунитет. Мне показалось, что отдельные заболевания были злее. Единичные случаи холеры наблюдались и на третье лето.

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

У меня всегда были крепкие, здоровые нервы и большая выносливость в работе, но четыре месяца напряженной работы на ярмарке с недостаточным сном не прошли безнаказанно. Я устал, стал плохо спать, когда уже мог спать, а главное — осенью стала

подниматься, правда не высоко, температура, привязался упорный кашель, — я боялся, чтобы не возвратился мой старый туберкулез, и зимой направился в Ниццу. В то время русские врачи меньше знали южный берег Крыма, чем французскую Ривьеру, и потом мне давно хотелось побывать за границей.

То удрученное, подавленное настроение, с которым я выехал из Нижнего, долго продолжалось, пока не глянула мне в глаза около Генуи январская Ривьера с морем, солнцем, с незнакомой мне роскошью цветов, красок и линий. В Ницце я опьянел от окружавшей меня красоты, — от моря, которое я видел в первый раз, от яркого солнца, от синего неба, от зревших зимой апельсинов и лимонов. Я стал не ходить, а бегать, — одышка и кашель скоро прошли, — и чем дальше, тем больше. Я начал ежедневно делать большие прогулки, иногда в 20 и больше километров; исходил Corniche — горную дорогу высоко над морем, ходил пешком в Антиб, в Ментону. А потом бросил Бедекер и насиженные места и пошел в горы, по тропинкам, на глазомер, в маленькие средневековые городки, где улицы под арками, где площади величиной не в очень большую комнату, где дома лепятся по скале друг к дружке, как птичьи гнезда, завтракать в горных глухих деревушках, о которых Бедекер ничего не говорит и куда иностранцы не заходят. И возвращался в Ниццу усталый, переполненный всем, что видел, и спал долгим, мертвым сном.

И все было удачливо в этот раз. Я остановился в дальнем углу Набережной, в маленьком отельчике, где не жило ни одного иностранца и останавливались только приезжавшие за покупками торговцы из окрестностей, да парижане, обладавшие такими же скудными средствами, как и я. Моя комната была маленькая со сводами, — в четырех углах — медальоны, в одном нарисован Петрарка, — а надо мной вместо следующего этажа — бульвар, где в старые времена, когда Ницца была еще итальянской и когда почитали там Петрарку — разгуливали старые ниццары. А в окно глядело совсем близкое море, от которого меня

отделяла только узенькая набережная, где не фланировали иностранцы, не гремели экипажи, а только играли ниццские дети, как играл когда-то на этой набережной маленький рыбацкий мальчик — Гарибальди. Рядом было «шато», — та старая крепость, что когда-то оберегала Ниццу.

На другой же день по приезде портье, сдавший мне комнату, узнавши, что я русский доктор, просил полечить его жену, болевшую рожей. Рожа естественно оканчивалась, но портье был убежден и рассказывал другим жильцам, что я своим лекарством в один день вылечил его жену, чего не могли сделать ниццские врачи. В результате ко мне обратился один из парижан с просьбой полечить его больную печень, но главное — установилась прочная дружба с портье. Когда я через много лет приехал в Ниццу — портье и его жена встретили меня, как старого друга, сбавили мне плату за комнату и оказывали всякие мелкие услуги.

Вся жизнь в Ницце сложилась удачно. Первый, с кем я познакомился в Ницце, был давний русский эмигрант — доктор Эльсниц.[1] Он был привлечен в конце 60-х годов за Полунинскую историю, эмигрировал, долго жил в Швейцарии эмигрантской жизнью, сотрудничал в русских газетах, а в конце концов окончил Парижский университет и после работы сельским врачом в глубине Франции прочно обосновался в Ницце. Эльсниц уже натурализировался, но не забывал, что он русский, и охотно устраивал и лечил интеллигентных русских, приезжавших в Ниццу с малыми средствами, и, практикуя среди русской аристократии, заполнявшей тогда Ривьеру, держался независимо. Долго спустя я прочитал в русских газетах корреспонденцию из Ниццы, как к доктору Эльсницу явился известный предводитель карательных экспедиций генерал Меллер-Закомельский за каким-то медицинским свидетельством и как Эльсниц, услышавши от генерала, что он «тот самый», крикнул: «Вон!» и выгнал победоносного генерала из своей квартиры.

[1] Он давно умер. Теперь в Ницце практикует сын его, известный своими работами по детским болезням.

ДОКТОР Н. А. БЕЛОГОЛОВЫЙ

Скоро я познакомился с давно уже поселившимся за границей доктором Белоголовым. Может быть, потому, что около этого времени в «Вестнике Европы» появился мой рассказ «Гектор», о котором ему что-то писали из редакции, — рассказ из жизни Сибири, которую не забывал сибиряк-Белоголовый, я принят был чрезвычайно радушно. Он был центром, вокруг которого группировались проживавшие тогда в Ницце заметные люди из русской литературы. В этом большого роста серьезном человеке, медлительном в своих речах, всегда правдивых и значительных, было нечто, привлекавшее доверие и уважение к нему. Он был друг и постоянный врач Салтыкова-Щедрина и много рассказывал мне об этом суровом и строгом человеке, приблизил меня для понимания этого исключительного по своему значению русского писателя. Белоголовый пользовался большой известностью в Петербурге, и, кажется, большинство известных представителей петербургской интеллигенции второй половины 60-х и начала 70-х годов, с Некрасовым во главе, были или пациенты, или знакомые его.

Они вместе — трое — окончили Московский университет, — он, Захарьин и Боткин. С Захарьиным они потом разошлись, но с Сергеем Петровичем Боткиным и с его семьей у него оставалась крепкая дружба. Он лечил Боткина, когда тот болел, и, кажется, на его руках Боткин и умер, — я помню рассказ Белоголового, как Боткин только пред смертью согласился с ним, что умирает от сигар, которые много курил и против чего бесплодно восставал Белоголовый.

И в Ницце Белоголовый пользовался огромной популярностью и был один из тех, кто, как и Боткин, подняли высоко престиж русского врача за границей. Он был уже старый, у него была аневризма аорты и, кажется, еще где-то аневризма, и принимал он в день только одного больного, которому отдавал час-полтора времени. Чтобы попасть к Белоголовому, нужно было записы-

ваться за две-за три недели, и к нему записывались не только русские, но и французы и англичане.

Белоголовые были бездетны, и нежная любовь соединяла этого большого, на вид сурового человека и его маленькую жену, которую он называл Софочкой, с той же должно быть лаской, как и в первое время супружества.

Мы уговорились с Белоголовым свидеться в Лозанне, куда он должен был переехать ранней весной. Я ездил из Ниццы в Италию и Швейцарию и, когда отправился пешком кругом Женевского озера по дороге в Париж, остановился на день в Лозанне. Белоголовый познакомил меня с Ал. Ал. Герценом, профессором Лозаннского университета,—сыном А. И. Герцена. Нужно знать, как мы, тогдашние люди, относились к А. И. Герцену, чтобы понять ту жадность, с какой я стремился встретить следы его жизни, увидеть какую-либо памятку от его близких, от его сына. К сожалению, Белоголовый должен был уезжать из Лозанны, а один я совестился отнимать время у занятого человека, но памятку я все-таки получил. Ал. Ал. предоставил мне большой альбом писем к А. И. Герцену разных крупных людей Европы. Я, хотя и наспех, успел прочитать несколько интересных писем, и в памяти у меня остались находившиеся рядом два письма к Герцену, — короткое, простое, лаконичное, но и сердечное письмо Гарибальди и напыщенное с элоквенцией письмо Виктора Гюго, где все было: «вы, как и я», «я, как и вы» и где было больше «я», чем «вы».

ПЕТР ДМ. БОБОРЫКИН

При первом же свидании Белоголовый пригласил меня участвовать в еженедельных коллективных обедах. Обеды устраивались в том же русском пансионе, где жили Белоголовые. Число обедающих было ограничено, и всегда являлись одни и те же лица: кроме доктора Эльсница, П. Дм. Боборыкин с женой, М. М. Ковалевский, редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский с Варв. Ал. Морозовой и старик, давний знакомый Белоголового, не помню, имевший ли какое-либо отношение к литературе.

С Боборыкиным я встречался первый раз, и, помню, пред обедом Белоголовый предупредил меня:

— Пожалуйста, С. Я., не очень спорьте с Боборыкиным...

И на мой недоумевающий вопрос добавил:

— Он вспыхивает, как порох, и становится невменяемым.

А жена, Софья Петровна, добавила:

— Кричит... Красные пятна пойдут по лицу.

На этот раз обед прошел благополучно, но я потом часто вспоминал предупреждение Белоголовых. Боборыкин и действительно вспыхивал, как порох, когда встречал резкое противоречие или когда дело касалось так или иначе его литературной деятельности. Долго спустя М. М. Ковалевский, смеясь, рассказывал мне бурную сцену за столом во время обеда у него на вилле в Болье. Приезжие из России литературные люди рассказывали за обедом, что они заезжали в Базель навестить места, где жил и работал Ницше, и, очевидно, много говорили о Ницше, — и вдруг присутствовавший за обедом Боборыкин вскочил и разразился гневной тирадой, что вот русские люди разыскивают по заграницам следы жизни иностранных людей, а его, Боборыкина, произведений, наверное, не читают.

Как-то раз он зазвал меня к себе. Я пришел около 12 часов, когда он только что окончил свою утреннюю работу и, довольный и веселый, указал мне на груду исписанных листов. Очевидно, он знал, что я что-то пописывал.

— Вот вы, молодые писатели, все только маленькие рассказы пишете, кусочки жизни берете... Так нельзя, — нужны широкие полотна... — И прибавил: — Вот я, — вы знаете, как я работаю? Когда я задумал вещь, — кладу полстопы бумаги и пишу: «Роман или повесть», часть первая, глава первая...

Я обещал Боборыкину непременно попробовать так же сделать.

П. Д. Боборыкин пришелся не ко двору в русской литературе. Его время, начиная с 60-х годов, когда он начал писать, было время ломки всех сторон русской жизни, русская литература была полна гнева и скорби, зовов к новой жизни, была полна великих проблем русской души и русской жизни, а Боборыкин был бытописатель, чуждый скорби, того, чем болела литературная русская душа. Он был европеец. Не только потому, что долго жил за границей, не только по своим привычкам и навыкам, — как Золя, он ежедневно аккуратно писал по утрам, с 10 часов до 12 часов, — но и в значительной мере по своей психологии. И у него была одна черта, определявшая всю его литературную физиономию, неодолимая тяга к новому, к уловлению только что зарождающегося. Он был во власти этого нового и стремился с фотографической точностью поскорее зафиксировать все новое, и в этой поспешной работе по необходимости было больше фотографий, чем портретной живописи.

На вечере в Москве хозяйка при мне полушутя, полусерьезно предупредила молодежь:

— Смотрите, сегодня будет Боборыкин, — он вас опишет!

И он описывал, иногда и списывал. В одном из романов он описывал, как в губернский город привозят ребенка-девочку, чтобы отдать в дети местному бездетному доктору. Все было описано так по-Боборыкински точно, и город, и улица, и доктор, — что мы все, нижегородцы, узнали, что говорится о Нижнем-Новгороде. Тогда же в Ницце приходит ко мне В. М. Соболевский, взволнованный и расстроенный, что редко случалось с выдержанным, дисциплинированным человеком.

— Представьте, какую сцену мне устроил сейчас Боборыкин! Напустился на меня, — что вы в ваших «Русских ведомостях» все с мужиком возитесь? Мы тоже имеем право на общественное внимание! И пошел и пошел... Разозлился, кричит, слюной брызжет...

А несколько лет спустя, —скоро после первой революции 1905 года, — я вместе с тем же Соболевским опять встретился у ниццского доктора Вальтера с Боборыкиным. Он был в восторге от революции, от общей забастовки и с торжеством обратился ко мне по поводу нескольких моих замечаний, не очень оптимистических:

— Ну, вот, вы все раздумываете, сомневаетесь, сидите по углам...

Ни я, ни мои друзья не сидели тогда по углам, но мне было весело наблюдать тогдашнее настроение Боборыкина, и я, смеясь, ответил:

— Ну, Петр Дмитриевич, где же нам угоняться за вами! Вы ведь крайний левый...

Боборыкин был очень доволен и, повидимому, всерьез принял мою реплику...

И все-таки к Боборыкину было не совсем справедливое отношение со стороны критики и читающей публики. Насмешливое «Пьер Бобо» преследовало его всю жизнь. Он был широко образованный человек, с большой и разносторонней эрудицией в области литературы, театра, искусства вообще. И он был настоящий литератор, — только литература занимала всю жизнь его ум и сердце. Экспансивный человек, он был искренен и тогда, когда ругал Соболевского за преизбыточность мужика в «Русских ведомостях» и когда восхищался революцией, освобождавшей мужика не только от самодержавия, но до известной степени и от «нас». И будущий исследователь минувшей русской жизни обратится к изучению многочисленных томов Боборыкина, где он в широких полотнах, так редких у русских писателей, тщательно и добросовестно, с пылу-жару заносил все то новое, что совершалось в русском «обществе» за долгую жизнь Боборыкина.

Мне не один раз приходилось в моих воспоминаниях отмечать, как русские писатели и ученые не успевали в полной мере использовать себя, потому что были слишком русские, потому что погружались в русскую жизнь целиком, — Боборыкин, наоборот, слишком оевропеился и не мог попасть в тон русской литературы. Но зато использовал себя во-всю, до конца.

МАКСИМ МАКСИМОВИЧ КОВАЛЕВСКИЙ

Н. К. Михайловский дал мне поручение, — просить Ковалевского рекомендовать корреспондента из Англии для «Русского богатства». — Дионео тогда еще не сотрудничал в журнале. Ковалевский долго перебирал своих английских знакомых и остановился на дочери Карла Маркса — Эвелине. М. М. бывал в Лондоне у Карла Маркса [1] и, повидимому, сохранил близкие связи с его семьей. Он хвалил дочь Маркса, говорил, что муж ее интеллигентный англичанин, что вдвоем они, вероятно, могли бы посылать интересные обозрения английской жизни. Я просил написать в Англию, какие и о чем желательны корреспонденции для русской публики. Соглашение состоялось, и дочь Маркса прислала одну или две корреспонденции, но и она и ее муж не могли учесть, что нужно и интересно для такого журнала, как «Русское богатство», и дальнейшее сотрудничество прекратилось.

Отношения мои с Ковалевским скоро установились простые и дружественные. В первое время он пробовал зондировать меня и обхаживать хитроумными подходами. В одно из первых наших свиданий — мы сидели вдвоем — он сделал глубокомысленное лицо и начал расспрашивать меня о программе, о целях и ближайших задачах нас, людей, группировавшихся около Михайловского и «Русского богатства», подсказывая мне хитрые реплики: «Вы, конечно, думаете, что будет то-то и то-то», «Вы, конечно, в случае»...

В своих долгих скитаниях за границей, с редкими и короткими наездами в Россию, он в значительной мере утратил чувство русской действительности и собирался «выпытать» меня, свежего человека из России.

[1] Ковалевский рассказывал мне, что Маркс очень интересовался Россией, — положением крестьянства, расспрашивал его о Михайловском и о главнейших течениях мысли русской интеллигенции. Между прочим, Максим Максимович с своей лукавой улыбкой рассказывал, что в кабинете Маркса стоял бюст Зевса Олимпийского, имевшего некоторое сходство с головой Маркса, что Маркс знал это и во время разговора частенько поглядывал на Зевса.

Была наивность во всех его экивоках, я смотрел ему в глаза и выговорил:

— Вы не рассердитесь, Максим Максимович. Вы — лукавый хохол...

Огромное тело Ковалевского затряслось от хохота, он долго не мог говорить, и больше никогда не делал он мне напряженно серьезного лица, и стали говорить мы без экивоков о том, что он думает и что мы думаем.

Изредка он подлечивался у меня, лечил я одно время и его, по тогдашней терминологии, гражданскую жену, — итальянку, с которой он жил долгие годы, они жили тогда отдельно, — и путешествия в Болье стали моей любимой прогулкой. Я заставлял его ходить пешком, разгуливать его тучное тело, и мы ходили по окрестностям Болье, сходили мы с ним в рулетку в Монте-Карло. Раза два я ночевал у него. При содействии слуги Ковалевского Франсуа я познакомился с итальянскими рыбаками и ездил с ними ночью ловить рыбу в Средиземное море.

Огромного роста, тучный, с большой головой, с характерным, благодаря шраму, оставшемуся после операции заячьей губы, умным лицом, Ковалевский был заметен во всякой толпе, импонировал своей наружностью. Он был барин, большой барин. Сын генерала, бывшего комендантом Парижа в 1813 году, богатый, — у него было крупное имение в Харьковской губернии, — независимый от службы, от обязательного дела, он по-барски устроил свою жизнь. У него была вилла в Болье, — одном из лучших и наиболее дорогих местечек около Ниццы, — куда он возвращался после скитаний по Европе и Америке. Его встречал, державший все в порядке, неизменный дворник, лакей, домоправитель упомянутый выше Франсуа, живший с Максимом Максимовичем долгие годы, любезно принимавший всех интимных друзей Максима Максимовича и особенно благоволивший к Боборыкину.

Вилла была полной чашей. Ковалевский был гостеприимен, и у него не переводились гости. Бывали люди разных мастей, лишь бы были прикосновенны к науке, искусству или литературе. И не только русские. [1] У него были обширные знакомства с английскими, французскими и итальянскими учеными — с немцами у него как-то не склеилось, и эти ученые, если бывали на Ривьере, обязательно навещали Ковалевского. Одно время у него довольно долго жил Карл Фогт, и Максим Максимович показывал мне довольно аляповатые рисунки на стене, сделанные Фогтом на память своей жизни на вилле.

Ковалевский был лакомка жизни. Широко пользовался жизнью и ревниво оберегал свою свободу, не связывая себя никакими узами, которые бы ограничивали эту свободу. Этим объясняется, по рассказам его друзей, что он не женился на знаменитой по уму и талантливости русской женщине, которая любила его. — Испугался семейной жизни, ушел от связанности.

Ковалевский был барин, но не на русский барский лад. Он был ученый, человек мысли. Крупный ученый не только по широте захвата его научной мысли, но и по напряженности и долгой непрерываемости этой мысли. Научная работа была главным содержанием его жизни, научные исследования были самым лакомым блюдом его жизни. Когда он возвращался из поездок на свою виллу, начиналась систематическая работа изо дня в день. Каждое утро к нему являлся секретарь, которому он,

[1] Более или менее заметных русских людей, подолгу живавших за границей, он, кажется, всех знал. Вел постоянное знакомство с Лавровым, знал и помнил Тургенева. Однажды он рассказал мне, как познакомился у Тургенева с молодым Мопассаном. Мопассан пришел вместе с другим литератором посоветоваться на счет газеты, которую мопассановский кружок собирался издавать. Мопассан говорил любезности, что после смерти дяди его Флобера, так почитавшего Тургенева, он, Тургенев, для него cher maître

— Каких же принципов будет держаться ваша газета? — поинтересовался Тургенев.

— Pas de principes, — ответил Мопассан.

часто лежа на диване, диктовал свою очередную работу, а вечером читал документы, готовился к следующему утру. И его поездки были работой в английских, итальянских, французских библиотеках и встречами с иностранными учеными, работавшими в смежных областях.

Или лекции. У Ковалевского была неутомимая жажда действенного проникновения научной мысли в жизнь. Рано оторванный от профессорской кафедры в России, он всю жизнь стремился к кафедре, читал лекции в Стокгольме, в Брюссельском вольном университете, в Английском университете, в Америке. Эта же тяга к продвижению науки в жизнь привела его к устройству Русской высшей школы в Париже.

Я приехал тогда на Парижскую всемирную выставку, и Ковалевский привлек меня к участию в организации этой высшей школы. Он был постоянно окружен учеными и кое с кем познакомил меня, — с парижским профессором Метеном и с канадским профессором политической экономии, — фамилию я забыл, — который принимал деятельное участие в устройстве в Канаде русских духоборов, незадолго перед тем переселившихся из Кавказа в Канаду. Из русских профессоров были Мечников, А. И. Чупров, Гамбаров. Ковалевский привлек кое-кого из эмигрантов. Лекции при мне начались, я прослушал лекцию Гамбарова, солидную, чисто университетскую лекцию. Слушателей было довольно много, все больше молодежь.

Как-то на вопрос Ковалевского я высказал сомнение, чтобы школа при случайности состава лекторов и слушателей могла давать систематическое высшее образование и чтобы школа окрепла и укоренилась, — Максим Максимович ответил мне:

— Из России все больше бегут. Количество эмигрантов, русской молодежи, все увеличивается. Многие языков не знают, а им нужно знание. Пусть они потом делают революцию, но пусть сначала вооружатся знаниями по общественным наукам, — пусть сделают революцию умелыми руками. — И он много положил труда и энергии в организацию этой школы, и я имею

основания думать, что расходы на устройство школы шли, главным образом, из его кармана.

Ковалевский был не политический деятель, а только ученый, человек научной мысли, и газета, которую он основал во время I Гос. думы, и его деятельность в Гос. думе и в Гос. совете были по существу недоразумением и ничего не прибавили к его большому, почтенному, европейски известному имени. Как я уже говорил, во время своей долгой заграничной жизни он в значительной мере утратил чувство русской действительности, не углублялся во всю остроту и сложность социальной проблемы в России, и потом за ним не стояла значительная и организованная группа политических деятелей. Он от всего сердца приветствовал революцию 1905 года, но мне думается, что главная положительная часть его программы состояла в парламентаризме, в необходимости широкого распространения знаний, — в политическом благоустройстве России.

М. М. Ковалевский был привлекательный, добрый, мягкий и широко терпимый человек. Я часто видался с ним в Петербурге во время его деятельности в Гос. совете, — он вечно был завален всякими просьбами о ходатайствах, и я не помню случая, чтобы он когда-либо отказывался. И мне пришлось обратиться к нему. Петербургская судебная палата присудила меня за брошюру «Земля и свобода» к заключению на год в крепости. Прошло три или четыре месяца, — меня все не сажали.[1] Неопределенность томила меня, нельзя было ни уехать, ни начинать никакой работы, и мне хотелось выйти из крепости летом, чтобы в случае хвори застать в Крыму солнце и тепло. Я просил Ковалевского похлопотать, чтобы меня немедленно посадили — дело было осенью, — и непременно в Петропавловскую крепость, где было тихо, удобно заниматься и где девять месяцев считалось за год. М. М. немедленно поехал к тогдашнему министру Щегловитову и даже дал своего рода взятку. Он рассказал мне потом, что Щегловитов в ряде любезных слов, обращенных к Ковалевскому, вскользь заметил, что очень интересуется последними работами Максима Максимовича, но, к сожалению, не может достать. Ковалевский тотчас же отправил ему свои сочинения. Ходатайство было немедленно удовлетворено, через два дня я уже сидел в Петропавловской крепости, где Ковалевский навещал меня.

[1] Повидимому, в этой оттяжке отбытия наказания у правительства была какая-то система. В. Г. Короленко, присужденный как редактор к высидке на две недели за мою статью в «Русском богатстве», «Люди нашего круга», так и не отбывал наказания.

Помню последнее свидание. Ковалевский был усталый, имел болезненный вид и пожаловался мне на сердце. Я через два дня должен был уехать из Петербурга, мне не хотелось начинать лечение, и я посоветовал ему обратиться к профессору Сиротинину, обещав предупредить Сиротинина.

Максим Максимович только через полгода собрался пойти к Сиротинину, когда сердце его стало совсем плохо.

Ближе всего я сошелся в Ницце с В. М. Соболевским. Я был знаком с ним и в Москве по моему сотрудничеству в «Русских ведомостях», но в Ницце наши отношения стали ближе и крепче и перешли в дружбу, продолжавшуюся до его смерти. Впоследствии, когда я приезжал в Москву, я останавливался у него. Он был приятель Н. К. Михайловского и Глеба Успенского, которые, случалось, подолгу гостили у него. Мне особенно нравился этот несколько сумрачный, застенчивый человек с оригинальным мышлением и высоким чувством чести, которое не особенно обильно развито в русских душах. Он увлекся моими пешеходными экскурсиями, — он также не любил обычных дорог с снующими экипажами, фланирующей международной толпой и предпочитал тропинки, глухие места, горные деревушки.[1]

[1] Я дал характеристику Соболевского в моих «Литературных воспоминаниях».

ЧЕРЕЗ ИТАЛИЮ И ШВЕЙЦАРИЮ В ПАРИЖ

Я перебывал впоследствии во всех столицах Европы, и ни один город не производил на меня такого впечатления, как Рим.

Все давнее, давно знакомое, с юношеских лет, — и Форум, и Термы, и сады Саллюстия, мимо которых я часто проходил. Казалось, я когда-то был здесь и все это видел и теперь только вспоминаю.

Все это создавало какую-то уютность Рима, что-то близкое, почти родное, что дает себя чувствовать в Италии, как дома, в родной стране.

Я записался членом на происходившем тогда в Риме международном медицинском конгрессе, но мало отдавал ему времени, и, пожалуй, самым ярким пятном от этого съезда осталась фигурка скромного старичка небольшого роста, мне показалось с русским обличьем, проходившим между двумя рядами почтительно расступившихся врачей, и шопота кругом меня: «Вирхов! Вирхов!».

После шумной городской жизни Ниццы, Рима, промелькнувших Неаполя и Флоренции я погрузился в тихую жизнь швейцарской деревни. Сравнительно глухой деревни. Кантон Во считался отсталым, консервативным, ультракатолическим кантоном. Деревня, в которой я поселился, была вне основной железнодорожной магистрали, и маленькие поезда, тихонько посвистывая, не часто будили деревенскую тишину.

Я устроился там благодаря рекомендации моего доброго знакомого, учителя французского языка в Нижегородском институте. Он был крестьянин из той же деревни и дал мне письмо к своему брату, содержавшему маленькую деревенскую гостиницу, где я и поселился. Скоро я познакомился с деревенскими жителями, и, — должно быть, нижегородский брат расхвалил меня как врача, — кое-кто стал лечиться у меня, приносили больных детей.

Здесь я познакомился с постановкой деревенской медицины

в Швейцарии, по крайней мере в этом кантоне. Общественной организации медицины в нашем земском смысле там не было. В деревне было около двух тысяч жителей. Раз в две недели приезжал врач производить оспопрививание, два раза в неделю приезжал из города доктор и лечил больных за плату один франк за прием в амбулатории и два франка за посещение на дому. Повидимому, ничего похожего на бывшую нашу земскую организацию в лучших, как Московское и Тверское, земствах, стремившуюся обнять и удовлетворить бесплатно все нужды населения, от санитарии до лечебной части — тогда в кантоне Во не было.

И удивлял меня престиж, которым тогда пользовался русский врач. Я не говорю уже о русских. В Риме мне пришлось неделю ежедневно консультировать — я отказался лечить один — с известным в Риме профессором Макиафафа [1] в богатой московской семье, которая ничего не знала обо мне как враче, кроме того, что я русский врач, несмотря на то, что Макиафафа несколько лет был в этой семье годовым врачом. В Риме же мне пришлось лечить в семье римского архитектора, у которого одно время я снимал комнату, и всегда на вопрос, почему ко мне обращаются, был один ответ: «Потому что вы русский врач»...

Тихо и мирно было в долине Роны. Мелодично разносился «Ангелюс». Не спеша копался швейцарец в своем поле, пилил дрова на своей маленькой домашней водяной мельнице. По воскресеньям мы ходили в церковь, а после шли играть в кегли и пить кисленькое швейцарское вино, за которое платили проигравшие. Бывали и сенсации. Приезжали в деревню два экстренных проповедника и собирали обывателей в церковь. Один был адвокатом бога, а другой защитником дьявола, и они сражались на поучение деревенских жителей. Адвокат бога побеждал, но добродетельные деревенские люди, выходя из церкви,

---

[1] Кажется, тогда он был директором университетской терапевтической клиники.

обменивались благодушными замечаниями, что все-таки другой адвокат недурно защищал дьявола.

Перед отъездом из Ниццы за обедом у Эльсница я познакомился с его друзьями по эмигрантской жизни в Швейцарии — коммунаром Лефрансэ и его женой. Лефрансэ был чем-то в роде министра финансов во время Парижской Коммуны, успел после разгрома спастись от расстрела и скрыться — в Англию. Долго там бедствовал, за неимением пристанища, дремал, закрывшись газетой, в ночных кабаках, пока не перебрался в Швейцарию, где встретился и близко сошелся с русской эмиграцией. Мы обменялись за обедом несколькими словами, и я удивился, что после обеда он отвел меня в сторону и очень любезно сказал:

— Я слышал, что будете в Париже... Вот мой адрес, — пожалуйста, навестите меня. Буду очень рад.

Когда я приехал в Париж, я помнил приглашение Лефрансэ, но думал, что это обычная французская любезность, и не собирался итти. И велико было мое удивление, когда чрез несколько дней я получил записку от Лефрансэ, очевидно, от кого-то из общих знакомых узнавшего о моем приезде, где он настойчиво просил навестить, и было прибавлено, что он болен и желал бы посоветоваться со мной.

Я тотчас же отправился к нему. Лефрансэ жил бедно — комната была плохо обставлена мебелью, на всем лежала печать более чем скромной жизни. Меня удивило, что передний угол завешен фотографическими карточками русских, и первый, кого я узнал, был Дм. Ал. Клеменц. На мой удивленный вопрос Лефрансэ пояснил, что это его товарищи-русские, с которыми он сжился в Швейцарии, и что Клеменца он особенно любил.

Когда я выразил искреннее удивление, что он, француз, житель Парижа, где так блестяще поставлена медицина, обращается ко мне, которого, как врача, он совсем не знает, — он ответил той же фразой:

— Потому что вы русский врач...

И начал было объяснять, что он не верит больше во французов, давно потерял веру во французов вообще, и начал было объяснять, почему разочаровался в своих соотечественниках, но потом махнул рукой и сказал:

— Об этом долго рассказывать. Когда-нибудь побеседуем...

Положение его было тяжелое. У него был далеко продвинувшийся склероз, гипертрофированное сердце работало плохо, появились отеки ног. Пребывание в Ницце ничего не сделало. Я прописал ему adonis vernalis, который тогда редко прописывали французские врачи, установил режим. Через неделю Лефрансэ стало немного лучше, — убавились отеки, одышка, и Лефрансэ сообщил мне:

— Вот вы не хотели лечить меня, а мне стало лучше.

Я прожил тогда в Париже только около двух недель. Меня уже потянуло домой, и, остановившись только на день в Вене, я проехал в Петербург. На границе меня тщательно обыскали, — я долго недоумевал о причине, пока не попал в департамент полиции и не узнал там, как широко поставлена была русская шпионская организация в Париже. Директор департамента принял меня любезно, сказал, что разрешить мне жительство в Петербурге, о чем я пришел хлопотать, еще рано, но чрез полгодика можно будет снова ходатайствовать. И, провожая меня, остановился в дверях и участливым тоном выговорил:

— Вот вы в Париже вращались в обществе эмигрантов. Помните, ходили вы осматривать Лувр? — Он перечислил всех, с кем я ходил — кажется, был Эртель, — и, помните, в отделении картин вы уединились с Егором Егоровичем Лазаревым и долго беседовали у окна.

Я приехал в Нижний-Новгород и прожил там еще четыре года. Работы было много. Долго я служил городским амбулаторным врачом, приходилось принимать ежедневно около ста человек, прием на дому, Вдовий дом, работа по Обществу вспоможения частн. служ. труда, частная практика, — все это отнимало целый день. Иногда удавалось приехать обедать в 10 —

11 часов вечера, а во время эпидемий два-три раза выезжать ночью. Одно время это стало делаться так часто, что я возбудил среди врачей вопрос об организации ночных дежурств врачей. Дело устроилось как раз в моей амбулатории, но не сняло целиком с врачей ночные выезды, — люди продолжали звонить у подъездов врачей, которые не оборонялись фразой: «дома нет». Большинству больных хотелось вызвать своего врача, к которому привыкли, которому верили.

Писать приходилось редко. Редко выпадали передышки, когда можно было отдохнуть от больных, запереться в кабинет и писать. А к письменному столу тянуло; тянуло в центр, в Петербург, поближе к «Русскому богатству», большому кораблю, к которому я привязал свою лодочку.

Разрешение на переезд в Петербург было, наконец, получено, и я стал собираться в путь.

VII

ПЕТЕРБУРГ — ЯЛТА

В 1897 году я покинул Нижний-Новгород с намерением прочно устроиться в Петербурге, оставить медицинскую деятельность и заняться исключительно литературой. Разрешение на въезд в столицы у меня уже было.

Я устал от медицинской работы, в особенности от сутолоки Нижегородской выставки, и решил два осенних месяца прожить в Ялте.

Выехать пришлось поспешно, ранее назначенного срока. А. И. Иванчин-Писарев прислал из Петербурга телеграмму, где извещал о тяжелом заболевании Ник. Конст. Михайловского и просил проводить его в Ялту, — Иванчин-Писарев знал, что я собираюсь в Крым. Мне так дорог был Михайловский, что я в три дня кое-как ликвидировал свои дела в Нижнем-Новгороде и отправился с женой в Ялту.

Николай Константинович Михайловский выехал из Петербурга раньше, чем я предполагал. Я не успел, как надеялся, присоединиться к нему в Москве и застал его в Ялте уже устроившимся. Он поселился в чудесном месте, на маленькой дачке бывшей Желтышева у самого моря. Иванчин-Писарев рассказал мне, что Михайловский слишком много работал за последний год, что у него начались головокружения и обмороки, два раза он падал на улице без сознанья. Я собрал консилиум, мы назначили лечение, установили режим, за которым я стал наблюдать. Виделись мы почти ежедневно.

Николай Константинович был в Ялте не петербургский Михайловский — строгий, застегнутый, настороженный, казалось мне, всегда готовящийся отразить возможный удар, — в Ялте он был доверчивый, мягкий, деликатный, я бы сказал, отдыхающий от необходимости отражать и наносить удары.

К счастью, дело быстро пошло на улучшение, урегулировалась деятельность сердца, прекратились головокружения. Постепенно мы начали вместе совершать прогулки, и я помню его великую радость, когда через месяц отдыха он прошел со мной без отдышки и сердцебиения до Олеиза — около 12 верст, — он, ходивший в Петербурге пешком только с своей Спасской улицы в Басков переулок, в близкую редакцию «Русского богатства». В Ялте он не работал, отдыхал глубоким отдыхом и не было у него поводов волноваться. Кроме меня его навещал П. П. Кощенко, мой двоюродный брат, Розанов, кое-кто из местной интеллигенции, люди, относившиеся к Михайловскому с глубоким уважением. В Олеиз мы ходили в гости к Марии Ивановне Водовозовой, тесно связанной с тогдашним марксистским движением и занимавшейся издательством-переводами немецкой социал-демократической литературы, к другу-врагу, как шутя определяли мы наши взаимоотношения.

В Ялте завязались близкие сердечные отношения у меня с Михайловским, и с тех пор я стал его постоянным врачом, когда живал в Петербурге. Через два месяца, почти одновременно с Михайловским и Иванчин-Писаревым, я выехал в Петербург.

Я не успел глубоко войти в петербургскую жизнь, но так сказать внешний облик тогдашнего Петербурга остался у меня в памяти. По зимам мне и раньше приходилось бывать в Петербурге. 90-е годы были временем шумной и яркой борьбы марксизма, почувствовавшего свою силу в нараставшем рабочем движении, с народничеством, отстаивавшим свою идеологическую позицию. Борьба шла на страницах журналов, среди рабочих, в стенах высших учебных заведений, на всяких собраниях и вечеринках. Одно время до известной степени центром, где скрещивались шпаги, было Вольно-экономическое общество. Там бывали знаменитые субботы, когда в переполненном молодежью зале выступали и народники, и тогдашние, так сказать, официальные представители марксизма Струве и Туган-Барановский. Борьба постепенно принимала все более и более острые формы и, случалось, переходила в нападки личного характера.

В России не было преемственности идей в западно-европейском смысле, и нигде не было «отцов и детей», разделенных такими глубокими оврагами, как в России. С 60-х годов начала устанавливаться некоторая преемственность идей, но все продолжали существовать глубоко разделенные «отцы и «дети», и дети были все те же русские дети, — озорные, непочтительные к отцам, с энтузиазмом новой веры, новой, открытой ими истины.

Помню, кажется, в ту же зиму готовился литературный вечер в зале Тенишевского училища, где должен был выступать Н. К. Михайловский. Прошли слухи, что марксистская молодежь собирается на вечере освистать Михайловского. Слухи настолько упорные, что друзья предупредили Михайловского, чтобы уберечь его от личного оскорбления. Михайловский все-таки пошел на вечер. Марксистов собралось очень много, но были ли слухи преувеличены или уважение к деятельности Михайловского и его личности взяло верх у молодежи, — вместо свиста вышла такая грандиозная демонстрация чествования Н. К., какой я еще не видал. И мы, друзья его, с чувством глубокого удовлетворения наблюдали, как молодежь тесными рядами, с бурными аплодисментами провожала Михайловского по лестнице вплоть до раздевальной.

А рядом шла борьба литературно-художественных течений, борьба старых традиций со всем тем многообразным, что включалось тогда в слово «декадентство», — по существу борьба между «что» и «как».

Тогдашний Петербург был модный, оживленный, шумный, ушедший от подавленного настроения конца 80-х годов. Все это — и проснувшееся рабочее движение, и новое пробуждение

молодежи 90-х годов, оживление университетской жизни и споры марксистов с народниками, и новые художественные веяния — создавали впечатление большой, деятельной, по крайней мере, шумной духовной жизни. С улицы это переходило в дома и семьи, на вечера, где собирались кружки петербургских людей.

Началось новое царствование. Вместо толстого, неумного, но упрямого Сидора Карпыча, как определил его В. С. Лебедев в передовой статье органа «Народной воли», сразу взявшего определенный курс и проводившего его все царствование Александра III, на престол вошел маленький, шаткий человек, с каким-то надломом внутри, «византиец», как определил его Куропаткин моему знакомому писателю Гарину-Михайловскому. С высоты престола глянуло нечто неопределенное, некрепкое, не внушавшее уважения и веры в крепость власти. Когда публика смотрела в театре царя Федора Ивановича, каким-то общим соглашением в первые же годы царствования она окрестила этим именем нового царя. И быстро распространилось в публике предсказание какой-то предсказательницы о новом царствовании: Михаилом началось, Михаилом и кончится».

Начались закулисные влияния. Стали проникать в царский дворец неведомые люди, случалось, авантюристы, случалось, дикие, полоумные люди, пока не овладел царем и царицей и государственными делами Григорий Распутин. Уходил старый, снаружи строгий чин, начиналось бесчинство. Помню, возвратившийся в первые же годы нового царствования из поездки в Петербург Н. А. Хомяков так формулировал моим знакомым свои петербургские впечатления:

— Самодержавия в России больше нет...

Начал новый царь своей знаменитой фразой о «бессмысленных мечтаниях», началось его царствование «Ходынкой», сотнями трупов людей, пришедших порадоваться на коронование нового царя, Ходынкой, громким эхом отозвавшейся во всей России, по поводу которой нижегородский обыватель из низов, далекий от политики, говорил мне:

— Неладно началось, неладно и кончится...

Что-то треснуло, пошатнулось, подломилось в царской власти. И в первое время все те же оставались вожди, как при Александре III: и Победоносцев, и Витте, и Плеве — и та же продолжалась дикая реакция, и тем не менее люди как-то быстро почувствовали, что власть не крепка и не прочна.

Повторяю, тогдашний Петербург был шумный и людный. Люди бежали на всякий огонек, — в Вольно-экономическое общество, на литературные вечера, на студенческие вечеринки.

И в частных домах как-то стало шумнее и оживленнее. Самыми шумными и интересными вечерами были день рождения и именины Н. К. Михайловского — 14 ноября и 6 декабря. Публика начинала приходить с 11 утра, а когда расходилась ночью — я не знаю, так как никогда не досиживал до конца. Хозяйки не было, хозяйничали два сына Михайловского и дамы-гостьи. Гости сами угощали себя всем тем обильным, что готовилось для этих дней. Публика приходила и уходила, маленькая квартира в 4-5 комнат была переполнена народом, Николай Константинович среди дня уходил в спальню на час, на два отдохнуть от сутолоки, — публика оставалась.

Разнообразная публика. Много бывало молодежи. Являлись депутации от студенческих и курсистских кружков. Приходили старые шестидесятники и семидесятники, товарищи молодости Михайловского, приезжали люди из провинции нарочно к этим дням, чтобы приветствовать Н. К. и увидеть «весь Петербург». В дальней комнате звенел оркестр студентов балалаечников и мандолинистов. Там собирались товарищи сыновей Михайловского, в числе которых бывал молодой Качалов, уже тогда намечавший себе вместе с Николаем Михайловским и Гайдебуровым артистический путь. В столовой и кабинете собирались группами знакомые и малознакомые люди.

И в самое людное время начинался бой между Мякотиным и Милюковым, как представителями двух разных течений, обще-

ственной мысли. Бой был всегда яростный. Тогда балалайки замолкали, старые и молодые тесным кольцом окружали спорящих. Вмешивались окружающие, подходил Михайловский, и, не вмешиваясь в спор, время от времени подавал реплики, подбадривавшие споривших и выпрямлявшие спор.

Не менее людными и еще более разнообразными по составу были вечера у Марии Валентиновны Ватсон. На вечерах у Михайловского публика все-таки подбиралась более однотонная, — у М. В. Ватсон бывал именно «весь Петербург»: профессора, литераторы, кроме непотребных, люди разных общественных течений мысли, кроме бесчестных. За нашим столиком собирались мы, сотрудники «Русского богатства», с Н. К. Михайловским и Н. Ф. Анненским, а за соседним столиком, окруженный дамами, сидел Владимир Соловьев с своим апостольским лицом. Случались и там горячие споры, в которых принимали участие и Михайловский, и Анненский.

Такие же вечера бывали и у Э. К. Пименовой, по составу более близкие к «Русскому богатству».

Много народу группировалось около «Русского богатства». Оно никогда не было партийным органом и всегда было органом направления. Как таковой, журнал охотно помещал статьи эсеров и эсдеков, раз они не противоречили общему основному революционно-народническому направлению журнала. Под вымышленными фамилиями печатались статьи и нелегальных людей, статьи эмигрантов, таких как Шишко, П. Л. Лавров, Русанов.

В первое время журналу приходилось туго. Авторитет, благодаря имени Михайловского, получился быстро, но денег не было. Из маленького журнальчика Оболенского и Станюковича «Русское богатство» стало толстым журналом, но началось без денег. Иванчину-Писареву, имевшему обширное знакомство, приходилось постоянно перехватывать маленькие суммы, чтобы затыкать журнальные дыры. Литературный труд и редакции и сотрудников оплачивался скудно. И даже потом, когда журнал сравнительно окреп, когда вместо Иванчина-Писарева хозяйственную часть журнала взял в свои крепкие умелые руки М. П. Сажин, в то время как в альманахах беллетристика оплачивалась 300-500 руб. лист, — беллетристы «Русского богатства» получали 100-200 руб. В «Русское богатство» шли люди, для которых журнал был дорогим идейным делом, которым казалась непристойной, недопустимой начавшаяся тогда торговля писателей своими произведениями.

В те годы работа по журналу лежала, главным образом, на Михайловском и Короленко, по настойчивому зову Михайловского, раньше меня переселившемся из Нижнего-Новгорода в Петербург. Деятельное участие принимал в журнале С. Н. Южаков. Он начал блестяще молодым человеком своими «Социологическими этюдами» и не использовал себя, как и многие русские люди, в меру отпущенного ему таланта.

Входила молодежь — Пешехонов, Мякотин, Горнфельд, но они не занимали еще тогда ответственных постов в редакции. Когда вернулся из каторги и ссылки Якубович-Мельшин, он весь вошел в журнал.

Из беллетристов сотрудничали Мамин-Сибиряк, Куприн, выступивший с своим «Молохом», начинал писать Крюков свои донские рассказы, напечатан был «Челкаш» Горького, печатался Вересаев, Гарин-Михайловский и, конечно, Короленко.

Редакторская работа по беллетристике лежала до вступления Якубовича на Михайловском и Короленке. Это были противоположные типы редакторов. Михайловский или целиком отвергал рукопись, или принимал, не делая в ней значительных изменений. Раз он возвратил мне рукопись с коротким замечанием «не подходит», а остальные мои рассказы и статьи печатал без всяких изменений и раз только спросил меня, не помню по поводу какой статьи: «Вы берете на себя ответственность?», и этим разговор окончился. Короленко долго и пристально работал над получавшимися рукописями и, если находил признаки таланта у нового начинающего писателя, исправлял, иногда значительно

переделывал рассказ. В этом смысле он близко подходил в редакторской манере к Салтыкову-Щедрину, который, по рассказам, случалось радикально переделывал чужие рассказы, иногда вставляя чуть не целые главы.

Редакция тогда была бедненькая, сначала помещалась на задворках не помню какого-то дома, маленькая и тесная. Она не сделалась очень просторной и богатой и в Басковом пер., где дожила до последних дней, но там все-таки было не так узко, как в первые годы. Раз в месяц бывали редакционные ужины, обыкновенно у Михайловского. Начинались четверги в помещении редакции, на которые собирались, кроме сотрудников, люди близкие по миросозерцанию. Бывали приезжие, знавшие, что в четверг за чайным столом в редакции можно видеть «богачей» и узнать накопившиеся за неделю новости.

Почти в одно время поднимался и другой журнал — «Мир божий». Основательницей была вдова знаменитого виолончелиста Александра Аркадьевна Давыдова, — умная, энергичная, с тем чутьем действительности, запросов публики, которое так важно в журнальном деле. Она во-время учла нараставшее социал-демократическое движение и, сама чуждая какого-нибудь определенного политического миросозерцания, направила свой журнал по этому пути. Ближайшей помощницей и деятельной сотрудницей была дочь ее Лидия Карловна с определенным марксистским уклоном, бывшая замужем за М. И. Туган-Барановским. Постепенно вокруг журнала собралась определенная группа с.-д. И после смерти Лидии Карловны во главе редакции встал Ангел Иванович Богданович, исповедывавший марксизм, опытный журналист и незаменимый работник. Журнал быстро пошел в гору.

Это была «дружественная держава», как называли у нас в редакции «Мир божий», и на вечерах у А. А. Давыдовой неизменно бывали мы, постоянные сотрудники «Русского богатства». Эти вечера были очень шумные и очень пестрые по своему составу. Кроме нас, бывали люди определенно эсдековского уклона и

встречались далекие от всяких политических уклонов, давние личные знакомые Александры Аркадьевны и ее покойного мужа, из самых разнообразных верхних слоев петербургского общества. Бывали Мережковские, Туган-Барановские, и Струве, и боронесса Икскуль, и Василий Иванович Немирович-Данченко.

ЯЛТА[7]

В этот раз я не прижился в Петербурге. Климат оказался не по мне — и я часто простужался, получал бронхиты, подолгу кашлял и решил переехать в Ялту, чтобы отдаться литературе в тихой, спокойной атмосфере Южного берега.

Ялта была в то время тихая, укромная, уютная. Налетал как вихрь, так называемый, «бархатный сезон», продолжавшийся с половины августа до половины октября старого стиля, когда съезжались богатые люди, в особенности купцы по окончании Нижегородской ярмарки, люди, не знавшие счета деньгам, занимавшие лучшие гостиницы, заполнявшие городской сад, куда специально для бархатного сезона приглашались первоклассные оркестры. Оживали на короткое время окрестности Ялты — Алупка, Гурзуф, оживлялась ялтинская «промышленность», не знали отдыха официанты, во всю работали ялтинские извозчики, носились кавалькады проводников и дам.

Вихрь кончался, и становилось тихо в Ялте. При мне начал развиваться весенний сезон, когда также стала приезжать богатая публика, — самый красивый благоухающий сезон, когда ярко цвела и сладко пахла роскошная растительность Южного берега, — но и этот сезон продолжался не долго, — люди приезжали на пасху, жили две-три недели и опять уезжали. Летом съезжались люди, имевшие вакации, — юристы, художники, писатели и в особенности студенты и курсистки, те, что бегали по горам и купались в море до расширения сердца, когда, случалось, приходилось укладывать их в постель. Летняя публика была небогатая, многие приезжали на гроши, ходили пешком по

всему Южному берегу и по горному Крыму, ютились в татарских домиках, окрестных поселениях или в глухих углах Ялты.

Настоящий ялтинский сезон была зима. С октября, как только затихали последние звуки оркестра в городском саду, начинали съезжаться, а иногда привозиться туберкулезные люди со всех концов России. Раз мне пришлось лечить больного из Благовещенска-на-Амуре и в другой раз якута из северной Якутии. Этот сезон я особенно любил, и особенно ярко встает он в моей памяти.

Начиналась своеобразная ялтинская зимняя жизнь. Тихо. Часто тепло. Сумрачные дни сменяются солнечными. Налетит свирепый норд в начале декабря, подует три-четыре дня, так что крыши дрожат и, случается, слетают с домов, и опять тихо. На Рождество татарчата продают дикие подснежники, беленькие красивые крымские подснежники, и, случалось, розы еще цветут в грунту, мы ходим в пиджаках и пьем чай на балконах. С половины января и февраль смута в природе. Налетают короткие вьюги севера, падает снег, обыкновенно быстро тающий, иногда неделю и две дует буйный норд-ост, бешено ревет гневное Черное море, волны перекатываются через мол, случается, разливаются по набережной, так что ни пройти, ни проехать нельзя. Метели коротки, морозы редки, не всякую зиму снег держится по нескольку дней, и между хмурыми днями выпадают яркие дни теплого солнца.

В феврале цветут миндали и фиалки, в марте все уже в цвету и чем дальше, тем больше, — и персики, и черешни, и иудино дерево, белая акация и «золотой дождь», и чудесные кисти глициний обвивают балконы домов. После всех расцветают экзотические, говорящие о чем-то дальнем, южном, огромные, белые, сладко и тяжко пахнущие цветы магнолии.

А по гостиницам, меблированным комнатам и частным квартирам лежат туберкулезные больные, трепетно меряющие температуру и трепетно ждущие солнца и тепла. И когда поправляются, — их много поправлялось в Ялте, — бродят по набережной

тихими шагами, с бледными лицами и оживающими глазами и подолгу сидят у моря, где потише, поуютнее. Кому позволено, ходят на концерты, устраивавшиеся зимой в городском курзале. В Ялте всегда живали по зимам певцы и певицы и музыканты изза своей хвори или из-за болезни близких, и концерты нередко удавались блестяще.

В Ялту в первый раз я ехал, уже повидавши Ниццу и Ментону и Итальянскую Ривьеру, и, насыщенный их красотой, ехал в Ялту с некоторым предубеждением. И тем более Ялта и весь Южный берег поразили меня своей красотой, — строгой линией гор, режущих синее небо, великолепными сосновыми и буковыми лесами и даже именно гневом строгого Черного моря. Но еще больше, чем красотой, захватила она меня... туберкулезными больными.

Надежды отдаться целиком литературе скоро рассеялись,— я весь ушел, не мог не уйти, в лечение туберкулезных. Поразило и захватило меня то, что выздоравливали такие, которых я раньше считал безнадежными.

Да, и умирали они в Ялте, но выздоравливали такие, которых там, где я раньше практиковал, считал безнадежными. Мне теперь радостно вспомнить мои первые ялтинские ошибки, когда я говорил родным о безнадежном положении привезенного ими больного и когда этот больной обманывал меня, поправлялся и выздоравливал. Я приехал в Ялту сорока с лишком лет, с большим опытом относительно туберкулеза, как у всякого широко практиковавшего врача, — и вот мне пришлось пересмотреть весь свой опыт и по-иному расценивать тяжесть заболевания и ставить прогноз.

Нужно заметить, что в те времена, 25-30 лет тому назад, туберкулез диагностировался не так легко, а главное не так рано.

В среде приезжих редко можно было встретить начальные стадии туберкулеза. В огромном большинстве случаев больные приезжали с активным открытым туберкулезом, часто с кавернами, с длительными высокими температурами. И потому вы-

здоровление, правда, после продолжительной жизни в Ялте, таких больных поражало меня и наполняло радостью, которую знает всякий врач при выздоровлении его тяжелого, почти безнадежного пациента. И потому я особенно любил зимний сезон Ялты, и нигде я не работал с таким увлечением и таким удовлетворением. Мое особенное внимание останавливали две категории больных. Случаи, где процесс начинался бурно и протекал как тиф, с температурой 39° и 40°, с начинавшимся рано распадом, который французы называли «галопирующей чахоткой» и который случалось мне наблюдать — оканчивались смертью в 5-6 месяцев. На первых же порах мне встретились два случая, оба петербургские студенты, где именно такой процесс затихал в Ялте, замирал, температура постепенно упадала до нормы и больные за год прибавились в весе около пуда, при неособенно обильном питании, а у одного из них и при невоздержной жизни.[1]

И второе — случаи комбинированного множественного туберкулеза. Поправлялись, а иногда и выздоравливали даже такие больные.

Пасмурные дни, бури не мешали людям выздоравливать. Зимой меньше было пыли, чем летом, ветры вентилировали Ялту, больные день и ночь дышали — мы заставляли их спать при открытых окнах — чистым морским и горным воздухом.

Выздоравливали не только люди, имевшие возможность лечиться, не думая о заработке, — выздоравливали на ходу люди, обязанные работать, чтобы жить, и вот эта особенность течения туберкулеза в Ялте сразу бросилась мне в глаза.

Ярким примером таких выздоровлений были ялтинские врачи. Когда я приехал в Ялту, почти все старые ялтинские врачи были туберкулезные, приехавшие за десять, пятнадцать, двадцать лет назад тяжелыми больными и все время практиковавшие. При мне переселились в Ялту несколько молодых туберкулезных

[1] Такой же случай остановки бурного процесса с быстрым образованием каверны я наблюдал только один раз на кумысе в Уфимской губернии.

врачей, почти все без средств, и были вынуждены сразу приниматься за практику. Двое из них при мне умерли, — Дирижанов от гнойного плеврита и Бородулин от рака желудка.

И не только врачи. Чем глубже погружался я в ялтинскую жизнь, чем больше начинала лечиться у меня ялтинская беднота, тем больше я делал открытий в этом направлении. Оказалось ошибочным бывшее у меня, как и у многих других, представление, что я в Ялту ездили лечиться только люди со средствами. Ялта оказалась полна туберкулезными людьми без средств. Портные, сапожники, маляр, официанты гостиниц и ресторанов, прачки, горничные, белошвейки, всякого рода служащие, мелкое чиновничество, — многие из них оказались переселившимися в Ялту из-за туберкулеза своего или кого-нибудь из родных. Их условия жизни были, конечно, еще тяжелее, они помещались и питались хуже, и тяжелее была их работа. Была обычная их фраза:

— Наслышались мы дома про Ялту, ну вот и переехали...

Один случай у меня особенно в памяти.

Лежал в земской больнице в Кадниковском уезде Вологодской губернии молодой крестьянин с туберкулезом легких и, когда стал немного поправляться, спросил у доктора, может ли он совсем выздороветь от чахотки, и доктор бросил ему фразу:

— Вот, если бы попал в Ялту, может быть, и выздоровел бы...

Крестьянин вернулся в свою деревню, дознался у сельского учителя, что такое Ялта и где она находится. Сдал надел родным, надели они с женой сумки, взяли подожки и ранней весной, как только сошел снег с полей, отправились пешим ходом в Ялту. И дошли в середине лета. Поступил он рабочим в Никитский сад, а потом попал в штат по садовнической части, прожил там три года — двое детей родились, решил, что совсем выздоровел, и поехали уже в вагоне к себе в Кадниковский уезд. Больше года не проработал, снова явилось кровохарканье и кашель, тогда он совсем ликвидировал свои кадниковские дела и переселился навсегда в Крым. Я встречал его потом здоровым, работающим в том же Никитском саду.

Повторяю, им, всему рабочему люду, не слаще жилось я Ялте, чем дома, работать приходилось не меньше, жить в плохих тесных помещениях, и, тем не менее, люди поправлялись, выздоравливали, или по крайней мере сгорали не так быстро, как полагалось им сгорать в Москве, в Твери, в Вологодской губернии.

Хорошо помню одного официанта из гостиницы «Франция», у него были большие каверны, поражения обоих легких. После сезона он хворал, случалось ложился на два, на три месяца в постель, температурил, а к весне поправлялся и потом во фраке, с салфеткой под мышкой бойко перебегал из «Франции» на «поплавок» перед гостиницей и только изредка являлся ко мне «для экзамена», как выражался он. Так тянулось несколько лет и таким оставил я его, куда уехал из Ялты.

Не одна Ялта. Алупка и Алушта, удельные и частные имения, Никитский сад, весь Южный берег в той или иной мере служили убежищем для туберкулезных. Дачевладельцы, управляющие, служащие и рабочие в имениях, как оказывалось из расспросов, во многих случаях поселялись на Южном берегу из-за своего туберкулеза или туберкулеза семейных. Этот процесс заселения Ялты и Южного берега продолжался все время за 25 лет моих наблюдений, и мне лично пришлось переселить в Ялту несколько семейств, — я категорически потребовал этого.

Я слышал, что в Соединенных штатах есть город, в особой подходящей местности, заселившийся туберкулезными — теперь же в нем чуть ли не двести тысяч жителей. Такой же областю, а не городом, является до известной степени Южный берег Крыма. И даже весь Крым, так как я знал туберкулезных, переселившихся в другие города Крыма. И мне случалось встречать ялтинских пациентов, устраивавшихся на постоянное житье в Симферополе, в Старом Крыму, в Феодосии и в других местах Крыма.

Ялта не была благоустроена в соответствии ее всероссийского значения, как курорта. Правительство не понимало и недооценивало всего значения Ялты и во всяком случае мало думало и совсем не заботилось о ней. Железной дороги до Ялты не было, и проезд до нее из Севастополя или из Симферополя, каких-нибудь 80—90 верст, стоит столько же, как железнодорожный билет от Москвы и даже Петербурга до Крыма. Несколько раз поднимался вопрос о железной дороге, долго шли споры о направлении ее, Гариным-Михайловским были произведены даже изыскания, но тем дело и кончилось. [1]

Бюджет ялтинского городского самоуправления был маленький, приходилось жить на курортный сбор и на другие незначительные городские сборы, что не позволяло Ялте развернуться в меру своего роста и все нараставшего курортного значения. Николай I объявил деревушку Ялту городом, но при этом забыли отрезать землю для городских надобностей, как поступали вообще при переводе жилых местностей на городское положение. Ялте приходилось для необходимейших своих нужд прикупать землю у частных владельцев. У Ялты не было своего источника, — она пользовалась небольшой долей воды из водопада лесничества, приходилось постоянно клянчить, чуть не судиться, и обычным явлением по летам бывал по неделям водяной голод, когда воды не хватало не только для насаждений, но и для питья.

Многие больные тяжело переносят ялтинский летний жар, —

---

[1] Гарин-Михайловский тогда жил у меня в доме и рассказывал, какие затруднения возникали при проектировании линии. Берегом моря нельзя было везти, не позволяли царские и великокняжеские имения, приходилось от Алупки подниматься вверх, изогнувши линию над этими имениями, и подойти к Ялте верхом. Жена великого князя Александра Михайловича, Ксения Александровна, вообще была против железной дороги даже над их имением, и при разговоре с Гариным-Михайловским Александр Михайлович уговорил жену только хозяйственными соображениями. Он сказал: — Вот ты все жалуешься, что много у нас керосину выходит, а будет железная дорога — проведем электричество . . . И дешевле, и лучше будет. Ведь, Николай Георгиевич, дорога будет электрическая? Гарин уверил, что дорога будет электрическая и что электричество, конечно, будет проведено в Ай-Тодор. Ксения Александровна больше не протестовала.

*

кругом были горы, покрытые великолепными сосновыми и буковыми лесами, но леса принадлежали уделам, государственному имуществу, и Ялта не могла вылезть из своей дыры, подняться на высоту, где было прохладнее и где был чудесный, чистый, горный воздух. Всякие попытки устранить недостатки Ялты встречали неожиданные и нелепые препятствия. Ялтинское общество врачей не один раз возбуждало ходатайство об отводе ему для устройства санаторий местности около Пендикюля под Ай-Петри, но эти ходатайства всякий раз погибали в дебрях петербургских департаментов, и только во время войны устроены там были бараки для туберкулезных солдат, сразу давшие прекрасные результаты. И вот ялтинским врачам приходилось нередко высылать на лето своих пациентов на север в центральную Россию, на Волгу, в Финляндию.

Все это — приезды больных, их размещение, питание — было не организовано, случайно. Санаторий, кроме устроенной ялтинским благотворительным обществом санатории Яузлар и санатории д-ра Лебедева, не было, а частные санатории стали возникать значительно позже. Бесплатная медицинская помощь широко практиковалась в Ялте, но только потому, что подобрались доктора добрые люди, на себе испытавшие, что такое туберкулез и как важно постоянное наблюдение для туберкулезных больных. Целый ряд прекрасных мест не эксплуатировался. Симеиз, Алупка, Мисхор, Кореиз, Гурзуф, Алушта жили только летом, а зимой замирали.

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ПРИЕЗЖИМ БОЛЬНЫМ

Малую, но все-таки некоторую организованность в деле помощи нуждающимся приезжим туберкулезным вносило ялтинское благотворительное общество, не в пример обычному типу благотворительных обществ, проявлявшее в этом деле здоровую активность. Очень скоро из общества выделилась, как самостоятельная, секция «помощи нуждающимся приезжим больным», быстро заслонившая своею деятельностью всю остальную деятельность общества — работу по местным ялтинским нуждам. И, может быть, именно потому, что многие из постоянных жителей Ялты были, так сказать, связаны с туберкулезом, члены общества работали энергично и всякие сборы, концерты давали значительные суммы. И потому же наиболее деятельное участие в секции принимали ялтинские врачи.

Откликались и люди из коренной России. Один мой фельетон с призывом к пожертвованиям, напечатанный в «Русских ведомостях», — дал около семидесяти тысяч рублей.[1] Одним из первых, откликнувшихся на фельетон, был Лев Николаевич Толстой, пожертвовавший 1 000 рублей. На эти деньги был куплен и достроен дом Адлерберга, в прекрасной, беспыльной местности, где все время работал наш санаторий «Яузлар». За сорок рублей там давалось полное содержание и врачебная помощь. Было значительное количество и бесплатных коек, обеспеченных вкладами. Население «Яузлара» было пестрое, — были крестьяне и рабочие, мелкие ремесленники, учащаяся молодежь, были люди, заболевшие в ссылке и тюрьмах, но лежал и урядник и даже адъютант московского жандармского управления Ростовский, над которым я сжалился, несчастный тяжелый больной, без денег, которого из-за тяжести заболевания не принимали ни в гостиницы, ни в частные пансионы, вскоре умерший в «Яузларе».

Общество имело еще «Приют для хроников» — также туберкулезных, более скромно обставленный, где плата была 25 рублей в месяц и также были бесплатные койки, но оба учреждения были не велики, и главная деятельность секции была направлена на устройство в Ялте и в окрестностях приезжих туберкулезных. Больных стало приезжать все больше и больше. Мой фельетон

---

[1] Из этой суммы 40 тысяч рублей было отказано нам по духовному завещанию бывшим ссыльным в Архангельске, который приезжал в Ялту познакомиться со мной. Кроме этих 70 тысяч, крупную сумму внес московский купец С. М. Попов. Были и другие пожертвования.

вызвал прилив денежных средств, но и прилив больных. Люди узнали, что в Ялте кто-то заботится о приезжих, и с меньшим страхом направлялись в Ялту. И лично на мое имя посыпалась масса писем, на которые нередко я не успевал отвечать, так как по зимам месяца на два уезжал в Петербург. На мое имя стали поступать даже официальные бумаги из земских управ, с просьбой устроить больную фельдшерицу или сельского учителя за 25-30 рублей в месяц, отпущенные им земством на полгода, а иногда и на год. Одно время ко мне сразу прислали несколько подростков — юношей крестьян, учеников низшей сельскохозяйственной школы на Украине, кажется из Умани, и также принесли бумагу этого начальства с просьбой полечить их и устроить на 25 рублей в месяц. [1]

Помощь оказывалась самая разнообразная. Выдавались денежные пособия; семейным до 40 рублей в месяц. Находились местные жители, которые давали бесплатные обеды, подыскивались дешевые комнаты. Ходячим больным доставали соответственную работу; несколько больных фельдшеров и фельдшериц жили впрыскиваниями мышьяка, которые давали им врачи, уходом за состоятельными больными. Помню, больным портнихам покупались швейные машины, что оказалось лучше всяких денежных выдач.

Наша помощь была все-таки скудная. Яузлар был не очень велик, размещать, как следует, приезжих бедных больных было трудно, но работа была большая, захватывавшая нас, врачей.

Но даже и эта скромная работа встретила было препоны и угрозы. Публика на нашем попечении была всякая, но в особен-

[1] Помню, двух или трех этих юношей я устроил у дьякона Аутской церкви, который — добрый человек — ухитрялся давать в своем доме за 25 рублей хорошее помещение и недурной стол. По моему наказу ученики выписывали из деревень от родных малороссийское сало, которого я велел съедать много. Удалось войти в соглашение с некоторыми другими семьями, согласившимися принимать больных на таких же условиях.

но значительном количестве была учащаяся молодежь, мало благонадежная, а то и вовсе «наблагонадежная». В некоторых кругах Ялты пошел злой шопот:

— Революционеров подкармливают...

Как-то утром, во время приема, ко мне позвонил Бесчинский,— один из наиболее деятельных и преданных работников нашей секции и взволнованным голосом говорил:

— Меня высылают, дали три дня на ликвидацию дел. Приехал жандармский генерал Шмаков...

Я ничего не понимал. Бесчинский в политическом отношении был не яркий человек, работал в местной, никоим образом не радикальной газетке, давно жил в Ялте из-за туберкулеза, все свободное время отдавал на устройство больных и единственным преступлением его могло быть только его еврейское происхождение. Спрашиваю:

— Вам была предъявлена какая-нибудь бумага, распоряжение?

— Нет... Все за наше благотворительное общество... Кричал генерал, спросил, сколько мне нужно времени, чтобы убраться из Ялты.

— А вы?

— Я сказал, что, по крайней мере, три дня...

Как мог, я успокоил Бесчинского, сказал, что в такой форме не высылают и что это все какая-то чепуха.

Только-что кончился наш разговор с Бесчинским, как ко мне позвонил ялтинский жандармский ротмистр с приглашением явиться к приехавшему из Петербурга генералу Шмакову, который ждет меня у него, ротмистра. Я ответил, что у меня прием, что я занят и что могу прийти только по окончании приема больных. Повторных звонков не было, и по окончании приема я отправился в жандармское управление.

За свои ссылки и многочисленные обыски я имел обширное знакомство с жандармами. В общем у меня с ними были даже лучше отношения, чем с прокуратурой. Попадались умные и

злые жандармы, попадались не умные и благодушные, но такого злого и глупого, как генерал Шмаков, я не встречал. Первый вопрос его был:

— Владимир Елпатьевский ваш сын?

Отвечаю, что мой сын.

— Вы знаете, что дело о вашем сыне было в моем производстве? Да, да, я очень хорошо знаю вашего сына и что он делал в университете...

Отвечать мне было нечего, я ждал...

— Вы, доктор, работаете здесь в благотворительных учреждениях? И вы здесь устраиваете всякие неблагонадежные элементы. И даже бывших ссыльных?

Отвечаю:

— Даже бывших ссыльных.

Генерал кипятится, шея его краснеет, и он начинает выкрикивать.

— Вы выдаете им по 20, 30 и даже 40 рублей в месяц.

— И по 40 рублей, у кого дети...

— Вы, таким образом, стягиваете в Ялту совершенно нежелательный элемент, устраиваете какое-то гнездо... — И опять ни к селу ни к городу вспоминает о моем сыне, стучит по столу карандашом и говорит, делая страшные глаза: — Я знаю его роль в студенческих беспорядках. Он мало наказан. [1]

А потом опять пошел разговор о неблагонадежных туберкулезных.

—Что же, говорю, по-вашему умирать туберкулезным?

—И умирать... — выпячивая рачьи глупые глаза, ответил Шмаков. — Конечно, умирать! Вот у меня сын болен почками. Доктора говорят, в Египет надо. Я не имею средств отправить его в Египет.

[1] Мой сын во время волнений в Петербургском университете как председатель общестуденческой кассы был арестован, просидел в тюрьме сколько полагается и был выслан из Петербурга на три года. Очевидно, генерал собирался застращать меня.

— Пусть умирает, — подсказал я.

— Пусть умирает! — ответил, не задумываясь, Шмаков.

Когда он снова заговорил о моем сыне, я остановил генерала:

— Вот вы в третий раз говорите о моем сыне. Какое это имеет отношение к вызову меня сюда? И вообще что вам нужно от меня? Зачем вы меня вызвали?

Шмаков сразу опешил и начал бормотать что-то нескладное:

— Я хотел вас предупредить... Так дело оставлять нельзя...

Я снова остановил его:

— Я больше не нужен вам?

О высылке меня генерал не заговаривал. Я встал и ушел. Я понял, что Шмаков не имеет никаких полномочий, что, наслышавшись в Ялте злых шопотов, затеял всю историю самочинно, по своей глупости, и, вернувшись, тотчас же позвонил Бесчинскому, чтобы он и не думал уезжать, что, я уверен, его не вышлют, если он сам не уедет. Бесчинский послушался, — его не выслали.

История наделала шума. Через некоторое время приехал из Симферополя губернатор Трепов и устроил целое заседание с членами благотворительного общества. Он держался умнее и просто заявил, что хотел бы познакомиться с деятельностью общества и проверить слухи об односторонности нашей деятельности, об оказывании помощи только «неблагонадежным» людям. Вместо всяких объяснений я подал ему список лиц, перебывавших в санатории Яузлар... Должно быть, стоявшие в начале списка рабочие и ремесленники и жандармский ротмистр Ростковский вполне удовлетворили Трепова, — он не стал дальше читать список, и было очевидно, что губернатор и ведомственно и лично был оскорблен дурацким вмешательством генерала Шмакова в его, Трепова, «империю»... Он тотчас же закрыл заседание, сказавши несколько слов, что он рад убедиться в неосновательности слухов, и пожелавши нам продолжения работы в том же направлении.

Я не хотел оставлять так Шмаковской истории и стал собираться в Петербург. Отчасти меня беспокоила все-таки судьба Бесчинского, — гонение на евреев были всегдашней очередной политикой. В это время у меня лечилась от воспаления легких графиня Капнист, жена бывшего попечителя Московского учебного округа. Она выздоровела и, узнавши о Шмаковской истории, сама предложила мне дать письмо к своему племяннику Лопухину, бывшему тогда директором департамента государственной полиции.

При приеме было ясно, что Лопухин был разозлен всей этой нелепой историей, — возможно, что ему уже писал и Трепов, — он категорически заявил, что Бесчинский может не беспокоиться, что Шмаков не имел права высылать и — я не помню в точности фразы — добавил, что Шмакову это уже указано. Я слышал потом, что Шмаков, ко времени своей поездки в Крыме не занимавший уже определенной должности и только причисленный к департаменту, получил от Лопухина жестокую головомойку.

История была кончена. Больше нас не тревожили,— вплоть до появления на Ялтинском горизонте генерала Думбадзе, выславшего из Южного берега меня и великое множество совсем неповинных людей.

Мне пришлось один раз из Ялты съездить в Ниццу, и странное впечатление у меня получилось от сравнения их. Ничего общего кроме моря и солнца не оказалось между русской Ниццей и французской. Там были другие сезоны. Осенью, лучшее время в Крыму, в Ницце шли дожди и съезда не было. Я попал как-то в Ниццу в конце ноября, в начале декабря, — лучшие дорогие отели еще не открывались. Бархатный сезон этого всемирного зимнего курорта начинался с половины декабря и продолжался до апреля, вернее половины марта. Другой был тон жизни, другая публика. Там собирались верхи родовой и денежной знати, от бывших королей и экзотических принцев до американских миллионеров и русской знати включительно. И за трескотней, шумом и звоном ниццской жизни как-то странно было

думать, что тут есть где-то больные туберкулезные, не принимающие участия в непрерывной развеселой масленице.

В Ялту состоятельные больные неохотно приезжали на зиму и предпочитали устраиваться на французской, итальянской Ривьере, в Египте, в Давосе. Ялта в этом смысле была противоположностью Ницце, о которой доктор Эльсниц говорил мне:

— К нам бедные не ездят.

И тот же Эльсниц рассказывал мне, как убого поставлена была помощь несостоятельным туберкулезным в Ницце. Бедные не ездят в Ниццу.

СТАРЫЕ ЛЮДИ.

(Бакунины, Шуберт-Яновская, Градов-Соколов, Е. Ф. Юнге-Толстая)

Переселялись в Ялту не только туберкулезные семьи, — там плотно оседали старые люди, отставившие себя от жизни, доживавшие свой век у синего моря в южном тепле и солнце.

Был в Ялте целый Княжеский переулок, где жили представители русской знати, не настолько богатые, чтобы иметь виллу в Ницце или Ментоне. В двух верстах от Ялты, в небольшом имении, характерно называвшемся «Горная щель», жили старики Бакунины, — Павел Александрович, брат «Мишеля», и жена Павла Александровича Наталья Семеновна. Они задолго до моего переезда ликвидировали свою тверскую жизнь и свили новое гнездо в «Горной щели». Жили они уединенно, с колонией Княжеского переулка мало общались. Кроме меня, их знакомых по Тверской губернии и нескольких ялтинцев, мало кто заезжал в «Горную щель».

Павел Александрович на моей памяти ни разу не появлялся в Ялте, но часто можно было на улицах Ялты встречать своеобразную фигуру древней, но живой старушки в старенькой, отслужившей многие годы чудной шляпенке, в капотике невиданных времен и невиданных фасонов. Ездила она на одноколке тоже древней конструкции и правила почтенной заслуженной лошадью, выступавшей степенными шагами по ялтинскому

базару. Изредка Наталья Семеновна поднималась даже ко мне на мою высокую гору к великому неудовольствию древней лошадки, но обыкновенно она ни к кому не заезжала, покупала что нужно на базаре и возвращалась домой. Жили они двое с юности до глубокой старости, неразрывно связанные глубокой любовью-дружбой.

И жили с ними воспоминания. Давние, старые воспоминания в небольшом домике, который как-то быстро успел состариться, в домике с старой мебелью, с покойными креслами, тяжелыми недвижимыми столами. Смотрели со стен старые портреты и медальоны с «Мишелем», с людьми 40-х и 50-х годов в широких галстуках, как носили люди тех времен.

Полно было воспоминаниями и все именьице. Только воспоминаниями. Земля не обрабатывалась, не рассаживались табаки и виноградники и фруктовый сад, но были особенные деревца и особенные скамеечки. Приезжал когда-то милый старый друг, и сидели они вместе на полянке, на красивом пригорочке, говорили о философии, о вечности, об абсолюте духа, а когда друг уезжал, на этом месте сажали деревцо, ставили скамеечку. Деревцо росло, и Павел Александрович с Натальей Семеновной приходили на это место, которое так и называлось именем друга, и вспоминали и мысленно беседовали с другом. В доме жила философия, жило гегельянство, были старые книги, чем зачитывались люди в широких галстуках, смотревшие со стен, и которые продолжал перечитывать Павел Александрович.

Была еще у них дума о будущем. Как они будут жить там, по другую сторону жизни, когда лягут в землю... Они были крепко и глубоко убеждены, что и там жизнь продолжается, что человек не может совсем умереть, что и там они будут в том же нерушимом единении любви и дружбы, каким жили долгую совместную жизнь. И приготовили себе место в земле, где было бы приятно и удобно лежать рядышком, бок-о-бок, как жили на земле, и не раз водили меня показывать это будущее свое жилище.

В полугоре, откуда открывался чудесный вид на Ялту, на

вечные горы, был вырыт склеп с двумя рядышком поставленными каменными гробами. Они с любовью показывали мне это будущее жилье, как показывают люди новую, приятную, заново отделанную квартиру. И говорили мне:

— Смотрите, Сергей Яковлевич, какой чудесный вид отсюда!

При мне умер Павел Александрович. Он умирал, как полагается умирать философу, как умирали древние античные люди. Он знал, что умирает, и не отворачивался от смерти. Лечиться он не хотел, но Наталья Семеновна все-таки пригласила меня незадолго до его смерти. Павел Александрович был опухший, отечный, пульс еле прощупывался, глаза были закрыты. Я думал, что он спит, он но услыхал мои шаги, на минутку поднялись тяжелые отекшие веки, насмешливый огонек засветился в глазах, и он продекламировал:

Нет, доктор, нет, не приходи —
Твоя наука не поможет..,

и тихонько пожал мне руку. Науке действительно нечего было делать, — через два-три дня он умер.

Мы провожали его в могилу и невольно дивились, что Наталья Семеновна была весела, даже оживленнее, чем обычно. Не было никакой грусти в ее лице, — казалось, она только принимала приятных гостей, навестивших ее. Я понимал ее. Ничего грустного в смерти нет. Ведь, это только временная разлука, после которой она снова встретится с Павлом Александровичем, и будут они жить рядышком, как жили на земле. Водила она и потом меня на могилу и показывала, как хорошо устроился Павел Александрович и какой чудесный вид перед ним на горы.

А потом собралась было умирать и сама Наталья Семеновна. С ней сделался удар, отнялась половина тела, и мне пришлось лечить ее и часто навещать. Она была спокойна, улыбаясь встречала и провожала меня, все говорила, что я напрасно беспокоюсь и ждала смерти ясная и неогорченная.

Так случилось, что в то же время тяжко, тоже с опасностью смерти, болел в Гаспре Лев Николаевич Толстой, которого мне же приходилось лечить. Оба они одновременно стали поправляться и, очевидно, бывшие с молодости знакомые, — кажется, они были одногодки, — каждому 76 лет, — все расспрашивали меня друг о друге, и все я возил приветы и пожелания из Гаспры в Горную щель и из Горной щели в Гаспру . . .

А потом Наталья Семеновна опять надела свою шляпенку и села в свой шарабан, и только другая лошадь, тоже почтенная, такими же степенными шагами, возила ее в город. Первая лошадь определена была на пенсию. Ей отведено было помещение, отпускался корм, и я часто видел ее задумчиво бродившей по имению на старых плохо сгибавшихся ногах.

Меня уже не было в Ялте, когда Наталья Семеновна легла рядом с мужем. Она хотела, и говорила мне об этом, отказать «Горную щель» нашему благотворительному обществу для туберкулезных больных, но не успела оформить свою волю.

Довольно долго жила у меня в семье — московские знакомые просили устроить ее — старая, когда-то очень известная артистка, долго игравшая на петербургской сцене и в московском Малом театре Шуберт-Яновская. Она была тоже обломок старины, не менее давний, чем Бакунины, но других кругов. Вышедшая из крестьянской семьи, тонкая, когда-то изящная, она имела шумный успех, и старые театралы с восторгом рассказывали об ее игре.

Почему-то она с юности, чуть не с детства, была связана с семьей М. С. Щепкина. Девочкой она видала там Гоголя и многих знаменитостей того времени и вращалась потом в литературно-артистических кругах. Дружила с Писемским и часто рассказывала мне об этом своеобразном, оригинальном человеке. Хорошо помнила молодого Некрасова того периода, когда он голодал, живал по трущобам, и однажды рассказала мне, как он приходил зимой озябший, плохо одетый, окутанный каким-то красным

шарфом, и как ее мать подкармливала Некрасова, наклонившись над ним, по-бабьи причитала:

— Ах ты, несчастненький! . .

Было так много интересного в ее рассказах, так много интересных людей она видела и знала, что я уговорил ее начать писать воспоминания. И чтобы подбодрить ее, редактировал и исправлял первые главы и начал печатать их в местной ялтинской газете.[1]

Старая артистка постепенно втянулась в работу, и после, когда она уехала из Ялты, вышла книга ее воспоминаний.

Раз в осенний пасмурный день, во время приема, ко мне явился с просьбой о помощи старик и отрекомендовался «Градов-Соколов». Я помнил время шумного успеха его, когда в провинциальных городах аршинными буквами появлялись афиши о выступлениях в местных театрах гастролера Градова-Соколова.

Старик был жалкий, несчастный, глубоко опустившийся и казался старше своих лет. Летом он просуществовал сторожем на винограднике в окрестностях Ялты. День и ночь сидел с ружьем в шалаше и берег чужой виноград, а когда сняли виноград и пришла глухая осень, он стал голодать и явился ко мне в рваных отрепьях, голодный и холодный.

Градов-Соколов оказался с давним туберкулезом. Я устроил его бесплатно в нашем приюте для хроников, время от времени я навещал его или он приходил ко мне. Он скоро согрелся, подкормился, стал поправляться и бросил выпивку, которая опустила его на дно. Однажды он явился ко мне сравнительно парадный — мы одели его — с просьбой разрешить ему выступить в спектакле, который мы устраивали тогда в курзале. Он говорил, что хочет в последний раз выступить в спектакле и хоть этим отблагодарить общество за оказанную ему помощь.

---

[1] Одно время мы впятером вздумали взять в свои руки местную газету. Участвовал и Чехов. Но работать пришлось только мне и Бесчинскому, а мне притом на два месяца уезжать зимой в Петербург. Дело не пошло.

Спектакль устраивался в пользу нашего благотворительного общества и был исключительно интересный.

Приехала в Ялту давний товарищ по Малому театру Шуберт-Яновской артистка Медведева, также уже почтенного возраста, и у нее явилась мысль устроить совсем особый спектакль. Старые артисты взялись провести без декораций и без суфлера не помню уж какие сцены из Островского. Шуберт-Яновская была совсем глухая, глуховата была и Медведева, но они так хорошо знали Островского и друг друга, что это было незаметно в великолепной классической игре артисток московского Малого театра. Шедевром было чтение Шуберт-Яновской басен Крылова, — такого истолкования, такой художественной передачи я не слыхал больше ни у кого.

А после них выступил Градов-Соколов с отросшей большой седой бородой, торжественный, видимо сильно волновавшийся и произнес — у него не было уже его громового голоса — с большим одушевлением какой-то монолог из его ролей.

Я думаю, что это было последнее предсмертное выступление на сцене этих трех участников спектакля в Ялте.

В Крыму в Коктебеле я встретил еще одного старого человека, также из давних времен, — Екатерину Федоровну Толстую, дочь знаменитого вице-президента Академии художеств Федора Толстого, бывшую замужем за профессором-окулистом Юнге. Ее муж давно купил большой участок земли в Коктебеле, выстроил дом, завел виноградное хозяйство и там умер. Должно быть, потому, что Юнге долго жил одно время в Египте, много лечил египетские глаза, он лег в могилу-склеп, устроенный на древнеегипетский манер. Екатерина Федоровна продолжала жить в Коктебеле с своим сыном ботаником и только изредка на зиму выезжала в Москву и Петербург.

Она была родственница Льва Николаевича, кажется троюродная сестра, и удивительно походила лицом на Льва Николаевича, с таким же угловатым некрасивым лицом. И не одним лицом, — в ней много было толстовского. Ей далеко было за 60, она была живая, полная энергии, интересовавшаяся литературой, искусством и всем, что происходило в России. Продолжала рисовать, — она была художница, выставлявшая свои картины на выставках. Своеобразная, необычного психического склада, она была совершенно свободна от тех условностей, которые налагала на человека аристократическая атмосфера, и в этом отношении, по своим манерам, быту, привычкам, наконец, одежде, она была совершенно похожа на тех радикальных женщин 60-х годов, которых прозвали очень неумно нигилистками. С этой остроумной, редко привлекательной женщиной было очень легко и приятно беседовать, и я, случалось, подолгу засиживался, слушая ее рассказы о петербургской жизни 50-х и 60-х годов.

Помимо оригинальности ее личного характера, на нее, очевидно, наложила печать необычная для аристократического рода среда, в которой она росла и воспитывалась. Она рассказывала, какой скандал поднялся в петербургских высших сферах, когда ее отец, гвардейский офицер с предуготовленной блестящей карьерой, снял мундир и засел в мастерскую, чтобы стать художником. И отец не вернулся к приличествующей ему среде. Уже сделавшись знаменитым художником-гравером и вице-президентом Академии художеств, он был одним из центров литературно-художественного петербургского общества.

В его доме собирались многие из крупных представителей тогдашнего литературного общества. Бывал молодой офицер, только что возвратившийся из-под Севастополя, Лев Толстой. Интимным другом дома был Костомаров, интимным человеком в семье сделался потом Шевченко. Только благодаря упорным усилиям Федора Толстого и был вызволен из ссылки Шевченко. Упорным, так как царь уже раз отказал Толстому в его ходатайстве об освобождении Шевченко, и люди из придворных кругов предупреждали о возможных неприятностях для Толстого, когда он подавал свое ходатайство второй раз, кажется во время коронации Александра II.

Очень ярко, очень художественно рассказывала Екатерина Федоровна о своем знакомстве с Ольриджем и Шевченко. Ей было 14 лет, когда приехал на гастроли Ольридж, негр из Америки, знаменитый трагик. Он женился, как Оттело на Дездемоне, на английской лэди, полюбившей великого артиста, порвавшей с своими аристократическими родителями, чтобы выйти за него замуж. Повидимому, в нем было особенное художественное обаяние, — Екатерина Федоровна рассказывала, что петербургские аристократки целовали черные негритянские руки Ольриджа.

У Толстых в доме и состоялось знакомство и завязалась дружба Ольриджа и Шевченко, этих двух чужедальних людей, но так близких и родственных и по талантливости и в особенности по их судьбе. Екатерина Федоровна была переводчицей между этими двумя не понимавшими друг друга людьми. И переводила и слушала, как черный человек рассказывал свою американскую судьбу. Он был сын старшины, князька негритянского племени, захваченного в Африке вместе с его племенем тогдашними негроторговцами и проданного в Америку на южные плантации. Чтобы избавить сына своего вождя от американских плетей, негры поставили его своим пастором-священником, — они, конечно, обращены были в христианство. А Ольриджа с юности потянуло к театру, так страстно потянуло, что он поступил лакеем к актерам, чтобы проникнуть в театр, послушать, что там разыгрывается. Другого пути ему не было, на театрах была надпись: «Собаки и негры не допускаются».

А другой белый украинский человек рассказывал Ольриджу, как он был тоже рабом, мальчишкой был приставлен зажигать трубку своему барину, и как его били чубуком, когда он рисовал, где только ему удавалось, к чему его потянуло рано и так же страстно, как Ольриджа к театру. Говорил, как его, уже художника, сослали солдатом в далекую от Украины азиатскую землю, как измывались там над ним те, кто приставлен был измываться над свободолюбивыми людьми.

Шевченко рисовал портрет Ольриджа. Трагик неаккуратно являлся на сеансы, и африканский экспансивный человек не мог высидеть терпеливо, когда художник медлительно клал краски на полотно, — начинал жестикулировать, вертеться на стуле, так что Шевченко ругал его:

— Ось, бисова дитына!..

В конце концов бисова дитына вскакивал с своего стула, начинал плясать, петь свои негритянские песни, а Шевченко тоже бросал свои кисти и пел свои украинские песни.

Я очень часто уговаривал Екатерину Федоровну написать свои воспоминания. Часть их была уже напечатана в «Вестнике Европы». Она ленилась, но все-таки писала и при мне, и, насколько мне известно, книга ее воспоминаний вышла уже после ее смерти.

Мне приходилось иногда лечить ее, у ней была эмфизема легких, слабое сердце. Я очень отговаривал ее от поездки в Москву, но она не послушалась меня и в ту же зиму умерла в Москве, кажется, от воспаления легких.

Кого не заносила судьба в далекую Ялту. Как-то рано утром ко мне пришел знакомый англичанин, живший одно время в моем доме, и просил навестить тяжело больного соотечественника. Пришлось итти пешком в окрестности Ялты. Колесной дороги к жилью не было. Мы пробирались по узким тропинкам в глухое даже для меня, хорошо знавшего ялтинские окрестности, место. Стоял домик маленький, в две комнаты, а кругом табачная плантация и сарай для табака. Я застал больного без сознания, в агонии, — больной, могучего телосложения, старик, умирал от воспаления легких. Делать мне здесь было нечего.

Поразил меня висевший над кроватью умиравшего больного портрет масляными красками молодой женщины редкой красоты. Поразил меня и сам больной, судя по обстановке, по книгам образованный англичанин, почему-то забравшийся в это глухое место далекой от Англии Ялты. На обратном пути мой спут-

*

ник, не зная всего или не договаривая, рассказал мне странную историю, так чуждую Ялте и так пригодную для английского романа.

Тот, кто умирал теперь на табачной плантации, когда-то был профессором в университете или лицее в Лондоне, полюбил дочь или жену — я не помню — большого аристократа, ту красавицу, что висела на стене, и убежал с ней. Ему нужно было почему-то бежать. Они устроились-было в Бельгии, где он также начал читать лекции и давать уроки, но их, очевидно, разыскивали. Бельгия была слишком близка от Лондона, они бежали куда-то еще дальше, пока не докатились до этой дыры на Южном берегу Крыма.

Здесь умерла жена, и муж, должно быть, не хотел покидать ее и мертвую и продолжал жить и разводить табак, для того чтобы жить. Так и остался он загадкой для меня.

ТЯГА НА ЮГ

Весной, летом и осенью, изредка и зимой приезжают в Ялту писатели. На моих глазах в Ялте и вообще в Крыму перебывали, кажется, все заметные тогда люди литературы — Горький, Чехов, Леонид Андреев, Короленко, Найденов, Вересаев, Куприн, Мамин-Сибиряк, Ив. Бунин, Бальмонт и Чириков, Михайловский, Анненский, Мачтет и многие другие. В массе эта публика была безденежная, не имевшая имений, не обладавшая чековыми книжками, жившая литературным заработком. Приходилось кое-кого устраивать.

Помню при мне в Петербурге с Станюковичем сделался удар, стал забывать слова, была афазия. Меня просили взять его с собой и позаботиться о нем в Ялте. Я благополучно довез его до Ялты, — пришлось не только заботиться о нем, как о больном, но и писать за него. У Станюковича не кончен был роман или повесть, шедшая в нескольких книжках «Мира божьего». Не только дописать повесть он не мог, но не знал уже, как разделаться со

своими действующими лицами, и мне пришлось докончить повесть, написать по своему разумению одну или две заключительные главы.

Многие из писателей вначале фыркали и бранили Крым за камни и скалы, что неотступно стояли пред ними, за «метелки» — кипарисы. Сердитый Мамин, любитель уральских далей и находивший в Крыму только не очень вкусно пахнущее «уксусное дерево», и Леонид Андреев, поклонник орловских полей и орловского облачного неба, и Чехов, находивший, что Козицкие и Бронные переулки в Москве — лучшее место в мире, обыкновенно кончали тем, что покорялись Крыму, приезжали и второй и третий раз и подолгу заживались.

А некоторые плотно оседали в Крыму; не говоря о Чехове, подолгу живал то в Ялте, то в Алупке, то в Олеизе на даче «Нюра» Горький, вплотную осели Сергеев-Ценский и Шмелев в Алуште, Найденов и умер в Ялте, как и Мачтет, Вересаев приобрел маленькую дачку-избушку на курьих ножках в Коктебеле, где давно уж проживал Макс. Волошин, Тренев и Дерман жили в Симферополе, Никандров в Севастополе, Куприн, Арцыбашев и Рукавишников подолгу живали в Балаклаве.

Не одни писатели. Началась тяга с севера на юг. Странная, неожиданная, какая-то стихийная, тяга. За сто с лишком лет присоединения Крыма Россия мало знала о нем. Ялтинские старожилы рассказывали мне, что до приезда профессора С. П. Боткина, сопровождавшего туберкулезную больную жену Александра II, Ялта, хотя и переименованная уже в город, оставалась в сущности глухим людским поселением, где люди занимались рыбной ловлей, виноградниками и табачными плантациями и что только благодаря Боткину северные люди узнали, что Ялта есть место для лечения чахотки. И даже потом, в 1878 году, когда я кончил университет и ординаторы Захарьина сказали моим друзьям, что меня нужно из-за туберкулеза направить в Ялту, я представлял себе Ялту местом, где мне, молодому врачу, нечего делать. И даже в 90-х годах, когда я переселился

в Ялту, количество приезжавших людей было сравнительно незначительно, совсем не было еще весеннего сезона, и были очень редки заполнявшие потом Ялту летние экскурсии.

И вот как-то сразу север хлынул на юг. Не только стала сразу быстро расти Ялта со своими окрестностями, но и весь Крым, северный и южный, восточный и западный, начал заселяться северными людьми.

На моих глазах и при некотором моем участии по плану санитарного врача П. П. Розанова большое пустынное имение Мальцевых в Симеизе было превращено в благоустроенный курорт, с общественным парком, с водопроводом, быстро застроившийся целым рядом больших дач и гостиниц. Близкое от Симеиза имение Кацивели было еще раньше Симеиза разбито на мелкие участки и застроено дачами.

На берегу моря, под суровыми обрывистыми скалами, там, где мысом Айя оканчивается Южный берег Крыма, в самом теплом месте Крыма возникло-было целое поселение писателей, ученых, художников — Баты-лиман. Куплена была у татар ближайшей деревни Хайты длинная и узкая приморская полоска с огромным хаосом камней, заросшая соснами, вековым крымским можжевельником и, так называемым, земляничным деревом (Arbutus).[1] Полоса была пустынная, не эксплуатировалась и не могла эксплуатироваться татарами, так как там не было ни полей, ни пастбищ, очень мало было воды, но была на редкость пригодна для жизни людей, нуждающихся в тепле, южном солнце и купаньи в море.

Из писателей участвовали Короленко, Чириков, Редько, из художественников — Станиславский, Сулержицкий, Билибин, было пять докторов, в числе которых Н. П. Кащенко. Кое-кто успел выстроить дом. Соседнее, бок-о-бок с Баты-лиманом, большое — для Южного берега — около 500 десятин, долго пустовавшее имение наследников Вассал было также куплено акционерной компанией, куда вошло много представителей литературы и искусства, наиболее известные петербургские архитекторы. Проектировался большой курорт, в роде Ялты, на которую несколько походит Ласпи по своей конфигурации. Прокладывалась новая дорога, — шоссе, дававшая ближайший выход в Севастополь, происходило размежевание участков, наскоро была выстроена небольшая гостиница, но начавшаяся мировая война помешала осуществлению проекта, как и вообще остановило всякое строительство в Крыму.

[1] Характерное для Южного берега дерево. Местные люди считают Южным берегом только то пространство морского берега, где растет это земляничное дерево.

И приморская полоса, тянувшаяся на 15 верст от Лапси до Фороса — я прошел ее не один раз пешком — полоса великолепных по своему положению, но пустынных имений, где были только редкие дома, в которые не часто приезжали владельцы, виноградники, да немые безлюдные парки, — также пришла в движение, также составлялись компании и, кажется, некоторые имения были уже куплены.

Можно сказать с уверенностью, что весь Южный берег от Фариса до Алушты, за исключением царских и великокняжеских имений, очень скоро кончил бы тем же, чем Ласпи и Симеиз, т. е. разбивкой на мелкие участки с заселением пришлыми людьми.

Более медленным темпом, но, в сущности, то же происходило на протяжении от Алушты до Феодосии. При мне сильно выросла Алушта и заселились ее окрестности, на моих глазах заселялись пришлым людом Судак, Козы, Отузы, Коктебель, окрестности Феодосии.

И северный Крым. Возникло поселение, одно время называвшееся Джаншиевым, по имени инциатора, сотрудника «Русских ведомостей» Джаншиева, рядом с Георгиевским монастырем. Заселялись Балаклава, окрестности Севастополя. Старый Крым разбил на участки и распродал свою городскую землю под

Аргамашем. Повторяю, год от году все больше наростала тяга северных людей в Крым. Движение было стихийное, неорганизованное, кустарническое. В большинстве люди приезжали маломощные в денежном отношении, разбирали маленькие участки, строились кое-как. За исключением Симеиза людские поселения выростали без плана, без предвидения будущего и общественных нужд...

Нужда России в Крыме огромная. Емкость Крыма еще значительная. И в приморском и в горном Крыму много местностей в роде Баты-лимана, не пригодных для сельскохозяйственной культуры и в высокой степени пригодных для расселения людей, нуждающихся в климатических условиях Крыма. Земли эти лежат и долго еще будут лежать не использованные человеком, если не будет широкого организационного плана использования их.

VIII

ГОРЬКИЙ, ЧЕХОВ И ТОЛСТОЙ

(По личным воспоминаниям.)

МАКСИМ ГОРЬКИЙ.

Горький — человек сказки. Как-то он обозвал меня в письме старым романтиком. В ответе я написал ему, что он — Еруслан Лазаревич, Гуак-Непреоборимая верность.

У меня и сейчас нет оснований отказываться от этого определения. Он даже не романтик, а человек сказки. Мне так и рисуется юный Горький, только-что прилепившийся к печатной книге, начитавшийся Бовы - королевича, и Английского милорда, и Еруслана, и Гуака. Он перемывает посуду на пароходе, месит хлеб, продает квас. Он грузчик, сторож, дворник, весовщик — нельзя перечислить всех его профессий—вечно в сказке. С распаленным воображением, необузданным воображением он все время мечтает, думает не о будничном, а о сказочном.

И мне кажется, что вся окружающая жизнь преломлялась в нем не в своем будничном, сером облике, а в чудесном, претворенном его необузданной фантазией сказочном образе. Так он и писал. Так и изображал русскую жизнь.

Пронзительный человек, Лев Толстой, слушая рассказ Горького про его сон, задает ему вопрос:

— Вы выдумали это, или в самом деле?

Что можно ответить? Выдумывал ли Горький не сны, а то, что он писал, или это в самом деле было? — И выдумывал, и не выдумывал... Это все подлинное, наблюденное Горьким, но подлинная и не подлинная русская жизнь.

Многие его произведения были по существу сказками. Никто не говорит у Горького простым, обыкновенным языком, — все яркими фразами, мудрыми или мудреными изречениями, все философы или экстравагантные, необычные люди. Горький слышал эти яркие слова, накопил как никто огромное количество блестящих народных выражений, он слышал, он не выдумывал их; но он уже не принимает других, простых, обыкновенных слов, которыми говорят средние, обыкновенные, будничные русские люди. Как у Достоевского, все действующие лица говорят одним однотонным, мучающим языком Достоевского, так у Горького все говорят ярким, цветистым, горьковским языком. Он не может уже изображать будни, как они есть в действительности. Когда он берется изображать самую серую, самую тусклую русскую действительность, она в своей серости и тусклости вырастает уже у него в особую сказочную, подлинную и неподлинную действительность. И пошлость, и грязь, и жестокость русской серой жизни... И она, эта действительность, наполняется сказочными людьми, углубленными, философствующими о смысле жизни, о целях мироздания, кажется, обо всех сложнейших, мудренейших вопросах жизни, о которых думал и мечтал сам Горький.

Нужно ли иллюстрировать это? Говорить о его типах, передавать его изобразительную манеру? Начиная с его первых произведений, с Макара Чудры, Изергили, не говоря уже о больших его произведениях, в любом из его позднейших изображений кусочков жизни, из его коротеньких воспоминаний встают все те же выдуманные и не выдуманные люди.

И что могло остановить, вернуть к точной действительности этого человека, когда сам он был человек-сказка, когда вся жизнь его была сказкой? Я не знаю в истории литературы аналогии с жизнью и карьерой Горького. Из низов, подлинных низов, бесприютный, беспризорный мальчишка, учившийся подзатыльниками взрослых науке жизни, хватавший, как голодный галченок, всякие кусочки знания, печатного слова, какие попадались беспризорному и бесприютному мальчику, — Горький вырастает с первых же литературных шагов страшно быстро, головокружительно быстро до большого русского писателя, до огромной славы, до мировой известности.

Народ в России малограмотный, не слыхавший о Достоевском, мало знающий Пушкина и Гоголя и не знающий Лермонтова, больше других, но только кусочками знающий Толстого, знает Максима Горького. И если не писателя, то по крайней мере человека Горького. Вынесенная им из тюрьмы песня распевалась всеми шарманками рядом с «Последним денечком», поезда 4-го класса и сейчас называются «Максим Горький».

Его «Буревестник» облетел всю молодую Россию. Его сочинения расходились, как ничьи. Сотни и тысячи молодежи ждут и встречают Горького на пути, когда он едет в Крым. К нему идут и молодежь, и взрослые, и рабочие, и босяки, и такие не босяки, как миллионеры — нижегородский Бугров и московский Савва Морозов. Слава скоро и давно перешагнула Россию. Его произведения переводились на многие языки, он стал какой-то сказкой за границей. Давно уже, много лет назад я встретил у него на Капри француза композитора, сочинявшего оперу на произведения Горького.

И что могло обратить Горького к Боборыкинским фотографиям, к точным снимкам русской жизни, когда эта русская жизнь сама крутилась и металась, как в вихре, когда как в сказке невозможное становилось возможным, невероятное становилось действительностью? На его глазах тысячелетие дремавшая Россия, изредка погуливавшая с Емельяном Пугачевым, Степаном Разиным и снова дремавшая тяжкой дремой, — эта покорная плоская равнинная Россия вдруг вздулась горбом и из членораздельных звуков ее вырвался облетавший всю равнину крик: «Долой самодержавие!». На его глазах прошла мрачная сказка 9 января, безумная, как нелепый сон, японская война, в его ушах завыла звериным ревом мировая война... Прошла первая революция, вторая революция, пришел коммунизм, за-

хвативший Горького. И как коммунизм, обещающий осуществить величайшие замыслы человечества, разрешить мудренейшие загадки жизни, — как мог он не пленить, не захватить Горького, этого жадного к жизни, ненасытного, вечно голодного мечтателя?

Как калика перехожий старых русских легенд, он ходил из конца в конец по русской земле, — с севера на юг, с юга на север, из Одессы на Кавказ, с Кавказа по Волге в свой Нижний-Новгород. Ходил и учился. Получал среднее образование, проходил свой собственный университет. Но главное было не то. Он пытал Россию. Он хотел разгадать древние странные русские загадки: «Пойти туда, не знаю куда; найти то, не знаю что».

Потому ему и не сиделось на месте, потому он вечно перекидывался из места в место, из города в город. Придет и пытает людей. Он умеет пытать людей, выпытывать из них самое сокровенное, что таится на дне человеческой души. И дальше шел к другим людям. Так он ходил-бродяжил долгую жизнь, — ходил к разным людям, населяющим русскую землю, и к рабочим, и к босякам, и к мещанам маленьких мещанских городков, и к таким же, как он, бродягам, интиллигентным каликам-перехожим, никогда не переводившимся на Руси.

Так же подходил он к людям высоких калибров — и к Короленко, и к Толстому, и к Чехову, и к Леониду Андрееву, которого никто не выпытал так, как Горький. У него были разнообразные знакомства — он привержен был и к Ваське Буслаеву, и к Ричарду Львиное сердце.

Помню Горького ялтинского, петербургского, каприйского. Он был неуклюжий, с длинными руками. Спина у него немножко горбом, как у грузчиков, что долго таскали десятипудовые мешки, и когда ходил, сутулился, — мне все казалось, что походная сума еще не слезла с его плеч. Сидеть он не умеет, у него нет определенной манеры сидеть, как у людей, привыкших сидеть, кажется, он только присел и вот-вот снимется. Лицо серое, сумрачное и только глаза голубые, прозрачные, цветочные глаза

ярко встают на пасмурном лице. Когда улыбается, лицо становится моложе и ласковее и немножко хитренькое. Слова из него выходят медлительные, тяжелые, словно из-под пресса, давно залежавшиеся, с трудом вырывающиеся. У него совсем нет «легкой речи, у него нет гостинных разговоров — того, что называется по-французски «causerie» и что по-русски надо перевести словом «калякать». Слова у него гневные, ругательные или восторженные и умиленные. Он ругательски ругает Россию за то, что она неопрятна, не так сказочно прекрасна, как он желал бы, и хочет себя убедить, что презирает ее. Ругается, когда не находит в ней Васьки Буслаева и Ричарда Львиное сердце и когда находит их или «выдумывает», — думает, что нашел, — восхищается и умиляется. Когда встретит новый талант, и даже кусочек таланта, восхищается и обнимает нового человека своей грубоватой, но горячей лаской. Когда волнуется радостно, глаза становятся влажными. Он плачет, когда смотрит там высоко на Капри в кабачке пляску — великолепную тарантеллу, эту удивительную итальянскую сказку.

Он не политик. Политика не уживается с сказкой.

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Чехов был сидячий человек. Он редко ходил в гости; кажется, не очень любил гулять, — я не помню, чтобы он ходил пешком за пределы Ялты.

И когда выходил из своего дальнего Аутского угла к морю, садился на Набережной у книжного магазина Синани, с которым приятельствовал, и подолгу сидел, наблюдая прищуренными глазами, как волны катятся по морю, слушая, как лениво бьются они о каменную набережную, любуясь, как белые чайки взлетают и падают в море.

Подходили дамы, поклонницы Антона Павловича, мимо шли туземные люди. В Ялте Чехов был у себя дома. Он давно и близко знал этих туземных людей, караимов, армян, греков и так

сказать международных людей, помеси разных национальностей, которых так много на юге России и в Крыму, — и в его родном Таганроге, и в Ялте. И, кажется, ему нравились эти красочные южные люди, и у него были знакомства среди них. Раз он затащил меня к такому же караиму, как Синани, на чебуреки: «классические, — говорил он, — каких вы нигде больше не попробуете». И был оживлен и весел за действительно классическими чебуреками, среди караимов, почтительно и приязненно относившихся к Чехову. Раз я встретил у него священника греческой аутской церкви, пришедшего к нему с несколькими прихожанами посоветоваться насчет общинных дел, и я знаю, что Чехов в чем-то помог им.

А потом он шел в свой уютный домик, в задумчивый кабинет, откуда смутно вдали виднелся кусочек моря, садился за письменный стол, против которого Левитан написал на камине ласковую русскую даль с смутными стогами сена, пробегал газеты, которых получал много, прочитывал письма, которых получал множество. И... если не писал, мечтал о Москве.

Его любовь к Москве была удивительная. В своих воспоминаниях о Чехове [1] я писал, что три сестры, все твердившие: «В Москву, в Москву!», были все он же, Чехов, непрестанно мечтавший о Москве, находивший ее самым приятным местом в мире. Этот южанин, таганрогский человек, нашел другую родину — Москву. Там все ему нравилось — и улицы, и кривые переулочки, и колокольный звон Кремля и разных Никол, и нравы, и быт, и люди. И нравилась не только Москва, но и все подмосковье.

У меня было наоборот; я, владимирский человек, влюбился в Крым, и мне было странно, немножко смешно и трогательно слушать, как он рассказывал о московских прелестях. Помню, Чехов, чтобы сокрушить меня, как-то возвратившись после лета, проведенного под Москвой на Клязьме, где он ловил пискарей

[1] См. мои «Близкие тени» — литературные воспоминания.

и окуней, с торжеством объявил мне, что он прибавился за лето на восемь фунтов, в то время как в Ялте все терял вес. Я понимал это, — не все хорошо переносят ялтинскую летнюю жару, но когда Чехов начинал серьезно убеждать меня, что октябрьско-ноябрьский или мартовский московский воздух полезнее для его туберкулезных легких, чем ялтинский, — я недоуменно слушал его и чувствовал, что мои уговоры не ездить в это время в Москву бьются в него как в стену.

И, может быть, поэтому в Ялте Чехов часто бывал сумрачный и грустный, не такой, каким я его видел в Москве. Он оживлялся, когда приезжали в Ялту писатели, был более обычного оживлен когда в Гаспре жил Толстой, а в Олеизе Горький, но по-настоящему веселым я видел его во время приезда Художественного театра в Ялту с чеховскими пьесами. Я помню обед у Чехова, где были артисты Художественного театра и Горький, и никогда не видал Чехова таким веселым и радостным, как во время этого обеда.

В Чехове не было горьковской дерзости, горьковского озорства. Красивый, изящный, он был тихий, немного застенчивый, с негромким смешком, с медлительными движениями, с мягким, терпимым и немножко скептическим, насмешливым отношением к жизни и людям.

И дом свой устроил по своему вкусу, уютный, с маленькими комнатами. Мы начали строиться почти одновременно. Он дразнил меня, называл мой дом, высоко на горе над Ялтой, откуда открывался великолепный, единственный вид в Ялте на море и на горы — «Вологодской губернией», а я называл его место — «дыра». Мне не нравилось выбранное место в дальней части неопрятно содержавшейся Аутки, в ложбине у пыльного шоссе, но у Чехова было уютнее и интимнее, в особенности, когда рассадил он свой прекрасный садик, и пустынное место стало обжитым, забегали по садику две ласковые собачки и торжественно зашагала по двору цапля.

К политике Чехов относился равнодушно, пренебрежительно, даже можно сказать немножко брезгливо. Он не любил заостренных политических людей, редко бывал в домах, где мог встретить их, услышать интеллигентские споры о политике. Мы были с самого начала в добрых отношениях. Он сердечно подошел к нашей работе по устройству в Ялте безденежной туберкулезной публики, собирал пожертвования, [1] часто обращался ко мне с просьбой устроить нуждающихся больных, которых присылали к нему московские знакомые, но наши отношения долго не делались интимными — мешала политика. Антон Павлович был более чем равнодушен к тому, что волновало меня, и был слишком мягок и терпим к людям, которые были непереносны для меня, и на этой почве у нас возникала иногда временная отчужденность. К нему приезжали разные люди, пестрая публика.

Помню один неприятный случай. Как-то раз я встретил у него Меньшикова, нововременского, уже высказавшегося до конца Меньшикова. Чехов познакомил нас. Оставаться в обществе Меньшикова мне было неприятно, я прождал несколько минут и, отговорившись какими-то делами, ушел, не простившись с Меньшиковым. На другой день Чехов упрекал меня в нетерпимости, в том, что я обидел Меньшикова. В другой раз по поводу беспорядка в Петербургском университете, в которых деятельное участие принимал мой сын, Чехов стал говорить, что эти бунтующие студенты завтра станут прокурорами по политическим делам, а когда я заметил, что в массе эти студенты несомненно будут больше подсудимыми, чем прокурорами, он пренебрежительно махнул рукой и не продолжал разговора.

Это не значит, что Чехов был ближе к прокурорам, чем к подсудимым, не значит, что он не интересовался общественными

[1] Чехов не практиковал, хотя всегда интересовался медициной, но какой-то московский купец, несмотря на все отговорки Чехова, пожелал непременно получить от него совет и заплатил 50 р. Чехов передал нам этот гонорар, долго очень гордился этим и с торжеством спрашивал меня: — «Ну, вы, ялтинские врачи, получаете 50 р. за визит?».

делами, что равнодушно проходил мимо того, что совершалось кругом. Он был горячо предан общественной медицине, земскому школьному делу, известно, как много делал он в своем Мелихове, я знаю, как участливо относился он к нахлынувшему бедствию голода. На Сахалин он ездил не как турист ради развлечения. И в Ялте он много и многим помогал, чем мог. Он был чуткий к чужим нуждам, добрый активной добротой и враг лжи, сытого самодовольства, враг обмана и насилия, но человек левитановских пейзажей, настроения не бунтующей музыки Чайковского, Чехов не любил громких криков, трубных звуков. Ему чуждо было все острое, повелительно, непреклонно требовательное,— ему не сроден был бунт.

И вот пришло время, не стало прежнего Чехова... И случилось это как-то вдруг, неожиданно для меня. Поднимавшаяся бурная русская волна подняла и понесла с собой и Чехова. Он, отвертывавшийся от политики, весь ушел в политику, по-другому и не то стал читать в газетах, как и что читал раньше. Пессимистически и во всяком случае скептически настроенный Чехов стал верующим. Верующим не в то, что будет хорошая жизнь через двести лет, как говорили персонажи его произведений, а что эта хорошая жизнь для России придвинулась вплотную, что вот-вот сейчас перестроится вся Россия по-новому, светлому, радостному...

И весь он другой стал — оживленный, возбужденный, другие жесты явились у него, новая интонация послышалась в голосе.

Помню, когда я вернулся из Петербурга в период оживления Петербурга перед революцией 1905 г., он в тот же день звонил нетерпеливо по телефону, чтобы я как можно поскорее, немедленно, сейчас же приехал к нему, что у него важнейшее, безотлогательное дело ко мне. Оказалось, что это важнейшее безотлогательное дело заключалось в том, что он волновался, что ему безотлогательно, сейчас же нужно было знать, что делается в Москве и Петербурге, и не в литературных кругах, о которых

раньше он исключительно расспрашивал меня, а в политическом мире, в надвигавшемся революционном движении... И когда мне, не чрезмерно обольщавшемуся всем, что происходило тогда, приходилось вносить некоторый скептицизм, он волновался и нападал на меня с резкими не сомневающимися, не чеховскими репликами.

— Как вы можете говорить так! — кипятился он. — Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу! И общество, и рабочие!...

И как-то все перевернулось в нем. О том же Меньшикове он говорил мне:

— Читали вы, что написал этот мерзавец Меньшиков?

Я ответил, что Меньшиков был и есть Меньшиков и что у меня не всегда бывает охота и терпение читать его. А он все волновался и повторял:

— Нет, вы прочитайте, что он в последнем номере пишет.

Стал рассказывать мне о «Новом времени», с которым был связан и о котором раньше нередко упоминал. О самом старике Суворине он редко говорил и, когда говорил, косвенно защищал его. Помню, он мне рассказывал, что возмутительная статья в «Новом времени» по поводу 1 марта, требовавшая чуть ли не четвертования «злодеев», была помещена в газете без ведома Суворина, написана Иловайским, но относительно «Нового времени» он не жалел красок. Рассказывал, какие там дурные люди ведут дело, как там фабрикуется заведомая ложь, как подкупаются сотрудники, как во время Дрейфусовского дела переделывались и подделывались телеграммы, получавшиеся из Парижа от их собственного корреспондента, как вставлялись «не» в телеграммы, выбрасывалось нежелательное, ставились вопросительные и восклицательные знаки — появлялась в газете совсем другая телеграмма с противоположным смыслом.

Здоровье Чехова становилось — в значительной мере, думаю, из-за поездок в Москву — все хуже и хуже, и мне было трогательно и волнующе наблюдать эту просыпающуюся в Чехове

веру в близкую новую жизнь, поднимавшееся в нем новое настроение.

Мы вели частые и долгие споры о литературе, но о произведениях друг друга говорили редко и как-то стыдливо. Только раз, — помню, шли мы куда-то, — глядя в сторону, Чехов неожиданно сказал мне:

— Прочитал ваш рассказ («О, мама!»). У вас там как на виолончели играют.

Тем более поразило меня, когда Чехов, всегда сдержанный в разговорах о своей литературной работе, неожиданно протянул мне рукопись:

— Вот, только-что кончил... Мне хотелось бы, чтобы вы прочитали.

Я прочитал. Это была «Невеста», где звучали новые для Чехова, не хмурые ноты. Для меня стало очевидно, что происходил перелом во всем настроении Чехова, в его художественном восприятии жизни, что начинается новый период его художественного творчества.

Он не успел развернуться, этот период. Чехов скоро умер.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

В 1903 году Лев Николаевич Толстой приехал в Гаспру в имение С. В. Паниной отдыхать и лечиться от тульской малярии и длительных непорядков в кишечнике.

Меня чрезвычайно интересовал Толстой, но я не собирался ехать к нему. На поклонение, как к вероучителю, я не мог итти, а ехать для знакомства было неловко, — слишком много к нему ходило людей, чтобы только посмотреть Толстого, — но вскоре по приезде Толстой сказал кому-то из общих знакомых ялтинцев: «Нужно дать доктору Елпатьевскому тысячу рублей на туберкулезных больных». Это облегчило мне посещение Толстого, и вместе с доктором Альтшулером, начавшим лечить дочь Льва Николаевича, Марию Львовну, я отправился в Гаспру.

Я увидел Толстого не таким, каким ожидал встретить его. Начиная с наружности. Я, конечно, много видел портретов Толстого, но такого мужицкого крестьянского облика я не ожидал встретить. Были в старые времена такие старосты, бурмистры из крепостных времен. И, очевидно, не мне одному бросался в глаза этот крестьянский облик. Чехов, которому я сообщил свое впечатление, согласился, но сделал поправку — Толстой больше похож на десятника лесника, что мерят в лесу поленницы нарубленных дров.

А потом я ожидал встретить Толстого человеком, порвавшим с прошлым, отвернувшимся от того, чем он жил раньше, и прежде всего от главного содержания его жизни — художественного творчества. Человеком замиренным, надевшим схиму на свои страсти, на свои буйные порывы, пришедшего к тому, что поется в великопостной молитве: «целомудрия, смиренномудрия, терпения, любве даруй мне, рабу твоему».

Он был не замиренный, не покоривший себя, не ушедший от себя. Мы попали как раз на приступ тульской малярии — температура была выше 38°, нам пришлось тут же раздеть его, выстукать и выслушать, — и только-что мы покончили с врачебными наставлениями, как Толстой возбужденно стал нам рассказывать нелепую историю о каком-то чуде в Новочеркасске, в которое поверил, или сделал вид, что поверил, Победоносцев. Толстой разыскал письмо, присланное ему из Петербурга, и, зло издеваясь над Победоносцевым, перечитывал нам отдельные, наиболее пикантные места. А после этого вцепился в меня, — очевидно, он знал мою политическую физиономию и, обращаясь именно ко мне, начал нападать на социализм. Помню одну из его аргументаций. И природа, и условия сельского хозяйства устанавливают необходимость работать летом от восхода до захода солнца, а социалисты лезут со своим восьмичасовым рабочим днем.

Он был то, что называется «задира». И в следующее мое посещение, когда я был один, сразу завел разговор о мышьяке — мы настаивали, чтобы он лечился инъекциями мышьяка.

— Что делает мышьяк в организме? — И после моей короткой реплики с некоторым разочарованием, что я не вступил в спор, добавил: — А я думал, что вы скажете... Мышьяк ведь в организме соединяется...

И даже когда был тяжко болен,[1] не упускал случая подразнить нас, докторов, и посмеяться над ними, когда мы преждевременно радовались его выздоровлению.

И чем дальше знакомился я с Толстым, тем более открывал в нем прежнего исконного Толстого, каким он был до его религиозного перелома. Он не выгнал из себя, не потушил в себе жадного художника, и я знал, что в Гаспре и даже в промежутках тяжкого заболевания, от него не уходили художественные замыслы. Я помню, с какой жадностью он расспрашивал меня, что я помню из когда-то прочитанной книжки о Хаджи-Мурате, и как с видимым захватом рассказывал мне о нем.

И все было толстовское... Однажды он рассказал мне, как молодым офицером ехал на Кавказ и, встретившись на какой-то почтовой станции с другими офицерами, проиграл все, что было у него. Проиграл деньги, проиграл экипаж, в котором ехал, и собирался поставить на карту все свое имение и поставил бы, если бы не вмешался старый майор, насильно уведший Толстого от карточного стола и сурово отчитавший его.[2] А довольно

[1] Мне пришлось долго лечить Толстого. У него было гриппозное так называемое бродячее воспаление легких, обошедшее три доли, с температурой около 40° и с кризисами, когда сердце изнемогало и пульса нельзя было сосчитать. Некоторое время нам приходилось лечить вдвоем с доктором Альтшулером и только к последнему приступу приехали доктора Щуровский из Москвы, Бертенсон из Петербурга и возвратился из отпуска кореизский врач Волков. Эта болезнь сблизила меня с Толстым. Более подробное воспоминание о Толстом и его болезни напечатано в моих «Литературных воспоминаниях».

[2] Известно, что Л. Н. проиграл в карты свой родительский дом в Ясной Поляне, который увез к себе в другой уезд выигравший его помещик. Софья Андреевна рассказала мне об этом.

скоро после этого рассказа мне пришлось играть с Львом Николаевичем в винт, и я не встречал в жизни такого страстного игрока. Наблюдая за ним во время этой игры, я понял, что он из тех страстных игроков, которые способны ставить на карту все, которые, как Достоевский, способны были проиграть костюм, юбку своей жены.

Я долго стоял в недоумении перед Толстым, перед этим необычным человеком. Он был необычен и не укладывался в меру даже крупных значительных людей. Все было в нем большое, сверхурочное.

Он много ел. Доктор Флеров, вызванный в Ясную Поляну лечить Толстого, рассказывал мне, что Толстой заболел от того, что три последние масляничные дня он съедал по столько блинов, сколько хватило бы на двух здоровых людей. Его кости и мускулы требовали большого движения — Толстой не мог не двигаться, не давать большой работы своим костям и мускулам. И в Ясной Поляне и Гаспре он должен был ежедневно исходить или изъездить много верст. В Гаспре он заболел воспалением легких после того, как в пасмурный дождливый день проделал длинную прогулку верхом, — он не любил обычных дорог и ездил по узким тропинкам между татарскими садиками, где ему приходилось переходить самому и переводить лошадь через изгородь.

Когда он ходил купаться в своей яснополянской речке, он семидесятилетним стариком перед купаньем предварительно проделывал гимнастические упражнения, какие приличествуют молодым людям. Он сам мне упоминал, как бурно проходила его молодость в половом отношении.

И совершенно невероятны были размеры его духовной жизни. Велика была совесть его, велик был разум его, велики были не только объем его мысли, но и непрерывность, напряженность мысли.

Даже когда смерть пристально вглядывалась в него. Помню один случай: он только что перенес тяжкий приступ воспаления

легкого, пульс был еле уловим, мне казалось, что он лежит без сознания. И вдруг он открывает глаза, требует карандаш и бумагу, а когда карандаш выпал из дрожащих слабых рук, он зовет Марью Львовну и еле слышным голосом просит принести ему какую-то тетрадь из его рукописей, и я наблюдал, как диктовал он ей поправки к тому, что было там написано.

В Толстом было огромное индивидуальное «я». Когда жил у меня в Нижнем-Новгороде Глеб Иванович Успенский, кто-то при мне спросил его: что он думает о Толстом? о его проповеди? — и Успенский ответил, как всегда неожиданной, репликой:

— Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя. [1]

Да, вокруг себя, но никогда не успокаивающегося, вечно волновавшегося всеми волнениями жизни себя.

Предо мной долго стоял вопрос, как мог этот огромный человек с вечно голодным умом, с его страстным темпераментом, — по существу борец и воин, а не столпник, не отшельник, — как он мог притти к тому, к чему и пришел, как он мог успокоиться или вернее стремиться успокоиться на той маленькой философии жизни, которую он выработал, которую проповедовал?

Мне кажется, что привели Толстого к его решению жизненной задачи именно огромность его индивидуального «я», бунт его сердца, бунт его разума.

Вечно тревожная, вечно волнующаяся мысль... Она была особенная, толстовская. Толстой не был тем философом, что в кабинете со спущенными шторами обдумывает проблему жизни, не делая из нее выводов для своей жизни и мало заботясь о том, какие выводы сделают из его проблемы другие люди. Толстовское окно было настежь раскрыто, и все думанное и додуманное билось в сердце его и повелительно звало его к деланию, к пропаганде нового, к претворению своей думы в жизнь.

Это была тяжелая, доходившая до муки внутренняя работа

---

[1] Парифраз заглавия известной повести Жюль-Верна: «Восемьдесят тысяч лье вокруг света».

духа Толстого. Отрекаясь от прошлого, снимая с себя ветхого человека, ему приходилось ломать всю свою жизнь, отрекаться не только от привычной и удобной жизни, не только от самого дорогого ему художественного творчества, — приходилось рвать больно до крови свою семейную жизнь. Толстому стало тяжко его огромное «я». Ему, многосложному, захотелось упроститься, ему, вечно волнующемуся, хотелось успокоиться, его страстно потянуло раствориться в массе, стать «мы». Тем мудрым, ясным,— так думал он — народным «мы», где нет противоречий, где вековечная простая правда, где все согласовано, все замирено.

И можно понять, почему этот жизнежадный человек говорил: «не кури», «не живи половой жизнью», «не тянись к красоте», «не поднимайся до художественного творчества»; почему человек, у которого в душе было столько бури и противления, говорил: не противься злу насилием, почему этот многогранный, многозвучный человек звал людей к тихой, бесшумной, однотонной жизни... Как Достоевский говорил: смирись, гордый человек! — так Толстой проповедовал: сожмись, упростись и опростись, многогранный осложнившийся человек, — не живи, как я, Толстой, жил.

Не странно ли, что в огромных художественных полотнах Толстого оказалось мало места для представителей крупного индивидуального «я», для действенных волевых борющихся людей, что огромная фигура Наполеона вышла бледной, серой фигурой, что страстный борец по натуре Толстой облюбовал своим художественным любованием тихого, яркого своей неяркостью капитана Тушина, Каратаева, «круглого» Каратаева, у которого так много было «смиренномудрия, терпения, любве» и который был так противоположен Толстому?

Кругом него русская жизнь была полна бунта, исканий, там были волнующиеся умы, ищущие правды люди, волевые сердца, — не странно ли, что Толстой не мог не знать и не наблюдать этих людей — нигде, если не считать зарисованных бледных силуэтов ссылаемых политических людей в «Воскресении», нигде

не остановился на революционерах его времени и даже просто на типах русской интиллигенции. Не будет парадоксом сказать, что может быть именно потому они не нашли места в его художественном восприятии, что в них была доля толстовского «я», что они так же были люди волнующейся мысли и страстного сердца, — было то, от чего уже тогда, в 70-х годах, уходил Толстой, что он осудил.

Труднее всего уходить от самого себя, и, уходя последним уходом, Толстой уходил, мне думается, не только от Ясной Поляны, от того, что стало там уже непереносным для него, но и от самого себя, своего «я», от тоски сердца и тревоги разума, в замиренное, безбрежное крестьянско-христианское «мы».

И все-таки Толстой, по крайней мере тогдашний гаспринский Толстой, не ушел от себя. Я провожал его, когда он уезжал из Ялты. Рубка парохода была полна народа. Толстой увел меня на корму парохода, мы сидели вдвоем на сложенных канатах и любовались красивой Ялтой. Толстой спросил меня:

— Сколько вам лет?

И когда я ответил, что мне 48 лет, он посмотрел на меня завистливыми, я бы сказал злыми глазами и, отвернувшись от красивой Ялты, глухо выговорил:

— Самое лучшее время моих писаний! «Анну Каренину» писал...

Тут же на параходе он взял с меня слово навестить его в Ясной Поляне. В ту же осень я приехал к нему, и первое, чем он меня встретил, — заставил меня присесть и сам присел почти до полу и ловко вскочил, лучше меня, видимо наслаждаясь, что его мускулы и кости эластичны, как раньше.

В этот раз он был весел и очень оживлен и тотчас же после ужина предложил мне прочитать два рассказа, только что им написанные. Тут вышла сцена, которую мне неприятно вспоминать. Лев Николаевич, прочитал мне «Восстановление ада». Напечатанный рассказ значительно разнится от того, что Толстой тогда читал мне, очевидно, он после работал над ним. Мне не

понравился рассказ, и осторожно, со всей деликатностью, но и с полной искренностью, я высказал свое мнение. Быстро открылась дверь. Вошла Софья Андреевна, очевидно, слышавшая за дверью, что я высказывал, и начала сердито говорить:

— А я что говорила ему?.. — Слова сыпались неделикатные, бесцеремонные, даже вульгарные, которых я не хочу повторять. Было упоминание, что скажет Европа. Я готов был провалиться сквозь землю.

Лев Николаевич был сконфужен и не стал читать второй рассказ.

У меня осталось от этой сцены неприятное воспоминание о Софье Андреевне, но я не могу здесь не коснуться той недостойной, нередко принимавшей возмутительные формы травли, которая поднялась в печати против Софьи Андреевны.

Люди помнят Софью Андреевну в период ее разлада с мужем, и не помнят ее, прожившую долгую согласную жизнь с Львом Николаевичем, отдавшую ему свою жизнь, принимавшую деятельнейшее участие в его литературной работе, — и не только тем, что переписывала, как сама она мне рассказывала, пять раз «Войну и мир». Я помню ее в Гаспре, во время болезни Льва Николаевича. Вся тяжесть болезни легла, главным образом, на нее.

Французскую пословицу: «все понять — все простить» можно принимать и не принимать, но первая половина формулы обязательна для всякого, кто берется судить. И не так трудно понять. До религиозного духовного перелома Льва Николаевича семья жила обычной жизнью круга, к которому принадлежала, дети учились, дети воспитывались, как воспитывались дети их круга. Ко времени духовного перелома сыновья были взрослые, дочери — невесты, которым по-тогдашнему полагалось «выезжать». И вот в это время муж-отец решает, что нужно ликвидировать прежнюю жизнь, отказаться от собственности, отдать Ясную Поляну крестьянам и перейти на трудовую крестьянскую жизнь, к которой были не подготовлены дети, о которой

не думала семья... Можно сожалеть, что Софья Андреевна не пошла и в этом рука об руку с мужем; но можно ли винить Софью Андреевну за то, что она, жившая всю жизнь тем, в чем воспитывалась, в чем выросла, не разделявшая ни религиозных, ни социальных исканий мужа, не пошла с ним и за ним и стала на защиту семьи, детей? Много писали об особенностях ее характера, об ее психической неуравновешенности, но не было ли все это до известной степени результатом той муки, которую, несомненно, приходилось переживать ей долгие годы между привязанностью к мужу и борьбой за детей, за участь своей семьи?

IX

ПЕРЕД МАНИФЕСТОМ

Тяжело, грузно начала подниматься, вставать горбом когда-то покорная плоская равнинная Россия. В особенности последние три года перед манифестом.

Погромыхивала деревня, и красные языки все чаще и ярче вспыхивали над помещичьими усадьбами, пока не слились в широкую «иллюминацию», как выразился в первой думе Герценштейн. Стачки и забастовки становились буднями в рабочей жизни. Развертываясь на экономической почве, они своей частотой, новой и небывалой организованностью становились огромным политическим фактом и все учащались и расширялись, пока не вылились в огромную всероссийскую забастовку 1905 года.

Я продолжал каждую зиму ездить месяца на два в Петербург, и это расширение и ускорение темпа оппозиционного движения особенно ярко вставало передо мной. Петербург был шумен и говорлив. В стенах высших учебных заведений шли митинги, куда приходили и не студенты. В Петербург сходились известия о политических резолюциях, требующих конституции и ограничения самодержавия, из общественных учреждений, долго бывших немыми. Легальные и полулегальные съезды неизменно принимали политическую окраску. Еще при Плеве почти открыто происходили заседания Союза Освобождения. А потом банкеты...[1] Вся Россия... Отдельные ручейки, боковые течения слились в один поток, пробили одно русло, подмывающее фундамент русского самодержавия. Россия объединялась в своей

[1] На банкете петербургских врачей мне пришлось председательствовать.

оппозиции правительству, и правительство изолировалось. Россия кипела котлом, а власть долго занималась только тем, что подкладывала дров в костер под котел и упорно завинчивала отдушины. И даже когда Россия стала вздрагивать и зашаталась почва под ногами самодержавия, в правительстве не нашлось истинно государственных людей, которые учли бы и поняли совершавшееся в России и даже в интересах власти приняли бы определенные не обманные меры. Начавшиеся уступки были неумные и всегда запоздалые, — все эти «министерства доверия» Святополка-Мирского, законосовещательная булыгинская дума, уступки крестьянам, попытки разрешения или, вернее, умягчения рабочего вопроса в роде шидловской комиссии и т. д. и т. д.

Власть стала нервничать, металась в поисках опоры, пробовала опираться на Зубатовых, гапоновщину, Азефов. Провокация и шпионаж все разрастались из года в год. Реакция продолжалась, газеты закрывались, но власть к газетам стала больше прислушиваться, стала бояться печатного слова. Подкупались юркие охочие литераторы, втискивались в редакции «свои люди», бывали случаи возникновения литературных органов прямыми шпионами (Гурович).

Помню один случай. Было нашумевшее в печати дело генерала Ковалева, где-то, в глуши Кавказа приказавшего солдатам выпороть врача, чем-то ему не угодившего. Возбуждено было расследование, но в защиту генерала Ковалева поднялись дружественные заступники, несколько высших генералов, в том числе и Куропаткин, и дело расследования кончилось, до суда не дошло. Тогда я написал статью: «Мы требуем суда», где, не стесняясь в выражениях, писал о Ковалеве и о генералах, защищавших Ковалева.[1] Статья произвела некоторую сенсацию.

[1] Мне не удалось поместить статью в тогдашнюю оппозиционную газету, название ее я забыл. Редактор профессор Ходский в недоумении говорил: «Кто же это — «мы»? И, несмотря на настояния других членов редакции, возвратил мне рукопись, и я принужден был отдать ее в «Русь».

Вскоре в газетах появилось известие о возобновлении расследования и о предании Ковалева суду. До суда дело не дошло, газеты известили, что Ковалев застрелился.

Повидимому, статья взбудоражила военные сферы. Не помню, по какому делу мне пришлось быть в канцелярии петербургского градоначальника. Из кабинета вышел полковник и обратился ко мне:

— Вы господин Елпатьевский? Это вы написали статью о Ковалеве?

Он долго рассматривал меня и начал было говорить:

— Как же это вы?.. — Но его спешно позвали в кабинет, и я так и не знаю, что он хотел мне сказать.

Когда я вспоминаю эти три года перед объявлением царского манифеста, то, что происходило тогда в России, представляется мне теперь кинематографической лентой, где быстро меняются картины, где пробегают, быстро скрываются отдельные фигуры. Казалось, так долго сидевшая смирно на месте Россия вдруг сдвинулась с места. И чем дальше, тем больше наростало движение, тем больше ускорялся темп его.

Огромную роль в нарастании противоправительственного движения и в ускорении этого движения сыграла японская война. Я не говорю уже об интеллигенции и вообще о культурных людях. Еще задолго до войны в общество проникали слухи о концессиях на Ялу, о роли темных людей — разных Безобразовых и Алексеевых, широко известна была беспутная подготовка к войне и самое ведение войны, неспособные и не очень чистые Ренненкампф, Меллер-Закомельский. К авантюре японской войны сразу образовалось враждебное отношение.

Для низов, для широких слоев городского и сельского населения война встала недоуменным вопросом. Мне приходилось слышать обывательские разговоры в Крыму. Где-то далеко, за концом Сибири есть маленький остров, где живут маленькие люди — японцы. Почему пришлось воевать с японцами, никому

не известно. Конечно, огромная русская лапа прихлопнет этих маленьких людишек с их маленьким островом, но по какому случаю самая эта война? Почему поезда за поездами бесконечно едут войска на этот край света?

Что Россия победит, в этой обывательской среде не сомневались. Помню, шел я в горы из Ялты с молодым нижегородским купцом Блиновым. Дело было в начале японской войны, у меня уже имелись сведения о безобразии всей подготовки к войне, и в разговоре я высказал, что еще вопрос, выйдем ли мы победителями из этой войны. Мой спутник оборотился ко мне и, дрожа всем телом, с побелевшим лицом и злыми глазами, угрожающе выкрикивал:

— Сергей Яковлевич! Не говорите мне таких слов!.. Не могу я этого перенести. Я уважаю вас, но... — он захлебнулся и не докончил. И я думаю, если бы он не был много обязан мне, он бросился бы с кулаками на меня в эту минуту.

Можно думать, что такой патриотизм и такая привычная вера в мощь России была не у одного моего нижегородского знакомого.

И тем страшнее и непереноснее был удар по этому обывательскому чувству, когда последовали Мукден, Цусима, когда маленькая Япония разгромила русскую армию и флот. Обывательской мысли был нанесен удар в самом коренном вопросе их отношения к государственной власти, — оказалось, что эта власть не может исполнять даже свою основную задачу, защиту страны от внешних врагов.

Повторяю, я не говорю уже о настроении петербургской интеллигенции. Первый раз в жизни мне пришлось услыхать о поражении России японцами, как о желательном исходе японской войны. Это было довольно широко распространенным мнением и было уже настолько заметным явлением в петербургской жизни, что на нем с изумлением остановился приехавший тогда в Россию парижский адвокат Альфред

Бейль, с которым я познакомился и имел деловой разговор.[1]

Тотчас после делового разговора он задал мне вопрос:

— Объясните мне, пожалуйста... Мне приходится встречать здесь в Петербурге мнение очень интеллигентных людей, что желательно поражение России в теперешней войне с Японией. Я не понимаю...

Я пытался объяснить ему всю сложность тогдашнего момента русской жизни, но повидимому не мог сделать это понятным французу. Он продолжал говорить:

— Я не понимаю... Мы, все французы, к каким бы партиям ни принадлежали, когда дело идет о войне, о защите отечества, мы делаемся одним целым — Францией... И мы никогда не пойдем на поражение.

И для меня это было новым явлением. Я помню турецкую кампанию 77-го года, когда я участвовал в ней на Кавказе в качестве помощника врача. Помнил воодушевление, вызванное сербской войной, куда добровольцами шли революционеры, помнил, как Гаршин добровольцем, рядовым солдатом пошел в дунайскую армию сражаться с турками, и не помнил ни одного голоса, проповедывавшего поражение русской армии, как желательный исход войны.

И было 9 января, вставшее ярким и страшным пятном на фоне тогдашней жизни. Ужасом веяло тогда от Петербурга.

---

[1] Я собирался на два зимних месяца поехать в Палестину, поехать с паломниками и с моей горничной, очень религиозной женщиной, всю жизнь мечтавшей о поездке к гробу господню и собиравшейся, как она призналась мне, остаться там навсегда, доживать свою старость. Я тоже давно стремился посетить библейские места, и между прочим меня интересовала судьба еврейских колоний в Палестине. Мои петербургские друзья познакомили меня с Альфредом Бейлем, одним из директоров парижского комитета, ведавшего дело устройства евреев-эмигрантов в Палестине. Он охотно обещал дать мне рекомендательные письма и облегчить мне ознакомление с еврейскими колониями.

Помню бледные лица, растерянные глаза, дрожащие волнующиеся голоса у людей, собравшихся поздним вечером накануне шествия рабочих к царю, когда собрание спешно выбирало делегацию к Святополку-Мирскому и к Витте, чтобы предотвратить ужасы завтрашнего дня. Делегация ничего не добилась, и страшный день наступил. Помню отдельные моменты шествия рабочих, помню красные пятна на снегу Адмиралтейской площади, помню сутолоку в Публичной библиотеке, где металась в ужасе интеллигенция. Ужасом веяло от полутемного в этот вечер Невского, где носились конные фигуры казаков и драгун, вскакивавших на тротуары, чтобы разгонять отдельные немногочисленные группы пешеходов.

Днем мне пришлось итти из центра на Петербургскую сторону, — я получил известие, что мой племянник, В. Курбатов, гимназист старших классов, шедший вместе с рабочими, был тяжело ранен в руку у Троицкого моста. Вечером я не попал в Вольно-экономическое общество, где, говорили мне, выступал из публики Гапон, — я вместе с В. А. Мякотиным писал прокламацию-воззвание к войскам.

Поздно ночью я ушел из квартиры Мякотина, а через два часа после моего ухода явилась полиция с обыском, кончившимся ничем, так как сестра Мякотина успела проглотить нашу прокламацию. Не появилась и моя статья, написанная в ту ночь — негде было поместить ее.

И по существу не нужно было ни статей, ни прокламаций, 9 января явилось громовой прокламацией, облетевшей всю Россию, нашедшей отклик во всей России, взволновавшей не только рабочие слои, ответившие на 9 января забастовками в самых глухих углах, но и широкие слои всей низовой России.

9 января явилось огромным историческим фактом. 9-го января на улицах Петербурга было ликвидировано складывавшееся веками отношение к царю, к престолу, как к центру, конечной инстанции, куда народ может приходить со своими нуждами.

В далеких местах смутно знали, с какой петицией шли, о чем

просили петербургские рабочие, но знали и крепко усвоили одно, — что рабочие шли не бунтовать, безоружные, что они шли по-старому, древнему с иконами, с царским портретом, и знали, что царь не допустил к себе, а велел расстрелять этих рабочих, свой народ.

ПИРОГОВСКИЕ СЪЕЗДЫ ВРАЧЕЙ. ХОЛЕРНЫЙ СЪЕЗД В МОСКВЕ 21 — 23 МАРТА 1905 ГОДА.

Характерным показателем тогдашнего общественного настроения являлся холерный съезд в 1905 году.

Пироговские съезды интересны и другим. Именно в них ярко сказались особенности русской медицины — ее общественный характер в противоположность индивидуальной и государственно-административной постановке медицинского дела в Западной Европе, о чем мне приходилось уже упоминать раньше.

Русская земская медицина и русский земский врач представляли собой оригинальное явление, не имевшее аналогии в Западной Европе. Земский врач являлся не только врачом, но и общественным деятелем, носителем культуры в деревне, участником чуть ли не во всех областях общественной жизни в деревне.

Я беру один пример. [1] Не говоря уже об огромной созидательной, собственно медицинской работе, благодаря чему маленькая начала амбулатория выросла в широко поставленное медицинское учреждение, удовлетворявшее разнообразные нужды населения, земский врач Повалишина организовала участковые

[1] В. Н. Повалишина. 30 лет культурной работы участкового врача в деревне.

Издание Пятницкого волостного профилактического совещания 1925 года.

Повалишина работала в глухом углу Московской губ., где население было бедное и до появления Повалишиной и образования земского медицинского участка население вымирало. Свои записки Повалишина писала за месяц до смерти.

санитарные попечительства из крестьян, плодотворно работавшие 12 лет, устроила по деревням летние детские ясли, организовала библиотеку, литературные вечера в деревнях и всякие чтения, передвижную гигиеническую выставку, произвела обследование учеников всех школ участка. Она же устраивала спектакли в деревнях, причем врач исполнял роль сценариуса и декоратора, а фельдшерица роль режиссера. Ей же, Повалишиной, пришлось наладить почтовое сообщение с ближайшей станцией, она же по просьбе агронома приютила у себя склад сельскохозяйственных машин и семян и вместе с медицинским персоналом, — работая, конечно, безвозмездно, четыре года продавала плуги, — до 1 000 штук, веялки, сортировки, отпускала семена ржи, овса, клевера, вики, благодаря чему прошло травосеяние в деревнях, и, как упоминает Повалишина, похоронена была соха в деревнях.

Такими земскими врачами, такими Повалишиными строилась русская земская медицина. Благодаря им русская медицина приняла своеобразный облик, выросла в широкую организацию общественной медицины.

И можно понять удивление западно-европейских людей, когда им приходилось знакомиться с особенностями постановки земского медицинского дела в России.

Перечисляя выставленные в русском павильоне Дрезденской гигиенической выставки (1911 г.) земские издания по санитарной статистике из 19 земских губерний, автор каталога, известный немецкий статистик доктор говорит:

... «Эта коллекция представляет поучительный пример, указывающий, что медицинская статистика получила в русском самоуправлении развитие, как ни в каком другом из европейских административных управлений. Отсюда делается также само собой понятным тот беспримерный интерес, который был обнаружен к статистическому отделу выставки именно со стороны русских санитарных врачей в противоположность их немецким коллегам».

В другом месте тот же известный статистик говорит о санитарных таблицах П. И. Куркина:

... «которые возбудили во мне интерес в такой мере, что ради них я усвоил себе нужные для перевода познания русского языка».

Вот такие земские врачи и создали Пироговские съезды. В первое время съезды носили преимущественно научный, так сказать профессорский характер, но очень скоро земский врач заполонил съезды и придал им тот своеобразный характер, какой они носили до последнего времени. Научная ценность работ съезда не понизилась, но те вопросы государственного и общественного характера, с которыми неизбежно встречался врач, как общественный деятель, постепенно занимали все большее и большее место и значение в работах съездов. И так как лучшие, важнейшие начинания земско-медицинского дела неизбежно упирались в инертное или враждебное отношение правительства, — резолюции и постановления съездов постепенно принимали все более оппозиционный характер, пока не вылились в чисто революционные требования.

Почти за два года до первой революции 9-й Пироговский съезд в Петербурге (от 3 до 11 января 1904 г.) выносит постановление о необходимости распространения на всю Россию земских учреждений, о необходимости коренной реформы земской начальной школы с передачей общественным учреждениям педагогической и хозяйственной части, постановляет, что казенная винная монополия не препятствует, а содействует развитию алкоголизма в России. И было еще одно характерное постановление: так как большинство ходатайств Пироговских съездов оставалось без ответа и удовлетворения, — не обращаться больше к правительству. И правление Пироговских съездов с тех пор непосредственно оповещало о своих постановлениях только земские и городские самоуправления.

Пироговский холерный съезд 21 — 23 марта 1905 г. явился уже чисто революционным съездом. Была принята резолюция

с теми общими требованиями, которые выставлялись тогда в революционных организациях. На ряду с требованиями по рабочему и аграрному вопросу была характерная фраза:

... «поэтому Пироговский съезд заявляет о необходимости врачам сорганизоваться для энергичной борьбы рука об руку с трудящимися массами против бюрократического строя для полного его устранения и за созыв учредительного собрания». [1]

Вторая резолюция предлагала считать непозволительным и недопустимым участие врачей в созданных правительством санитарно-исполнительных комиссиях.

Правительство, как и во многих случаях тогда, чувствовало себя неуверенным и повидимому не знало, что делать с съездом. Когда же открылся съезд и началось заседание, стало известно о запрещении съезда. Съезд не подчинился, заседание продолжалось и благополучно закончилось ночью. А потом было получено из Петербурга разрешение на съезд, и даже после нашего [2] разговора с тогдашним градоначальником Волковым было разрешено перенести заседания съезда из тесных университетских аудиторий в большое зало консерватории на Никитской.

На съезд собралось 1 635 врачей со всех концов России. Настроение было бурное, напряженное и мне кажется характерное для переживавшегося тогда момента. И по тому, как отзывался съезд на отдельные фразы, как принимались резолюции, я чувствовал, что свое настроение люди принесли из своих углов, что резолюции являлись выражением общей воли, формулировали то, что несли люди на съезд.

Первая резолюция принята была единогласно, вторая собрала только три несогласных голоса.

---

[1] По цензурным условиям фраза была смягчена, хотя смысл остался. Не помню в точности, но в принятой резолюции фраза была ярче и точнее.

[2] Председателями съезда были избраны известный саратовский врач Ченыкаев и я. Мне пришлось председательствовать и вместе с президиумом объясняться с Волковым.

Было постановлено широко распространить резолюции съезда и в ответ последовал длинный ряд приветствий съезду и одобрение его постановлений со стороны провинциальных врачей и не только от врачей, но и от других обществ, от кружков русских женщин и т. д.

Насколько повышено было настроение съехавшихся врачей, показывает уже далеко ушедшая от холеры резолюция, принятая съездом по поводу болезни Максима Горького, находившегося тогда в Петропавловской крепости.

... «мы, врачи Пироговского съезда, заявляем, что мы не можем равнодушно смотреть, как на наших глазах погибает лучший сын нашей родины, давно сделавшийся великим гражданином всего мира, и требуем немедленного прекращения дела М. Горького и немедленного освобождения его от всякого преследования»...

В Ялте было тихо и смирно. Не было банкетов, не было собраний. Велась пропаганда, тогда главным образом эсерами среди извозчиков, ялтинских рабочих, но пока не выявлялась ничем на поверхности ялтинской жизни, и только после объявления манифеста вскрылись результаты этой пропаганды. И тем не менее, настроение Ялты резко менялось. Приходили с севера газеты, полные всем тем, чем волновалась Россия, приезжали с севера люди с другими лицами, с другим настроением, с другими разговорами. Даже люди бархатного сезона. Петербургский купец, мало знакомый мне, после разговора о своей болезни, вынимает скомканный листочек «Освобождения» и подает мне, провинциалу.

Появляются в Ялте странные молодые люди. После короткого разговора о здоровьи признаются, что они пришли ко мне как к писателю и просят сказать свое мнение об их писаниях. Какие-то калики перехожие, люди из низов. Помню особенно хорошо одного. Загорелый, коротко остриженный, с порывистыми движениями и быстрой речью, он сразу вынул пачку своих писаний и как-то сурово просил прочитать. Из коротких слов его я узнал, что он сын деревенского мельника, повидимому очень зажиточного крестьянина, ушел из дому, порвал с семьей, пошел бродить по России и как-то докатился до Ялты. Он был не беллетрист, а публицист, его статьи, всегда гневные, обрушивались на власть, на богатеев. Для меня было ясно, что он не распропагандированный человек и очевидно собственными усилиями добивался решения вопросов, которые волновали его.

Была в голове его еще большая путаница, и рядом с сильными местами были немощные блуждания, много дидактики, недодуманных дум. Помню одну рукопись, где писавший яростно нападал на проституток за то, что они продают свое тело. Когда в следующее свидание я сказал несколько слов о проституции, как о социальном явлении, и предложил ему подумать, не следует ли, — если уж искать виновных, — переложить вину с женщин на мужчин, мой собеседник посмотрел на меня широко открытыми глазами, быстро вошел в мою мысль и, кажется, очень сконфузился.

Население юга России и Крыма в особенности никогда не отличалось крепкими верноподданническими чувствами. Не говоря уже о коренном татарском населении, при мне еще время от времени эмигрировавшим в Турцию, политика угнетения правительством инородцев и иноверцев: армян, грузин, штундистов, баптистов, — этих инородцев и иноверцев очень много было в Крыму, — не воспитывало в них дружелюбных чувств к тогдашней власти.

Правительственные горести и неудачи не возбуждали в них печальных чувств, противоправительственные люди находили часто, хотя и не активное, сочувствие.

Помню радость, которая была в Ялте при известии об убийстве Плеве: с веселыми лицами, с радостными улыбками передавали друг другу известие люди, которых раньше я считал далекими от политики. Помню одну сцену: я выходил из городского сада, впереди меня встретились два пожилых человека, солидные

люди в котелках, и при мне обменявшись известиями о смерти Плеве, они горячо пожали друг другу руки и расцеловались.

Должно быть людям, массам нужен человек, на котором сосредоточить свою любовь, так же как человек, в которого вложить свою ненависть. Таким ненавидимым был повидимому Плеве.

Такую же радость я наблюдал в более глухом углу, чем Ялта, в Балаклаве по случаю убийства Столыпина. Поздно вечером ко мне приехал в лодочке — я жил по другую сторону бухты — покойный шлиссельбуржец Тригони с только-что полученным известием о смерти Столыпина. Я поехал с ним. Набережная была полна народу, взволнованного и совсем не опечаленного известием, и я сам слышал, как обыватель, купец, отправляясь в гостиницу, говорил своим знакомым:

— Ну, по такому случаю сегодня я вас угощаю.

МАНИФЕСТ

Гулким звоном прозвенел на всю Россию царский манифест 17-го октября 1905 г.

В Ялте манифест явился совершенной неожиданностью. Рано утром, 18-го октября, проживавшая в то время в Ялте Екатерина Павловна Пешкова сообщила мне по телефону о получении манифеста. На мои недоуменные вопросы она взволнованно передавала мне отдельные пункты манифеста и настойчиво повторяла:

— Все, все, все... полная уступка...

Я бросился на набережную. На ступеньках «Поплавка», против гостиницы «Мариино» стоял редактор местный газеты Первухин — худой, бледный и, напрягая свой слабый голос, читал по гранкам собравшейся толпе, запрудившей улицу, текст полученного манифеста.

В тот же день у меня на квартире собрались несколько ялтинцев — тот же Первухин, санитарный врач Розанов, присяжный поверенный Приселков и бывший ассистент московского университета, живший в Ялте, из-за туберкулеза семьи, Ярцев, и кажется, д-р Альтшулер. Мы наскоро составили воззвание к публике, разъяснявшее манифест и имевшее целью сорганизовать движение и не допустить погромных выступлений, возможности чего боялись мы. В тот же день состоялся на площади митинг и потом огромная для Ялты демонстрация, в которой участвовало по приблизительному подсчету около 10 тысяч человек, т. е. почти половина населения Ялты. Настроение было праздничное, радостное и вместе с тем торжественное. Демонстрация прошла по улицам Ялты и несла на креслах выступавшего на митинге оратора Юрьева и ораторшу, фамилию которой я забыл.

Так же торжественно, неомраченно радостно встречена была весть о манифесте и в других местах Крыма. В Алупке было сначала недоумение — с каким флагом, красным ли революционным или государственным, должна итти демонстрация. Решили связать оба флага, один — как символ единства России, другой — как знамя братства народов и знамя новой жизни. С таким флагом и ходила демонстрация. Русские ходили к татарам, к мечети, татары приходили к русским, обменивались поздравлениями и пожеланиями, речами. Было пожелание послать приветственную телеграмму Гапону, борцу за счастье народа,[1] и тут же собрали на телеграмму 34 руб. 79 коп. А потом было пожелание послать приветственную телеграмму царю. Предложение встречено было недружелюбно и вызвало страстные реплики, но в конце концов собрание решило, что всякий может поступать по своей совести, — и тут же собрано было немного меньше чем Гапону, 26 руб. с копейками.

Была идиллия, больше не повторявшаяся. Люди разоделись в праздничные одежды, были веселы и радостны.

На другой же день поползли темные слухи о выступлении

[1] Так описывалось алупкинское торжество в ялтинской газете, так рассказывали о нем мои знакомые.

против демонстрации части жителей слободок. Был назначен митинг вечером, уже не на открытом воздухе, а в городском курзале, и говорили, что как раз в это время пойдет по набережной мимо курзала процессия с иконами, собирающаяся, будто бы, разогнать митинг и бить участников митинга...

Здесь можно было воочию наблюдать, можно сказать ощупывать, как возникало черносотенное движение. Днем ко мне позвонил по телефону исправник Гвоздевич с просьбой притти в полицейское управление и говорил, что ему нужна моя помощь для предотвращения большого бедствия. Я ответил, что занят и не могу притти, но исправник упорно звонил по телефону.

— Мы здесь ждем вас с ротмистром (жандармским), оба умоляем вас приехать. — И потом прибавил: — Если хотите, мы приедем к вам.

Таким тоном исправник никогда не говорил со мной. Мы всегда были далеки и не часто встречались. Я не хотел итти один и делать из свидания частный разговор, я позвонил к Ярцеву и Приселкову, уважаемым людям в городе. [1]

Было около двух часов дня, жандармский ротмистр и Гвоздевич ждали нас. С первых же слов дело выяснилось. Исправник заговорил, что нужно предотвратить общими силами большое несчастье, угрожавшее Ялте, так как значительная часть населения Ялты решила устроить верноподданническую демонстрацию, именно во время митинга в курзале, что может произойти столкновение и что он пригласил меня затем, чтобы просить отложить наш митинг на другое время. Мы не успели обменяться мнениями, как вошел в кабинет полицейский и позвал Гвоздевича в другую комнату. Исправник вышел, бросивши нам фразу:

[1] Приселков присяжный поверенный, тяжелый туберкулезный больной. По моему категорическому требованию он переселился из Баку в Ялту и прожил там долгие годы до смерти от одного острого заболевания. После февральской революции играл крупную роль в общественной жизни Ялты, в земском и городском самоуправлении.

— Вот видите, пришли.

Он тотчас же вернулся и пригласил нас пойти вместе с ним. В соседней комнате стояли два депутата «от православного населения», как подчеркивали они, — один высокий, худой, с иконописным лицом, черноволосый, с длинной бородой; другой маленький, юркий, с злыми глазами. Старший степенно говорил, что они просят у господина начальника разрешения взять иконы из собора, так как они, православные люди, хотят итти по городу как следует с иконами, а младший выскакивал из-под локтя длинного товарища и злым голосом шипел:

— Жидовку как икону на кресле по городу носили... Николе Чудотворцу глаза гвоздем выкололи...

Мы втроем не дослушали ни большого, ни маленького депутата. Скоро возвратился и Гвоздевич.

— Вот вы сами видели, — заговорил он.

Я ясно видел, что приход депутации был приурочен к нашему появлению, и сказал Гвоздевичу, что мы видели одно: что депутаты пришли к нему, к исправнику, за разрешением и, следовательно, проще всего не нам отменять митинг, а ему отложить православную демонстрацию на другое время.

Мы трое категорически заявили, что митинг состоится, и пускай он, Гвоздевич, решит, на кого ляжет ответственность за возможное столкновение. Я прибавил, что по городу ходят упорные слухи об участии полиции в организации этой демонстрации с иконами. Когда Гвоздевич стал отрицать этот факт и заговорил о том, что он любит Ялту и что заботится только о спокойствии граждан, я сказал, что слухи все-таки упорные, и посоветовал ему, если он желает рассеять их, явиться на митинг и объясниться с народом.

Митинг состоялся. Битком набитый зал тревожно гудел. Я сказал несколько вступительных слов и дал место явившемуся Гвоздевичу, который стал объясняться в любви к Ялте, говорил,

что он думает только о спокойствии и благоденствии Ялты и что слухи, распускаемые насчет полиции и ее противодействия манифесту, — ложные слухи. Были отдельные возгласы, но речь была выслушана спокойно.

Я знал, что в широких слоях Ялты и среди собравшихся на митинге людей были еще другие слухи — будто бы офицеры ливадийского гарнизона раздают револьверы черной сотне. Поэтому, увидевши в соседней с эстрадой комнате явившегося посмотреть на митинг командира ливадийского гарнизона полковника Шелковникова, передал ему этот слух. Полковник стал уверять меня честным словом, что он ручается, что его офицеры не раздавали револьверов и вообще не вмешиваются в политические дела. С Шелковниковым я раза два встречался в знакомых домах, слышал о нем как о порядочном человеке и чуждом политике, и поверил ему, но стал настаивать, чтобы он вышел на эстраду и сам опровергнул злой слух. Он долго сопротивлялся:

— Как же это я, военный, выйду на митинг... — Но когда я заговорил, что настроение в городе повышенное, что злые слухи быстро распространяются и что возможны столкновения с офицерами, он уступил. Его голос звучал простотой и искренностью, и должно быть ни в ком раньше он не вызывал враждебных чувств, ему поверили, и слышавшиеся раньше возгласы о револьверах прекратились. [1]

Только что полковник кончил, как раздалось с Набережной совсем близко пение «Спаси, господи, люди твоя». Помню, как сразу замолчал и насторожился зал. Пение скоро затихло, маленькая жалкая процессия прошла мимо, и митинг продолжался.

---

[1] По наведенным мною справкам слух о револьверах оказался ложным. Шелковников скоро после манифеста вышел в отставку, и его заменил известный генерал Думбадзе.

ПЕТЕРБУРГ 1905—7 ГОДА

Дальше оставаться в Ялте я не мог. Меня потянуло к центру, где вершились дела России и, наскоро собравшись, я с женой отправился в Петербург. Я знал, что вскоре после моего отъезда начались репрессии: выступавшие на митингах ораторы должны были скрыться и бежать. А потом началось долгое царствование Думбадзе с обысками, высылками неблагонадежных людей. Выселяли учащуюся молодежь, высылали, случалось, больных лежачих, которые умирали в пути и, конечно, в первую голову евреев, неблагонадежных, в глазах Думбадзе, уже потому, что они евреи. Высылали и коренных ялтинцев, из моих знакомых высланы были доктора Розанов и Зевакин; был выслан товарищ городского головы Н. М. Иванов, неповинный ни в какой политике, старый человек. Думбадзе собирался выслать Качалова, крупного чиновника, заведывавшего всеми удельными имениями Южного берега, и только спешная поездка в Петербург жены Качалова, использовавшего там свои связи, остановила высылку. На местах считали, что за время царствования Думбадзе было выслано с Южного берега около 900 человек.

Поездка в Петербург было дело сложное и не очень легкое. До Москвы мы добрались, все время не очень уверенные, что доедем, с длинными остановками, но все-таки добрались сравнительно легко, а когда в Москве мы прямо с Курского вокзала переехали на Николаевский, вокзал оказался пустой и темный. Никто не знал, будут ли поезда в Петербург. Немногочисленные пассажиры сидели со своими чемоданами и решали вопрос, — ехать ли домой или ждать, некоторые уезжали. Касса была закрыта, на перроне бродили одинокие фигуры. Мне указали, наконец, на бродившего вдали около стены человека в штатском, оказавшегося начальником станции, видимо хоронившимся от публики. На мой вопрос он ответил, что и сам еще не знает, пойдет ли поезд, что заседает комитет, который скоро вынесет решение. Прошло с полчаса или час и поезд как-то неожи-

данно, без звонков, подошел к перрону. Нас предупредили, что может быть довезут только до Бологова, но раздумывать было некогда, и все, кто не уехал, забрались в поезд. В конце концов благополучно, даже без особого опоздания, мы приехали в Петербург.

Петербург не улегся еще от приподнятого настроения огромной сентябрьско-октябрьской забастовки. Шли еще заседания Совета рабочих депутатов. Скоро в Москве вспыхнуло декабрьское восстание. Вместе банкетов шли митинги. Из общей оппозиционной массы, из Союзов и Союза Союзов выделялись партии, далеко отходившие друг от друга в программах и тактике. Движение захватило и неорганизованных людей,—можно сказать весь Петербург волновался и так или иначе определял свое отношение к событиям.

Швейцар дома, где я снял меблированную комнату, молодой парень, оказавшийся земляком-владимирцем, узнавши по конвертам, которые я получал из редакции, что я — писатель, вел со мной длинные разговоры насчет нового порядка жизни и, конечно, насчет своей владимирской земли. Раз он привел ко мне своего приятеля городового, стоявшего на посту как раз против нашего дома. Городовой пришел посоветоваться со мной, сведущим человеком, как с ними, городовыми, будет. И опять-таки, будет ли настоящее решение насчет земли. «Кабы у меня земля-то была, да разве стал вот тут таким делом заниматься»,— говорил он. Заходил и еще раз, сообщил, за какими домами шпики наблюдают, по секрету признался, что у них, городовых, разговоры идут — забастовку объявить. Чтобы жалование настоящее положили, — не всякому охота гривенники с извозчиков да с разных людей собирать. И что против народа они итти не согласны.

Даже в черносотенных чайных, которые стали тогда возникать в Петербурге, в первое время, пока черносотенство не получило официального государственно-полицейского штампа, велись странные разговоры. Один из сотрудников «Русского Богатства», помнится петербургский рабочий Тимофеев одно время специально занимался ознакомлением с настроением публики в различных чайных и часто рассказывал нам в редакции о своих наблюдениях. Собирались люди старого уклона, давних навыков мысли, и одно время любимой темой для разговора были такие соображения: царя надо, и непременно самодержавного, чтобы полный хозяин был в государстве. Только выбирать надо миром, всем народом, как Михаила Федоровича выбирали на царство. Слышались и другие такие же «самодержавные» разговоры, между прочим, закон установить — царям чтобы на немках не жениться, хороших девиц в России много, выбирай любую.

Тогдашний Петербург до созыва 1-й Государственной думы был необыкновенно люден и шумен. Приходилось встречать старых знакомых из дальних углов, из Уфы, из Сибири, которые давно не выезжали из своих мест. Получалось впечатление, что вся провинция — более заметные люди ее — двинулись в Петербург, что людям не сиделось уже дома в своих углах. Выглянули из подполья на свет божий чисто революционные партии — эсдеки и эсеры, чтобы, впрочем, скоро снова уйти в подполье или устроить штаб-квартиру в Финляндии, в Куоккале, в Териоках и других местах.

Приехали эмигранты из-за границы. Русанов стал сразу принимать участие в «Русском Богатстве», каторжанин Шишко, которого мы устроили около себя, недолго прожил и скоро уехал за границу. Постепенно стали появляться живые мертвецы из Шлиссельбурга. Помню мое волнение, когда я неожиданно на четверге «Русского Богатства» встретил Н. А. Морозова, которого я знал тридцать лет назад, когда он, молодой изящный юноша, был у меня в Москве в моей студенческой квартире вместе с Львом Тихомировым после процесса 193-х. Часто бывали в «Русском Богатстве» и другие шлиссельбуржцы — Попов, Лукашевич, Новорусский, Герман Лопатин.

По-другому выглядело «Русское Богатство». Там были боль-

шие перемены. Умер Н. К. Михайловский, ушел Иванчин-Писарев и М. П. Сажин взял в свои крепкие руки беспорядочное, запущенное хозяйство «Русского Богатства». Наиболее активную роль в редакции играли Короленко, Анненский, Мякотин, Пешехонов, только-что возвратившийся из Псковской губернии, куда был выслан, и Горнфельд. Деятельное участие принимали Крюков и Петрищев. Появились новые сотрудники из рабочих и крестьян. Кроме постоянного сотрудника Подъячева, стали присылать хорошие беллетристические рассказы крестьяне.

«Русское Богатство» по прежнему оставалось, даже при образовании народно-социалистической партии, куда вошло большинство редакции, органом направления и охотно помещало статьи эсеров и эсдеков. Писал эсер Сталинский и Русанов, помню очень интересную статью об одесской организации моряков эсдека Адамовича.

Четверги «Русского Богатства» сделались многолюдные и разнообразные по составу, «Русское Богатство» сделалось сборным пунктом для разных левых людей. Одно время эсеры устроились в нем, как в своей квартире. Я помню, как в редакционной комнате в определенные часы заседал Марк Натансон и конспиративно принимал многочисленных посетителей. Случалось, и ночевали на редакционном диване люди без пристанища, как Герман Лопатин. Происходили собрания не литературные, а политические. Помню собрание по поводу бойкота 1-й Государственной думы, что широко обсуждалось тогда в Петербурге в революционных партиях. Большинство собравшихся высказывалось за бойкот, и я был чуть не один, отстаивавший необходимость участия в 1-й Государственной думе.

Встал огромный спрос на газету, и сильно поднялся тираж газет. Резко изменился и газетный тон. Брошен был старый эзоповский язык, боявшийся слова «конституция» и только изредка говоривший об «увенчании здания». Конфисковывались и снова возникали газеты, говорившие революционным языком.

В особенности необузданы были сатирические журналы, там совсем не по-эзоповски говорилось о царе, и рисунки не служили к укреплению престижа царя.

Проснулась громадная ненасытная жажда печатного слова в деревнях, и я думаю, это время нужно считать началом проникновения газет в деревню. Кое-где в деревнях складывались три-четыре двора и выписывали московскую или петербургскую газету. На глухих станциях черноземных губерний при подъемах, где замедлялся ход поезда, к поездам выходили из деревень целые толпы больших и малых людей с криком «газет!» газет!», рвавших друг у друга пачки газет, летевших из окон поезда. Этот крик - вопль и теперь стоит в моих ушах. Так продолжалось по крайней мере два года — до разгона 1-й Государственной думы.

Расли как грибы после дождя издательства, рассчитанные на крестьянскую и рабочую публику. Выпускались и расходились брошюры в неимоверном для прежней России количестве.

Я бросил медицину, целиком ушел в литературу и от беллетристики перешел к публицистике. У нас образовалось, так сказать, семейное издательство. Организатором был мой родственник П. Е. Кулаков, писали, кроме меня, редактора издательства, мой сын и дочь и племянник В. Ф. Загорский. Из посторонних ближайшее участие принимал только Бойков, бывший ссыльный, перешедший к тому времени из народовольцев к марксизму, и одну брошюру, не помню заглавия, написал по моему настоянию лидер трудовиков в 1-й Государственной думе Аникин.

Не нужно было денег, чтобы вести в то время издательство,— такой огромный спрос был на печатное слово и так быстро расходились брошюры. Первая наша брошюра, написанная мной — «Земля и Свобода», выпущенная в 50 тыс. экземпляров, разошлась в два месяца, и я имел высокое удовлетворение, когда узнал от крестьян-депутатов из глухих углов Украины, что они еще у себя в деревнях прочитали мою брошюру.

Совершенно исключительным успехом пользовался изданный

нами «Народный календарь». Он был совершенно новым по замыслу, не имевшим примера в прошлом, календарем. Компактный, набранный мелким шрифтом, он был в сущности целой книгой, в которой был довольно большой материал — целый ряд статей, по вопросам, встававшим тогда перед страной, по вопросам конституции, Государственной думы, по рабочему и аграрному вопросам. Стоил он 20 коп. Я не помню, в каком количестве экземпляров расходился календарь по деревням, но среди рабочих и не только Москвы и Петербурга — успех был огромный. Я помню, из Урала приехала целая делегация из трех рабочих специально закупать для уральских заводов Народный календарь. Для начала они купили 6 тысяч экземпляров, постоянно выписывали и еще, и так как им сделана была большая скидка, то путешествие в Петербург этих рабочих, как говорили они, окупалось полностью.

Народный календарь просуществовал около 4-х лет, ежегодно обновляясь, он постоянно конфисковался, но большую часть издания удавалось спрятать и разослать по деревням до конфискации, так что издание его все-таки окупалось. Так продолжалось, пока все наше издательство не было прикончено постоянными конфискациями. Написанная моей дочерью «История крестьянской войны в Германии» была целиком конфискована, конфискованы были написанные моим племянником Загорским брошюра по религиозным вопросам, брошюра «Что берет государство с крестьянства и что дает ему» и «История революционного движения в Англии».

И, конечно, как большинство тогдашних авторов брошюр, мы судились в Петербургской судебной палате. Судился и Кулаков. Два раза судился я, первый раз был оправдан и второй раз за брошюру «Земля и Свобода» был приговорен на год в крепость. На год же крепости был присужден и В. Ф. Загорский, не помню за какую из своих брошюр. Это было значительно позже, после разгона 1-й думы, когда власть снова окрепла и получила уверенность в длительности своего существования.

ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Настроение России перед открытием Первой государственной думы было невиданное раньше и не повторявшееся потом. Страна переживала первую свою революцию.

Ни революций, ни гражданских войн, как Западная Европа, Россия никогда не переживала. Она всегда просила и ждала и никогда не требовала и не брала. Если исключить стихийные народные восстания и подвиг декабристов, Россия всегда подавала прошения и моления, писала слезницы, ходила - ходатайствовала ходоками и ходатаями и никогда не билась за то, что ей нужно было, не дралась с властью.

Власть иногда давала. Не часто и не много, но давала. Но полученное было не взятое. Большие реформы 60-х годов не дали того, что они могли дать, именно потому, что они были даны, а не взяты. Даровому коню в зубы не смотрят, получившие рады, что получили, и ждут, что им дадут еще, и не крепко держатся за то, за что не проливали крови, не клали свои головы. А давший может и взять. Потому так легко после 60-х годов власть сжимала земство, ломала суд, пыталась на освобожденный народ снова надеть крепостное ярмо.

Революция 1905 г. важна не только, быть может и не столько, добытыми результатами, сколько изменившейся психологией России. Манифест был не дан, а взят, вырван. Первый раз Россия билась с правительством и победила его. Первый раз люди почувствовали себя не только верноподданными, но и гражданами, хотящими и могущими осуществлять свои хотения. И от всего этого поднялось в людях торжественно-радостное, необычное для русских людей победное настроение.

Оно было общее. И общность психологии широких слоев населения было характерной чертой революции 1905 г. Царствования Александра III и Николая II, как я уже говорил выше, были временем ухода народа от власти, все нарастающего изолирования правительства. К тому времени, когда созрела

революция 1905 г., около правительства оставалось незначительная для многомиллионной России кучка бюрократии и высшего дворянства, притом людей, отстаивавших существующую власть постольку, поскольку она отстаивала их интересы, их имущества и привилегии, среди которых не часто встречались люди искренне убежденные, что монархия нужна не только для них, но и для государства, для всего народа. А вся масса России, начиная от интеллигенции, общественные деятели, представители промышленного мира и кончая рабочими и крестьянством уже ушли от власти и составили, можно сказать, огромный, всероссийский противоправительственный союз.

Эта общность психологического настроения яркой полосой вставала в тогдашнем общественном движении. В уличной толпе, на митингах, в железнодорожных вагонах, на волжских пароходах не чувствовалось, как обычно, отделенности сюртука и пиджака от поддевки и косоворотки.

Поднялся как никогда удельный вес интеллигенции. Он учтен был властью и теми, кто был за власть, — тогда были убиты Герценштейн и Иоллос, тогда устраивались погромы интеллигенции, как в Саратовской губ. Учтен он был и в народе. Вышедшие из подполья эсеры и эсдеки, принимавшие активное участие в рабочем и крестьянском движении, в большинстве случаев были типичные интеллигенты, лидеры из высших учебных заведений. В огромных забастовках, таких как железнодорожная и почтово-телеграфная, участвовали и пиджаки и рабочие блузы.

Поднялся огромный спрос на интеллигенцию. Земско-медицинский персонал, агрономы и техники, люди третьего элемента — кооператоры явились на местах, если не вождями, то истолкователями происходивших событий. Если ко мне ходили швейцар и городовой — захаживали и другие люди посоветоваться — то из глухих деревень, когда не оказывалось на месте подходящего человека, посылали ходаков в ближайший город разыскать и привезти нужного до зарезу «оратели», который разъяснил бы деревне «о новых обстоятельствах». В лесу, в укромных

оврагах устраивались сходки с приезжими ораторами, которых крестьяне укрывали и, случалось, и отбивали от полиции.

Явилась, так сказать, мода на интеллигенцию. Умный наблюдательный иваново-вознесенский рабочий рассказывал мне, что у них в Иваново-Вознесенске в то время работницы одевались «под курсисток» — непременно блузка, кожаный пояс, часики, или по крайней мере цепочка от часов, — а рабочие одели кепки и соломенные шляпы, вместо картузов. Я сам с великим удивлением увидел тогда в Харькове на всех извозчичьих головах студенческие фуражки.

Помню один случай в Нижнем Новгороде незадолго перед открытием Государственной думы. Я был на одном из огромных волжских пароходав и наблюдал, как большой бородатый матрос наклонился над открытым трюмом и строго выговаривал ругавшимся скверными словами сидевшим там матросам. Ругательства тотчас же прекратились. В данном случае это не было желанием уберечь господские уши от нехороших мужицких слов, — я забрался на пароход рано, пассажиров еще не было, и на корме около трюма было пусто. И тогда я понял то смутное, недоуменное, что я чувствовал эти несколько дней, проведенных тогда в Нижнем. Там меньше ругались подлыми русскими ругательствами. На Нижнем базаре, на пароходных пристанях, где всегда стоном стояли в воздухе многоэтажные, изощренные, особенно поганые ругательства, было тише, скромнее, я бы сказал, приличнее.

Это торжественно-радостное, победное настроение вошло в Государственную думу. Туда вошли старые ходатайства и новые требования. Туда вошел и гнев.

Все трепетно ждали открытия Государственной думы. При огромном возбуждении, при непотухшем зареве горевших помещичьих усадеб открылась она.

Помню отдельные моменты. Как ехали по Неве депутаты после приема у царя в Зимнем дворце в Таврический дворец, как

махали платками и кричали «Амнистия!» из-за решеток «Крестов» проезжавшим мимо депутатам. Помню и первый возглас «Амнистия!», сказанный Петрункевичем в первом заседании Думы. Помню настроение и в зале заседания и в огромных кулуарах Таврического дворца, переполненном радостно и торжественно настроенной публикой.

Было странно наблюдать депутатов, этих людей из всех концов России: крестьянских депутатов из Польши в национальных костюмах, и украинцев, и кавказцев, и татар, и киргизов, и сибиряков, эту разноплеменную толпу, первый раз встретившуюся не в войсках и не в ссылке и каторге, привезшей с мест свои жалобы, свои пожелания.

По своему составу и по своей психологии это была единственная, не повторявшаяся потом Дума. Более однотонная в значительной мере с общей психологией. Вследствие объявленного и проведенного бойкота чисто революционные партии прошли в Думу в незначительном количестве, были слабо представлены в ней. Несмотря на разделение Думы на левое крыло трудовиков, на центр кадетской партии и незначительное правое крыло, в ней не было того резкого размежевания, как в последующих Думах.

В чисто политических вопросах находился общий язык у трудовиков с кадетами. На правой стороне не появлялось еще зловещих фигур Замысловского и Маркова, и лидером оказался — имею основания думать к его собственному удивлению — граф Гейден, тот граф Гейден, который с таким достоинством, как председатель, вел бурные заседания Вольно-экономического общества, который встречал суровыми окриками полицейских чинов, пытавшихся врываться в заседания Вольно-экономического общества. Я довольно близко знал его, — по рекомендации Н. Ф. Анненского он бывал у меня в доме, когда приезжал в Ялту. Он был независимый человек и чистый по своей прошлой деятельности, но он был за эволюцию, а не революцию и вставал в Думе на защиту эволюции, когда слышал революционные речи.

1-ю Государственную думу в то время любили называть Думой народного гнева. Гнев и качественно и количественно не достаточно был представлен в Думе, но до известной степени это было справедливо. Родившаяся из народных волнений, из забастовки, из долгой борьбы интеллигенции с правительством Дума была Думой бунта, Думой общей оппозиции России правительству.

По существу она была прежде всего политической, где главенствующую роль играла борьба за политическое переустройство государства. Шла борьба не против монархии, а против самодержавия, борьба скорее с бюрократией, чем с царем, — борьба за конституционную монархию. Слово республика не звучало еще в кулуарах Думы и не вмещалось еще в головах огромного большинства депутатов. Политическое переустройство государства было первейшее требование, которое несли из России представители ее, и известная фраза Набокова: «исполнительная власть да подчинится законодательной», в сущности точно выражала главнейшую задачу, которую собиралась решить Дума. Да, был поставлен рабочий и аграрный вопрос, но они не выпирали в должной мере из общего политического вопроса. Крестьяне приходили с главнейшим наказом: «земля», но короткое пребывание в Думе заставляло их упираться в тот же политический вопрос, без которого нельзя было решать вопрос о земле. Различные группы Думы уж и тогда далеко отстояли друг от друга, но, повторяю, Дума была более однотонная с некоторой общей психологией, не повторявшейся в последующих Думах, где рядом шли резко разделенные: с одной стороны, поворот к правительству, а с другой, далеко уходившие, чисто революционные социальные требования.

Я помню разговор с Герценштейном, видным представителем кадетской партии, именно на тему социальных проблем. Как-то мы завтракали вдвоем в пустынной в тот момент столовой Таврического дворца. Он начал упрекать нас, «Русское Богатство», за то, что мы слишком непреклонно проводим нашу программу

национализации земли и слишком выдвигаем вперед социальные требования. Помню, указывал на статьи Пешехонова. Я напомнил Герценштейну отдельные места из его писаний и говорил ему, что в сущности он проводил в них ту же идею национализации земли, что он только не выговаривал слово, не ставил точку над і. Разговор перешел на другие темы, и, прощаясь со мной, он сказал:

— Может быть вы и правы, но пред Думой другие вопросы. [1]

Я устроился в первой Думе бесплатным врачом и в определенные часы принимал там же в отдельной комнате заболевших депутатов и долгое время ежедневно бывал в Думе.

Самым ярким пятном в Думе было появление в кулуарах крестьян-ходоков. Было странно и непривычно видеть в роскошном дворце, среди всегда наполнявшей кулуары «приличной» публики, эти запыленные фигуры ходоков в деревенской одежде, случалось в лаптях, с котомками за плечами, пришедших с вокзала и разыскивавших в толпе земляков-депутатов из своей губернии, из своего места, с тем, чтобы вручить им деревенский наказ, который нужно бесприменно исполнить. Уже одни эти ходоки — они часто появлялись в Думе — показывали, как много ожидало крестьянство от Думы, как пристально следило за тем, что делается в ней.

Крестьяне на местах, видимо, следили за тем, правильную ли линию ведут их депутаты в Думе. Когда стали съезжаться крестьянские депутаты, догадливые люди из правительства устроили обширное общежитие для депутатов-крестьян с бесплатной кормежкой, где их обрабатывали в смысле направления на правильный, приятный для власти путь. Кажется, предприятие было не особенно удачным, — поживши в общежитии, питомцы общежития благополучно оказывались в рядах трудовиков. С другой стороны, в интеллигентских кругах было стремление

[1] Можно сказать, что при мне он был убит. После разгона I-й Думы мы оба жили в Териоках. В тот день я встретил его на прогулке, а через два часа он был застрелен черносотенцами.

размещать депутатов по своим квартирам. У нас, в квартире моей дочери, поместились два депутата-крестьянина, не помню, из Орловской или из Тульской губернии. Один мужиковатый, строгий, молчаливый человек, другой, юркий, верткий, очень говорливый, вероятно, за эту говорливость и посланный в Думу.

И вот с этим словоохотливым человеком, сыпавшим радикальные слова, и случился казус. Я редко видел его в Думе в толпе трудовиков и как-то встретил в кулуарах Думы невеселого и неразговорчивого. Он говорил, что его вызывают в деревню, что прошли слухи там, будто бы он с господами стакнулся — «так бабы языком болтают» — пояснил он. Тем не менее он отправился к себе и вернулся не повеселевшим, — кто-то из депутатов рассказывал мне, что на сходе ему влетело.

Положение крестьянских депутатов в Думе было очень трудное, — так говорили они мне. Давило и угнетало несоответствие того, с чем они ехали в Думу, чего требовали крестьянские наказы с тем, с чем встретились они в Думе. И потом, — насчет земли... Насчет начальства, — земского начальника, станового, урядника, все было до известной степени ясно и просто, во всяком случае, понятно, но на них, никогда не выходивших из пределов деревни, волости, уезда, навалилась тяжесть обсуждения государственных вопросов, в целом, во всей сложности государственных функций. Трудовики были прибежищем их, там были более или менее подготовленные люди, и помогали люди со стороны, — но вдумчивые депутаты, хотевшие сами разобраться в вопросах, чувствовали себя подавленными тяжестью умственной работы, которую им приходилось проделывать. У меня одно время довольно часто бывали в приемной два польских крестьянина, умные, крепкие, солидные люди, и вот они всякий раз жаловались мне, что они стали больны от вопросов, которые им приходится решать.

— Головы распирает... Ночами не спишь. Проснешься среди ночи, — завтра комиссия, голоса подавать, — а как подавать? Думаешь, думаешь целыми днями. От еды отшибло...

Положение довольно скоро стало выясняться. Правительство по мере затихания «беспорядков» стало возвращаться к уверенности. «Исполнительная власть» вовсе не собиралась подчиниться законодательной и наоборот решила подчинить Думу своей власти и законодательствовать как и до манифеста, что она широко и практиковала в последующие Думы.

Нелегкое, и во всяком случае, неудобное было и положение правительства. Не потому только, что с правительственными людьми в Думе разговаривали невежливо и случалось встречали министров гневными окриками, непривычными и непереносными для министерских ушей, но и потому, что в Думе не было значительной группы, ядра, на которое правительство могло бы опереться, не было общего языка, на котором правительство могло бы разговаривать с Думой. Несмотря на нереволюционность, а эволюционность большинства Думы, на искреннее желание самых влиятельных групп Думы работать с правительством, — вся Дума, если не считать незначительной группы истинно правых депутатов, вместе с графом Гейденом стояла на почве осуществления манифеста, проведения его в жизнь, что было совершенно неприемлемо и для царя и его «приказчиков» (выражение Витте).

Было только два выхода — или уйти старой власти и превратиться из законодательной в исполнительную, или «распустить» Думу. Правительство избрало второй путь и разогнало Думу.

Разгон Думы не отозвался крупными волнениями. Выборгское воззвание не дало того, чего ожидали от него. Тогда говорили в Петербурге, что в Москве были полки, преданные Государственной думе, и что если бы депутаты направились тогда не в Выборг, а в Москву, дела приняли бы другой оборот. Не знаю, насколько это верно, но по моим наблюдениям обывательское настроение в Петербурге сразу упало, — люди почувствовали, что период надежд и ожиданий кончился.

Помню расклеенные по Петербургу объявления о роспуске 1-й Думы. Стояли кучки народа и медленно и долго читали объявление. Лица были не равнодушные, но и не возбужденные. Сосредоточенно угрюмые люди вчитывались в слова, видимо перечитывали, подозрительно оглядывались на соседей и молча расходились.

Смутно почувствовала и деревня, что толка от Думы ждать нечего. Характерно, что после разгона Думы мне уже в моих поездках редко приходилось слышать крики-вопли «газет! газет!..»

Начинались разруха, развал власти на местах.

... «Отношение народа к полиции, — писал мне в то лето после разгона Думы Аникин из Саратова, — так обострилось в деревнях, что урядники и стражники, не говоря худого слова, стреляют в людей решительно за все: за песни, за брань, за грубость и просто за то, что попадаются на глаза. В свою очередь крестьяне убивают их на смерть, где только могут. В Саратове квартир нет, цены сумасшедшие, — наехали на зиму помещики. То же наблюдается и в других городах».

И в том же письме тот же Аникин, саратовский деревенский человек, как я уже говорил — лидер трудовиков в 1-й Думе, пишет:

... «После разгона Думы настроение пало до крайности... Крестьянство переживает период раздумья и рассуждения».

А правительство помимо разгона Думы стало искать опоры вне Думы. Именно после разгона Думы расцвело пышно черносотенное движение. Открыто вышли на сцену Дубровин, разные московские Орловы, в черносотенных чайных происходил набор нужных людей, уже не говоривших об избрании на царство Михаила Федоровича, заштампованных и припечатанных. На местах организовывались погромы против евреев, против интеллигенции, огромный правительственный аппарат отдан был под надзор Союза русского народа.

И мобилизовано было или вернее мобилизовалось на защиту своих интересов дворянство. Не очень успешно. Русское дво-

рянство всегда было более демократично, чем западно-европейское дворянство. Ко времени революции 1905 г. расслойка и переход в разночинство, совершавшиеся и раньше, приняли огромные размеры. Мелкое и среднее дворянство, в значительной степени утерявшие свой земельный фонд, как источник существования, тянули в массе к кадетам и левым октябристам, и вокруг престола после революции собрались только крупные землевладельцы, дворянские верхи, связанные с двором и высшей бюрократией, и люди, делавшие специальную карьеру. Они образовали съезды так называемого объединенного дворянства, но, не привлекши к себе дворянской толщи, по необходимости протянули руки к черносотенцам и во многих случаях стали возглавлять черносотенное движение.

Начался долгий период государственной анархии, беззакония или вернее междузакония. Долгий период «раздумья и размышления» масс, для которых опыт 1-й Государственной думы выяснил только одно с исчерпывающей полнотой: эволюция в России невозможна, развязать узел может только революция.

ОПЯТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ.

Со Второй государственной думой я был мало знаком, — мне пришлось уехать за границу.

Два года напряженной работы не прошли даром. Приходилось много писать и в своем издательстве, и в «Русском Богатстве», где я начал систематически давать статьи, нечто в роде внутренних обозрений, и в народно-социалистический орган, и изредка в «Русские Ведомости», День был, как и у большинства петербургских людей, наколочен собраниями, заседаниями в Думе, свиданиями с нужными людьми, — приходилось писать по ночам до трех-четырех часов, спать мало и плохо.

И я снова убедился, что петербургский климат не для меня. На третью зиму стала подниматься температура, я пролежал около месяца в постели, очень ослабел, и родные увезли меня за

границу, на Ривьеру. Мне не хотелось с тогдашним моим настроением устраиваться в шумной, гулящей, ярмарочной Ницце, и я надеялся спокойнее и дешевле устроиться в Нерви около Генуи на итальянской Ривьере.

Там я познакомился — потом оказалось, только возобновил знакомство — с Г. В. Плехановым. Навещавший меня местный врач, русский, Залманов как-то сказал мне, что со мной хочет увидаться старый знакомый Плеханов. Я согласился, но сказал, что с Плехановым не знаком. Вскоре на набережной Нерви ко мне подошел Плеханов. С первых же слов он напомнил мне, что в половине семидесятых годов он, тогда уже нелегальный, два дня скрывался у меня в Москве в моей студенческой квартире. Мы встречались с Плехановым довольно часто в Нерви, и наше знакомство продолжалось и дальше. Встречался с ним в Ментоне, куда он приезжал из Сан-Ремо. Тогда он стоял за единый фронт русских революционеров — с.-д. и с.-р. в борьбе с правительством, и кажется по его инициативе происходили совещания, в которых принимал участие и Савинков. Я был только на одном собрании и не помню реальных результатов.

Бывал у него и в Сан-Ремо, где его жена и дочь устроили санаторию.[1] А потом значительно позже через несколько лет незадолго до мировой войны мы встретились в Риме. Плеханов выглядел значительно хуже чем в Нерви и Сан-Ремо и как-то просил меня выслушать его и полечить. У него был давний и длительный обширный по поверхности туберкулезный процесс

[1] В своих поездках в Сан-Ремо я навещал Прокофьеву, невесту Сазонова, успевшую убежать из Сибири из ссылки на поселение, дочь моего знакомого уфимского купца Прокофьева, помещавшуюся в вилле около Сан-Ремо, где жил и Савинков. Она умирала от туберкулеза. С прекрасным лицом христианской мученицы она лежала неподвижно и чуть слышным голосом расспрашивала меня об Уфе, об Ялте, где я устраивал ее с братом задолго до ее суда и до расстрела брата, о чем я раньше писал. В ту же зиму она и умерла.

фиброзного характера. Всегда оживленный, остроумный, полемист по натуре, Плеханов выглядел в Риме усталым и более скучным. Оживлялся он, когда говорил о надвигавшейся войне. Мы оба ждали ее, — еще за год, за два до ее начала французские и итальянские газеты были полны статьями о нараставших международных осложнениях и возможности конфликтов.

Сказывалась близость войны не только на страницах газет. Как-то Плеханов пришел ко мне и рассказал мне характерную сцену, разыгравшуюся в его отеле, — он жил по условиям своей болезни в хорошем отеле, с центральным отоплением, что тогда нечасто встречалось в Риме. После обеда вечером в зале сидела компания англичан, а за другим столом группа немцев, пивших шампанское. И вот Плеханов видел, как от стола немцев отделился оффициант с подносом, на котором были бокалы шампанского по числу англичан и визитные карточки немцев, очевидно желавших познакомиться с англичанами. Англичане не поинтересовались карточками, не взяли бокалов и молча, не меняя положения, продолжали курить свои сигары. Оффициант постоял перед ними некоторое время и вернулся к немцам с нетронутыми бокалами. Немцы встали и сейчас же ушли.

В Нерви я недолго прожил, хотя оно мне и очень понравилось. В дорогих, благоустроенных отелях я не имел средств устраиваться, а маленькие дешевые отели оказались еще хуже и менее приспособленными для зимнего жилья, чем скромный отельчик, где я жил в первый раз в Ницце. И знакомый, мой пациент, проживавший в Ницце, переманил меня, предложивши условия, которые обеспечивали мне жизнь в Ницце.

В Ницце я стал быстро поправляться и уже через две недели стал пробовать мои привычные путешествия по окрестностям. Публика, в которой я вращался в этот раз, была совсем другая, чем в первый мой приезд в Ниццу. Старик Эльсниц умер, умер и Белоголовый, Ковалевский был в Петрбурге, — прежних

знакомых почти никого не было. В ту зиму на Ривьере жили Вера Николаевна Фигнер с своим другом А. И. Мороз и Екатерина Павловна Пешкова с сыном. Они жили сначала в Аляссио на итальянской Ривьере.

Когда-то в семидесятых годах я мельком видел в Москве Веру Николаевну Фигнер.

Она отдыхала от Шлиссельбурга, от архангельских мест, от тогдашней России, отдыхала, но не отдышалась еще. Общество утомляло ее, она часто уходила в свою комнату искать еще привычного, не ушедшего от нее одиночества. Громкие звуки еще нервировали ее, от зазвеневшей чайной ложечки она вздрагивала. Раз мы пошли с ней в Аляссио к вдове Мечникова, брата знаменитого бактериолога. Улицы Аляссио были тихи и пустынны, но на одном перекрестке встретившийся извозчик по-итальянски, громко щелкнул кнутом, Вера Николаевна громко на всю улицу вскрикнула и схватилась за мой рукав.

Потом и Екатерина Павловна и Вера Николаевна и А. И. Мороз переехали в Ниццу, и мы часто встречались. Екатерина Павловна с своим мальчиком устроилась в нашем небольшом отеле, а семья доктора Эльсница предоставила Вере Николаевне свою небольшую виллу в окрестностях Ниццы в Сен-Жан. Там же совсем близко от этой виллы жил тогда Савинков со своей женой Верой Глебовной, дочерью писателя Г. И. Успенского, и мы не раз всей компанией встречались у Савинковых.

К удивлению, шумная жизнь Ниццы не производила угнетающего действия на Веру Николаевну, и хотя она все еще сторонилась людей, мне показалось, что она стала даже оживленнее, чем я видел ее в Аляссио.

Раз она даже была в театре. А другой раз я устроил прогулку в маленький оригинальный средневековый городок в окрестностях Ниццы, нас было человек 7 — 8, Вера Николаевна не чувствовала себя утомленной обществом и не вздрагивала уже от шума и крика.

СУД И ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

После разгона 1-й Государственной думы власть укрепилась и стала расправляться с нами, писателями, начались суды над нами. Один раз меня оправдали, а за брошюру «Земля и Свобода» присудили.

Председательствовал на этот раз бивший наверняка и заранее предрешивший приговор Крашенинников, — умный и злой, повидимому не за страх и не из-за одной служебной карьеры, а по внутреннему влечению служивший правительству или вернее тогдашнему государственно-дворянскому строю. В судебной палате он распоряжался как хозяин. Мой знакомый присяжный поверенный рассказывал мне, как при нем Крашенинников, презрительно относившийся к своим подчиненным, крикнул раз из кабинета:

— Пришлите мне товарища прокурора, только поумнее!..

На мою долю выпал обвинитель товарищ прокурора, только поглупее. Никто из судей видимо не слушал его серую, скучную нудную речь. И во всей его речи я помню только одно место, доставившее мне несколько минут веселья. Очевидно, чтобы уязвить меня и окончательно изничтожить он сказал, что теперь стали писать разные фельдшера, аптекаря, провизоры, которым, очевидно, по его мнению, не пристало писать. На суде у подсудимого, должно быть, скоро складывается предчувствие приговора, обвинения ждал и я. Приговор был сравнительно милостивый — на год в крепость. В те времена осуждали и на два года, а Парамонова осудили на три года.

Прошел месяц, два, три в Петербурге в неопределенном положении, в ожидании ареста, — никто меня не трогал.

В те времена у Щегловитого, у власти вообще, была повидимому в этом отношении система — не приводить быстро в исполнение приговоры над писателями и тем держать их в узде. В. Г. Короленко, присужденного на высылку на две недели, как редактора за мою статью в «Русском Богатстве» «Люди нашего круга» — так и не посадили.

А у писателей выработалась своя система — накапливания преступлений. Кончалось одно дело, выносился обвинительный приговор, но в производстве оказывалось второе дело, потом третье. Приговоры накоплялись «по совокупности», но накоплялись и преступления. В те времена образовалась даже своего рода профессия редактора «на высидку». Журналы, газеты и брошюры всяких издательств постоянно конфисковывались, постоянно возникали под новыми названиями, и надо было постоянно находить новых редакторов, готовых на высидку. Люди шли охотно и предъявляли скромные требования— помню несколько случаев, где надо было уплачивать только 50 руб. в месяц на содержание семьи садившегося в тюрьму редактора. Вышеупомянутые остроумные люди, не требуя платы, искали подходящих редакторских позиций, чтобы накоплять преступления и затягивать судбища. Случалось даже, что брали преступления так сказать в аренду. Действительный преступник отдавал другому свое преступление, — выходило, что преступным редактором оказывался не Петров, а Сидоров. Если не ошибаюсь, особое искусство в этом отношении проявлял В. В. Водовозов, долго успешно накапливавший свои преступления и, кажется, кое-кто из таких хитроумных людей дотянул до Февральской революции и таким образом избегнул кары правосудия.

Я никогда не выносил неопределенных положений. Я не мог ни уехать из Петербурга, ни приняться из-за ожидания каждый день ареста за серьезную длительную работу и в конце концов, как я уже писал, должен был просить М. М. Ковалевского «похлопотать» перед Щегловитовым, чтобы меня поскорее посадили. Ходатайство имело успех и что-то через два-три дня меня водрузили в Петропавловскую крепость.

Я выбрал ее потому, что она была в Петербурге и мог видеться с родными и получать книги, потому что там была тишина — перестукиваний я не любил и... потому, что это была Петропавловская крепость. Мне, побывавшему во многих тюрьмах,

казалось, что под старость — мне было 56 лет — нужно было посидеть и в этом классическом месте.

Сначала я чувствовал себя очень хорошо. Как всегда, когда меня сажали в тюрьму после сутолоки и напряженной работы, я любил наступавшую тишину и полное одиночество. Можно было много и долго думать, можно долго, ничем не отвлекаясь, читать и писать. День был точно распределен. Три часа я занимался английским языком, остальное время читал и писал. И все было бы хорошо, если бы не начались жестокие боли в обеих руках повидимому ревматического происхождения, нараставшие до такой степени, что я не мог уже сам одеваться на прогулку, трудно стало писать и держать книгу в руках, а по ночам просыпался через час, через полчаса, чтобы переменить положение. Первое время меня посадили в очень сырую камеру и только месяца через два, когда начались боли, перевели в не столь сырую. Повидимому все камеры Петропавловской крепости были сырые и холодные.

Реакция тогда уже развернулась во-всю. Твердая власть Столыпина постепенно твердела, но очевидно во всем государственном механизме что-то треснуло, в чем-то поколебалась прежняя уверенность, прежняя «простота» отношений. Отразилось это и на Петропавловской крепости. Часто заходило начальство спрашивать, не нужно ли чего-нибудь. Мне ничего не было нужно. Я удовлетворялся общим арестантским столом, недурным тогда, а меня спрашивали, не хочу ли я заказывать отдельных блюд. Часто заходил в камеру и иногда подолгу засиживался полковник, помощник коменданта крепости, — я плохо помню фамилию — и мы разговаривали как добрые знакомые. Он мне рассказывал про свою семью, у него было пять или шесть человек детей, с радостью и гордостью рассказывал, что его старший сын первый ученик, окончивший гимназию, говорил о своей давней мечте дослужить до пенсии и поселиться на кусочке земли, которую он раздобыл где-то под Петербургом. Повидимому, не со мной одним он был мягок и предупредителен, — после моего освобождения знакомые рассказывали мне, что родственники сидевших одновременно со мною заключенных после освобождения их родных ездили к полковнику благодарить его за отношение к их близким.

Корректен был во время посещений меня и комендант крепости Стааль, и единственный злостный и противный человек был какой-то военный инженер, замещавший Стааля во время его отпуска. Злостный и глупый, он приказал снять с привинченной к столику электрической лампочки зеленый абажур, потребовал было, но потом отказался, чтобы убрали толстый войлок, которым я защищался от холодного каменного пола, и демонстративно показывал враждебное отношение ко мне.

Нижние чины очевидно поколебались в правильности дела, которое они делали, и в общем оказывали приязнь ко мне. В памяти моей сохранилась только мрачная фигура высокого, худого с бледным злым лицом жандарма, всегда входившего ко мне вместе с надзирателем и солдатами, одевавшими меня на прогулку, всегда пытливо всматривавшегося во все уголки моей камеры. Полковник говорил мне впрочем, что жандарм особенно мрачен был потому, что у него только что умер любимый сын от дифтерита.

Помню один случай. Толстый рябой, неуклюжий солдат с каким-то бабьим лицом натягивал на меня валенки, чтобы вести на прогулку, — сам я этого сделать не мог — низко наклонившись ко мне, бабьим жалостным голосом прошептал:

— Рученьки болят...

А солдат, провожавший мою дочь после свидания со мной, говорил ей на крыльце:

— Разве мы не знаем, за что ваш батюшка сидит. За писания, за народ...

Много значило, конечно, в благосклонном отношении и то, что я был не подследственный арестант, а «на высидке». В конце зимы я заболел воспалением легких и меня перевезли в больницу Крестов. Воспаление легких благополучно разрешилось,

*

я стал выходить на прогулку, а главное получил возможность брать ванны, которые несколько успокаивали мои воистину нестерпимые боли в руках, [1] — продолжительное лечение в крепости не помогало мне.

От нескольких недель жизни в больнице у меня осталось очень хорошее воспоминание. Была сухая, светлая, с большим окном камера, явилась возможность более длительных прогулок. Начиналась весна и расцветший на тюремном дворе большой каштан — до этого я как-то не замечал цветущих каштанов в Петербурге — так радовал меня, напоминая о моем любимом Крыме. Товарищем по камере оказался очень приятный человек и очень интересный собеседник — депутат государственной Думы Николай Андреевич Жиделев, осужденный на каторгу, но застрявший в больнице из-за предстоявшей ему операции.

Мы оказались земляки, он тоже был владимирец, знали те же места. Крепкий, неуклонный большевик он рассказывал мне и я не уставал слушать — так интересны были его рассказы — об огромном рабочем движении в Иваново-Вознесенском районе. Один из наших надзирателей, милый человек, доставлял нам газеты и исполнял наши поручения.

Жилось легко и тем не менее я стремился поскорее возвратиться в крепость. Главное преимущество сидения в крепости было то, что девять месяцев заточения там зачитывались за год, и я боялся, что мое, хотя и невольное пребывание в больнице в Крестах не помешало бы мне, как я рассчитывал, освободиться 15-го августа и успеть отогреться на крымском солнышке от моей сырой и холодной камеры.

Опять в крепости. Опять та же камера, те же приятели — легкомысленные воробьи, облюбовавшие мое окно, те же две вороны на рыжей крепостной стене, кусок которой только и виден из

[1] Я избавился от них только через год после освобождения, после солнечных ванн в Отузах и лечения электричеством, но навсегда осталось некоторое дрожание рук. Я долго не мог писать.

моей камеры. Одна степенная, утомленная жизнью и равнодушно смотревшая в будущее, другая легкомысленная молоденькая кокетка, все подпрыгивавшая и поправлявшая и без того гладкие перышки. Опять печально, старыми, охрипшими голосами поют колокола «Коль славен наш господь в Сионе». Опять глазок... Самое яркое воспоминание от крепости. Даже когда у меня еще не было болей, я просыпался по ночам, когда смотрел на меня этот бесстрастный, холодный, казавшийся в темноте ночи таким огромным и ярким глаз. А когда начались боли, — я должно быть стонал от них во сне, — часто просыпаясь я неизменно видел устремленный на меня этот белый глаз.

Странные сны снятся в Петропавловской крепости... Ползет огромный змей. В Москве. Хвост тянется еще по Никитскому бульвару, а голова с огромным злым глазом уже вдоль Тверского бульвара приближается к памятнику Пушкина. Я вижу, как быстро поворачивается голова направо и налево, схватывает и глотает людей с бульвара и с тротуара и время от времени вскидывается на третий, четвертый этаж и вытаскивает оттуда людей. [1] И я знаю, что змей уже ползет по длинным коридорам крепости, и вот страшная голова с огромным злым глазом протискивается в мое дверное окошечко... Я схватываю косарь, которым в мое детство у нас щепали лучину и скребли пол, и начинаю рубить тупым косарем наполовину просунувшуюся голову змея. Кровь брызжет, противно хлюпает косарь в мягком мясе. Я просыпаюсь, на меня смотрит светлый злой глазок.

15-го августа я освободился и скоро был в Балаклаве, жарился на солнце, купался в море, но совершать мои любимые путешествия долго не мог — был слаб.

[1] Как раз в последнюю поездку за границу я наблюдал в первый раз в Ницце, как кишка пылесосов поднималась в окна верхних этажей отелей и высасывала оттуда пыль. Очевидно, это было одним из материалов, из которых складывался сон.

ПОСЛЕ РОСПУСКА 1-Й ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 1907—1914 Г.

Семь лет, протекшие с роспуска 1-й Государственной Думы до мировой войны, были совершенно особой полосой в русской жизни, — временем государственного беззакония или, как я уже сказал, междузакония, по существу государственной анархии.

Величайший обман встал голо и неприкрыто перед страной. Манифест был объявлен, и манифест был не исполнен. Старый закон ушел. Он был упразднен в самом корне высшей тогда в России государственной властью, царем, а новый закон, долженствовавший регулировать всю государственную жизнь, не вошел в жизнь — не было определенного закономерного государственного строя. Правительство разогнало Думу, потом изменило выборный закон, но не имело мужества открыто упразднить Думы, аннулировать манифест.

Думы открывались и закрывались. В Думах говорили речи, иногда гневные, беспощадные, но гнев ушел из Думы — входившие в Думы гневные люди не окрашивали Думы. Вползала в Думу старая психология ожидания и ходатайств, приспособления и обходных движений, и постепенно центр Думы передвигался слева направо, от кадетов к октябристам и националистам. Призрак революции витал над Думой и у правительства нашелся общий язык с значительными группами Думы.

Полностью и ускоренным темпом возвращались к прошлому и привычному правительственная психология и практика. Ни один закон —сказано было в манифесте — не может быть издан без Государственной думы, а правительство продолжало издавать законы. Воскресли, не умерли старые слова, в которых сохранялись старые мысли и чувства. И в речах людей правительства и в циркулярах, во всяких правительственных обращениях откровенно и цинично говорилась старая правительственная фраза: «соответствует или не соответствует то или другое видам правительства»... Не видам Государственной

Думы, призванной решать коренные вопросы русской жизни, а видам, старым видам старого самодержавного правительства. По старому, дремучему говорил в Думе министр Столыпин: «сначала успокоение, а потом реформы»... Даже не р е ф о р м а в смысле проведения в жизнь манифеста 17 октября, а «реформы по старому методу правительственной инициативы царского усмотрения. И реформы производились. В законопроекте о введении земских учреждений в западных губерниях правительство открыто заявляло намерение оставить за собой контроль за земскими учреждениями не только в смысле закономерности их деятельности, но и ц е л е с о о о б р а з н о с т и этой деятельности. Попрежнему, как в былые времена, нам формулировали предъявляемые обвинения, — привлекали людей за намерение «в более или менее отдаленном будущем разрушить существующий строй», без упоминания какой строй — старый или новый.

С внешней стороны правительственный аппарат с царем, министрами, губернаторами, исправниками, жандармами, урядниками продолжал существовать и управлять государством. Он был даже более свиреп, чем когда-либо раньше. Началась месть за то, что люди поверили царскому слову, за то унижение, которое испытала власть.

Шли военные суды, которые выносили только два приговора — оправдание или смерть, — сколько смертных приговоров! — туго завязывался на шее России «столыпинский галстук», [1] в небывалом раньше количестве шли смертные казни, ставшие, по точному определению В. Г. Короленко, бытовым явлением, во всю работали Азефы и Малиновские, целыми толпами как никогда раньше, арестовывались и ссылались студенты, рабочие и крестьяне.

А настоящей власти уже не было. Образовалась трещина в государственном аппарате сверху донизу. Самодержавие уже

[1] Выражение Родичева в Государственной думе.

в сущности перестало существовать. Появились вокруг престола так называемые безответственные люди, люди, не занимавшие официальных постов или действовавшие не по своему официальному посту и тем не менее фактически направлявшие ход государственного корабля, назначавшие и сменявшие министров, определявшие, сохранить или распустить Думу. Исчезла фикция, иллюзия царя — представителя государства в целом, царь открыто стал дворянским, помещичьим, и съезды объединенного дворянства задавали тон.

И прежде представители интересов дворянства окружали царский престол, но все-таки сохранялся некий пристойный облик самодержавной власти, как я уже говорил, некоторый чин. Началось и постепенно нарастало бесчинство, небывалая непристойность государственного облика, докатившегося до Бадмаева, Вырубовой, Распутина, каких-то Андронниковых, мелких мошенников в роде Манасевича-Мануйлова, которые, — а не царь — в сущности управляли государством.

Началась великая разруха. Пошатнулся старый пристойный суд, и пошли по России непристойные судилища. Стали выгонять из судов не только прикосновенных к оппозиционным партиям, но просто людей, упорно стоявших на почве закона и пытавшихся защищать законность вообще. Начались заминки в земском и городском самоуправлении, останавливались нужнейшие вопросы местной жизни, требовавшие санкции центра, так как центру уже некогда было заниматься местными делами. Постепенно началась в торгово-промышленных делах какая-то неуверенность в завтрашнем дне.

В особенности разложение государственного механизма ярко сказывалось в провинции. После освобождения из Петропавловской крепости, я прожил осень в Балаклаве, а потом начались мои долгие скитания по Крыму. Медициной, как профессией, я уже не занимался и только писал. Постоянного угла не было. В Ялту и на южный берег Крыма, пока там царствовал Думбадзе, мне доступу не было, в Петербурге, как я убедился, по зимам

жить нельзя было, — и я кочевал по Крыму то в Севастополе, то в Симферополе, то в Феодосии, в дешевых местах, как Балаклава, Коктебель, Отузы, где хватало на прожиток того немногого, что я зарабатывал литературным трудом. Одно время лечился в Кисловодске, одну зиму прожил в Сочи, бывал в Новороссийске, в Киеве, в Полтаве у В. Г. Короленко и был широко осведомлен относительно провинциальной жизни того времени.

С внешней стороны шло как будто «успокоение», настроение сразу упало, ленивее стали читаться отчеты о Государственной думе, меньше стали ждать от нее. Прекратились митинги, открытые выступления, революционные партии работали в подполье. Они работали энергичнее и успешнее, — почва была более благодарная, но на внешней жизни, там, где не было организованных рабочих и рабочих стачек, их деятельность не сказывалась. Прекратились «иллюминации», деревня не бунтовала, помещики понемножку стали возвращаться в свои имения, но не вернулась прежняя спокойная жизнь в помещичьих усадьбах. Крестьяне пускали в ход свои «средствия», а помещики ограждали себя стражниками, ингушами.

Помещик той же Саратовской губернии, которого я знал еще в университете, откровенно говорил мне:

— Теперь у нас в деревнях дело простое и кристаллически ясное. Мы и они... У них свои «средствия», а у меня — ингуши. Чья возьмет...

Оставались губернаторы, исправники, урядники, полицмейстеры в городах, но власти, старой крепкой власти уже не было. Губернаторы издавали обязательные постановления, казалось, управляли губернией, но в действительности вся власть на местах была под контролем Союза русского народа — Петербургского и местного.

Если Пуришкевич, маленький кишиневский дворянин, посылал из Петербурга выговор московскому губернатору за недостаточно почтительный ответ этого губернатора ему, Пуришкевичу, то столяр в Новороссийске, председатель местного

Союза русского народа в мое время так разговаривал с новороссийским губернатором:

— Что же это вы, господин начальник, тоже жидовский потатчик? Шкапы-то в губернском правлении жиду отдали починять, а не мне?

По существу это была подлинная государственная анархия, развал всей государственной машины. Полицмейстеры, пристава в городах были в подчинении у таких же местных столяров, подрядчиков, вообще у того городского люда, который еще недавно почтительно становился на вытяжку перед околодочным надзирателем. И назначение, и увольнение местных чиновных людей происходило не по их годности или негодности к отправляемому ими делу, но по их политической квалификации.

И не одних чиновных людей... Тогда одно время как-то вдруг участились железнодорожные крушения на Владикавказской железной дороге. Навещавший меня знакомый машинист на мои недоуменные вопросы разъяснил мне, что стали увольнять машинистов, не принадлежавших к Союзу русского народа, и заменять их союзниками, хотя бы и плохо подготовленными, и привел в пример себя. За то, что он отказался купить значок Союза русского народа, его сняли с курьерского поезда и перевели на товарный, а на его место посадили машиниста с товарного поезда, неопытного, при первой же поездке которого произошло крушение.

И так во всем. Выгонялись со службы земские и городские служащие, учителя, медицинский персонал, смещались или переводились на худшие приходы священники, отказавшиеся вносить в церкви знамена Союза русского народа.

В Союз русского народа шли воистину темные люди, нередко уголовные люди. Их было незначительное число, их демонстрации были жидки. Я помню одну демонстрацию в Нижнем-Новгороде. Как раз против дома, где я был тогда у знакомого доктора, собралась кучка людей в 30 — 40 человек. Появилось знамя, появились городовые и повели кучку к губернаторскому

дому манифестировать монархические чувства. Помню, как поспешно закрывались окна на улице при проходе демонстрации.

Да, их вела полиция, но и они вели полицию. Немощные сами по себе, они были сильны своею связанностью с петербургским и московским центрами черносотенства. И при попустительстве или содействии полиции были достаточно сильны, чтобы производить погромы.

Нарушался примитивный порядок гражданской жизни. Безопасность жизни и имущества, что больше всего волновало обывателя, перестали охраняться даже в той мере, в какой охранялись они раньше. В провинции, во многих местах стало жутко жить. Явились экспроприации, налеты, грабежи, убийства. Кого там не было. И максималисты, и просто бандиты, прикрывавшиеся именем максималистов, и мальчишки от Пинкертона, и безработные, выброшенные на улицу...

В городах, раньше всего в Петербурге, начали прорезывать в наружных дверях окошечки, чтобы видеть, кто звонит, и приспособлять к дверям особые цепочки, при которых можно было только приотворять дверь и нельзя было ворваться, и просто тяжелые засовы, а в нижних этажах устраивать крепкие ставни.

В деревне, в поле, в отдельных усадьбах не могли защищать ни цепочки, ни засовы, ни ставни. Я помню, как неспокойно засыпалось в маленькой усадьбе, где мне пришлось тогда прожить целое лето, когда наслушаешься за день новостей дня, как вот тут, в 15 — 20 верстах, налетели ночью подводы к такому же именьицу, перебили всех, ограбили и безнаказанно уехали. Тогда в Крыму была легенда. Летал по степи по имениям «черный» автомобиль, — налетал, убивал, грабил и неуловимый безнаказанно улетал.

Безнаказанно... Полиция перестала быть полицией в прежнем смысле. Ей некогда стало оберегать жизнь и безопасность обывателя, из ее обязанностей выпало ловить воров, грабителей, убийц. Она стала политической, только политической полицией,

сливалась с жандармами, с Союзом русского народа. Ей нужно было разыскивать тайные типографии, конспиративные квартиры, улавливать «неблагонадежных» людей, которых развелось множество, следить за всякого рода собраниями, производить обыски, для которых приходилось мобилизовать не только все жандармские и полицейские силы, но и привлекать к участию членов Союза русского народа».[1] И черниговский губернатор издавал предписания: «не отговариваться в таких случаях обязанностями службы» — т. е. предписывалось бросать все и бежать на обыски неблагонадежных кварталов.

Смирный обыватель не делался революционером, но он стоял в недоумении перед тем, что развертывалось перед ним. Он не оказывал определенных поступков, активного протеста, но он был обеспокоен, недоволен, он был выбит из обывательской колеи. Как японская война нарушила в нем традиционную уверенность в мощи России, так наступившее беззаконие, развал и отсутствие безопасности жизни нарушили такое же традиционное представление о власти на местах, как охранительнице порядка, смели престиж участка, когда-то окруженного страхом, но и верой в силу его.

Странной жизнью жила тогда провинция, по крайней мере юг России, который мне приходилось наблюдать. Это была какая-то подвижная, изменчивая по составу провинция. Шло своего рода переселение народов с севера на юг и с юга на север. Масса рабочих, высылавшихся с севера за стачки и забастовки, расселялись по югу России, доходили и до Крыма. Мне приходилось встречать и лечить кое-кого из таких высланных рабочих и слышать их рассказы о скитаниях, переездах с места на место. Высылались из центра студенты, люди третьего элемента,

[1] Мне рассказывали про случаи, когда во время таких массовых обысков узнававшие о них заблаговременно бандиты хозяйничали открыто на полной свободе в неоцепленных кварталах.

кооператоры. Случалось, люди сами заблаговременно меняли место жительства и, спасаясь от облав и обысков, переезжали из мест, где их знали, в места, где их не знали. Было и местное переселение. Часть из девятисот, как определяли местные люди количество высланных генералом Думбадзе из южного берега Крыма, уехала на север, часть рассеялась по югу России, а некоторые осели в северном Крыму, в Балаклаве, в Симферополе, в Феодосии.

Резко изменилась психология коренного местного культурного обывателя, не принадлежавшего к чисто революционным организациям. Люди перестали сидеть дома, под своими смоковницами, как недавно каких-нибудь десять-пятнадцать лет назад, когда они ходили только на службу или в клуб винтить или в гости к родственникам и приятелям.

Казалось, пронесшаяся в 1905 г. бурная революционная волна не вся отхлынула с мест. Казалось, что после митингов и уличных демонстраций люди разучились сидеть дома. Получалось впечатление, что люди как-то вдруг вышли на улицу и куда-то побежали и хотя из-за распутицы и ухабов никуда не добежали, но и не хотели возвращаться в свои скучные, ставшие постылыми жилища. Нужно было что-то говорить, что-то видеть, что-то делать или создавать иллюзию дела. Создавались новые общества, стало необычно людно на заседаниях, прежде пустынных, старых обществ — благотворительных, педагогических, научных, и мне казалось тогда, что людей привлекал, конечно, и поднявшийся интерес к общественному делу, но что в основе было и это стремление уйти из своего узкого закоулка, в который загнала жизнь, потолкаться среди других людей.

Пошли серии лекций. Стоило появиться в городе афише о приезде заезжего лектора, чтобы публика валом валила. Образовалась даже новая профессия, объявились лекторы, разъезжавшие по югу России и этими лекциями добывавшие средства к существованию. Повидимому это было и не на одном юге, а вообще в тогдашней России, — известный бывший священник

Г. С. Петров рассказывал мне, что он читал лекции во многих городах центральной России до Сибири включительно, что везде в самых глухих городах собирал полный зал, и что он заработал за один год несколько десятков тысяч.

Лекции были самые разнообразные: по литературе, по искусству, по вопросам морали, по половому вопросу, — по разным вопросам, которые не должны были встретить запрета полиции. По существу обыватель не ждал от лектора новых слов и указания путей, — пути были указаны, новые слова давно были сказаны. Лекторы им не несли новых слов, хотя бы тот же Петров, прочитавший при мне в Севастополе не очень содержательную лекцию о Рембрандте, которая тем не менее собрала полный зал слушателей.

Публика шла к разным лекторам и на разные темы, кроме черносотенных лекторов и черносотенных тем. Помню один случай, когда такой заезжий лектор из Петербурга, заранее объявивший о серии лекций во всех крымских городах, после одного-двух провалов в Симферополе покинул Крым, не посетивши других городов.

А когда лекторов не являлось, начинали судить героев и героинь Андреева и Арцыбашева, — почему-то все больше героинь, а не героев. И публика валила на судьбища. И не казалось это несерьезным для взрослых людей, — все-таки это было не местное, не будничное, а дальнее, как будто новое. А главное, можно было побывать на людях, уйти из дому, потолкаться на собраниях.

X

ДЕЛО БЕЙЛИСА

Я жил в Севастополе, когда получил от газеты «Киевская Мысль» приглашение приехать в Киев и сотрудничать в газете на процессе Бейлиса.

Дело Бейлиса было необыкновенно характерно для переживавшегося тогда Россией времени. Оно было типично для той системы отвлечения русских граждан от внимания к насущным вопросам гражданской жизни в сторону «еврейского засилия», которую правительство давно и упорно практиковало, но особенно это дело было характерно для той государственной анархии, для развала гражданской жизни вообще и суда в частности, о чем я писал выше.

Дело Бейлиса уже раньше интересовало меня. Из газетных сообщений я составил себе некоторое представление о характере этого процесса. В Киеве еще до открытия процесса я успел собрать некоторые достоверные сведения. Бывший уже в отставке член Киевской судебной палаты Жуковский, знавший всех и вся, и мой родственник Н. П. Владимиров, бывший тогда тов. председателя Киевского окружного суда по гражданскому отделению, широко осведомили меня о подкладке и об особенностях складывания этого процесса. И сообщения других Киевских компетентных людей и то, что развертывалось на моих глазах на процессе Бейлиса только подтверждали полученные мною сведения и с поразительной ясностью вскрыли и историю возникновения дела, и ход судебного следствия, и особенную организованность суда.

Юноша, киевский студент Голубев из маленькой монархической газетки «Двуглавый Орел» с такими же двумя юнцами едет в Петербург с обвинением евреев в убийстве христианского мальчика — Ющинского — ритуальном убийстве с целью получения христианской крови.

Принимает их министр юстиции. Взрослый Щегловитов, юрист, верит или делает вид, что верит юнцам, и решает поднять дело. Они привлекают Замысловского из Государственной думы, заинтересовываются широкие монархические круги до объединенного дворянства включительно. [1]

Дальше уже дело из рук власти в сущности переходит в руки не имеющих никакого отношения к суду и власти людей черносотенного лагеря. Они руководят или по крайней мере наблюдают над следствием, они удаляют следователей, если те уходят от заданной им темы виновности Бейлиса, и подходят вплотную к двери Веры Чебыряк, к которой вели все дороги. Они вызывают к себе официальных людей, как власть имущие, как уполномоченные высшей властью люди. Им дают официальные справки и объяснения. Некоторые из них — темные люди. Некто Розметальский, седовласый двуглавец, бывший содержатель ссудной кассы и объявленный несостоятельным должником трактирщик, безусловно частный человек, с апломбом заявляет на суде, как он вызывал к себе для дачи объяснений официального следователя Красовского, как он имел собеседования с высокопоставленными киевскими людьми по направлению и ведению следствия.

И, символизируя весь характер процесса, председатель суда в антрактах между заседаниями демонстративно ходил по коридору на глазах всей публики с студентом Голубевым, с одной стороны, и Разметальским, с другой, дружески беседуя с тем

[1] Были известия, что главный эксперт по делу, Принайтис, на которого обвинение возлагало особые надежды, был подыскан объединенным дворянством.

и другим. Всем было известно, как подобран был состав присяжных заседателей и как обрабатывался он подходящими людьми...

С самого начала дела и все время судебного следствия — два года с половиной ярко вставала Вера Чебыряк, как организатор или по крайней мере участник убийства мальчика Ющинского, и заслоняла собой привлеченного Бейлиса.

Вера Чебыряк... Чебырячка... Чебырячка... Это имя звенело по всему Киеву. У извозчиков, на рынках, в уличной толпе, у прислуги гостиницы, где я жил, в маленьких кухмистерских, куда я забегал пообедать из залы суда. Толстый буфетчик-украинец в одной из таких кухмистерских из-за стойки открыто издевался над судом, который-де не знает, кто убил Ющинского, и позволяет гулять Чебырячке. Об этом говорили жители Лукьяновки, соседи Бейлиса, знавшие Веру Чебыряк.

И на суде... Целыми днями не произносилось имя Бейлиса, и целыми днями звенело в суде имя Веры Чебыряк. Следственный материал, показания свидетелей неизменно подходили к двери Веры Чебыряк. Ее интимных сподвижников, темную шайку уголовных людей, свидетельские показания вплотную подводили к трупу Ющинского. Вера Чебыряк и ее сподвижники до такой степени вклинивались в процесс, она так сделалась центром процесса, до такой степени стало очевидно, что она по крайней мере все знала об убийстве, что прокурор Виппер открыто говорил об участии Веры Чебыряк в убийстве, тем самым разрушая водзвигнутое обвинительное здание. И нельзя было уже удивляться, что прокуратуре пришлось защищать, оберегать, обелять и сподвижников Веры Чебыряк. Прокурор без краски в лице говорил на суде, что Шнеерсон — один из свидетелей — «больше похож на убийцу, чем прилично одетые, ни в чем неповинные воры», и даже взывал к присяжным заседателям:

...«Неужели должны пострадать ни в чем неповинные воры...»

С первых же дней процесса явственно вскрылось, что судят

не Бейлиса, а еврейский народ, еврейскую религию. . . Да, на скамье подсудимых сидел реальный человек — Бейлис, но проходили долгие дни, когда имя Бейлиса не упоминалось и на суде появлялись Эттингеры, Ландау, Шнеерсоны, как-то превращавшиеся из свидетелей в подсудимых, к которым уводила присяжных заседателей прокуратура от сподвижников Веры Чебыряк — Латышева, Сингаевского, Рудзинского. Проходили эксперты, говорившие долго и длинно о хасидах и цадиках, о Каббале и Талмуде, Загоре и не говорившие ни слова по поводу убийства Ющинского.

Часто в долгие дни и вечера, которые я сидел в зале суда, мне невольно приходила в голову мысль: — зачем сидит тут в зале суда этот тихий, скромный человек в пиджачке, с наружностью обыкновенного конторского служащего, каким он и был. Чувствовалось, что это только бутафорская подробность в трагедии, развертывавшейся в зале суда, скучная подробность, от которой скучно и суду и самой обвинительной власти, редко вспоминавшей, что сидит тут реальный человек, неизвестно зачем просидевший два с половиной года в тюрьме. Думалось, что было бы умнее и декоративнее в бутафорском смысле взять просто с улицы любого еврея постарше, с более подходящей наружностью, более «прилично» одетото и более правоверного, который по крайней мере соблюдал бы еврейскую субботу, не соблюдавшуюся Бейлисом. И любому такому еврею можно было бы подыскать не менее тяжкие обвинения, чем Бейлису, которому вменялось в вину то, что он развозил мацу родным и знакомым от хозяина, у которого он служил.

И само дело убийства мальчика надолго уходило из залы суда, чтобы посадить на скамью подсудимых еврейский народ, еврейскую религию. . . Цадики, хасиды. . . Хасиды, цадики. . . Шнеерсоны. . . Талмуд, Каббала. . .

И все это было глубоко невежественное, люди перекидывались словами, не зная их смысла. Ссылались на еврейские книги люди, не читавшие их, не понимавшие их. Серьезно цитировался Неофит, утверждавший, что четыре раза в год с неба падает кровь на еврейскую пищу. И эксперты под Неофита. . . Пронайтис, вздыхавший на суде об отсутствии пытки, которая в былые времена так хорошо вскрывала истину — оказалось на суде — не знал, что содержится в еврейских книгах, на которые он ссылался. Долго на суде цитировалась фраза, не помню из какой старо-еврейской книги: «лучшего из гоев убей». Но вызванный эксперт профессор духовной академии Троицкий, знаток старой еврейской литературы, заявил, что в книге к фразе прибавлено «на войне».

Чувствовалось, что люди обвинения не верили сами в то, что они говорили, в дело, которое они делали. И суд, и прокурор, и эксперты, и самый злобный из обвинителей — Замысловский. Только два человека показались мне искренними. Студент Голубев и старик присяжный поверенный Шмаков. Студент Голубев видимо верил, в версию убийства Ющинского. На суде он наивно сознавался, что узнал все про хасидов и прочее из географии. Повидимому, он был оглушен антисемитизмом. Киевский человек, хорошо знавший Голубева, в таком смысле говорил мне о нем и приводил в доказательство один случай. Нужно было Голубеву куда-то ехать, но он узнал, что та железнодорожная ветка, по которой ему предстояло ехать, в еврейских руках. Он не поехал и предпочел пойти пешком что-то около 80 верст.

Шмакова мало интересовал Бейлис и самый вопрос об убийстве Ющинского. Он был совсем особый исключительный антисемит. Он ненавидел евреев и все связанное с еврейским — религию, прошлое еврейства. На суде он погружался в историю, в средневековье и не смущаясь шел дальше — в Библию, в священное писание, к пророкам, к книге Левита, вплоть до жертвоприношения Авраама.

В самый разгар процесса в местной газете «Киевлянин» появилась передовая статья Шульгина с резким суровым протестом против всего дела Бейлиса и всего, что делалось на суде. Это был удар грома для суда, для приезжих обвинителей и для

киевских изуверных людей. Газета «Киевлянин» была резко правой, самый крупной из южных правых газет, своего рода южными «Московскими Ведомостями», к голосу которой прислушивалась и петербургская власть. И вот, возмущение и протест, резкое осуждение раздались оттуда, откуда ждали сочувствия и поддержки.

Трудно передать впечатление, которое произвела в Киеве статья.[1] Газету расхватывали. Предусмотрительные газетчики брали полтинник за прочтение статьи, какой-то проезжий в гостинице заплатил пять рублей за этот номер. И, конечно, во враждебном лагере сейчас уже закричали — я сам читал это, — что «Шульгин подкуплен жидами».[2]

Процесс лопнул, как раздутый мыльный пузырь. Бейлиса оправдали. Нельзя передать то волнение, в котором держало Киев последние дни процесса всеобщее напряженное ожидание — осудят Бейлиса или оправдают. Бейлиса оправдали.

Поздно вечером — я не дождался в суде объявления приговора — ко мне в номер, как буря ворвался коридорный мальчишка с криком! «Оправдали!» «Оправдали!» А на улице приходилось наблюдать необыкновенные сцены: обнимались и целовались русские с русскими и русские с евреями и была всеобщая радость, и долго не расходилась радостная толпа.

И пошли люди поздравлять и приветствовать Бейлиса, приходили соседи Бейлиса по Лукъяновке, приходили незнакомые русские люди. Русская торговка с базара принесла ему яблок, пришел православный священник, чтобы сказать, что он и семья его все время молились за него, Бейлиса.

---

[1] В виду ее значения я почти целиком протелеграфировал ее в «Русские Ведомости».

[2] После процессе я тоже получал письма, обыкновенно без подписи, из разных мест, с обвинением, что я продался жидам. В некоторых письмах говорилось: «Вы и Короленко». Один человек из Керчи обещал приехать в Симферополь и побить меня, чего впрочем не исполнил.

Быть может с неменьшим волнением, чем Киев, следила за делом Бейлиса и ждала исхода процесса вся читающая Россия. Я не помню процесса, который так захватил бы всех. Целые столбцы газет заполнены были телеграммами из Киева, статьями редакций, заявлениями местных людей. Было достаточно волнующего в тогдашней внутренней жизни России, неспокойно уже было и с международными отношениями, но дело Бейлиса отодвинуло текущие злобы дня и заполнило собой умы и сердца огромного количества читающих русских людей.

Была жалость по поводу великой неправды, творившейся с Бейлисом и еврейским народом, и на эту неправду горячо отозвались люди разных общественных слоев. Я следил тогда из Киева за газетными отзвуками. Появились статьи известных профессоров, людей науки, протестовавших против ненаучной политической экспертизы Труханова, Косоротова и Сикорского. Целые медицинские общества выражали свое негодование против вторжения политики в науку. Отзывалась и молодежь и рабочие кружки. Семь архиереев, много священников в той или иной мере высказывались за невинность Бейлиса и против легенды об ритуальном употреблении евреями христианской крови. Но дело не в одном этом — не только в жалости к Бейлису и еврейскому народу. Русские люди испугались за самих себя. Думаю не будет преувеличением сказать, что с введения судебных учреждений в 60-х годах не было такого цинического процесса, как дело Бейлиса.

И из самого возникновения дела, из продолжавшегося два с половиной года следствия, из всего того, что развернулось на самом процессе, люди увидели, что гибнет один из устоев гражданской жизни — суд, что нет больше суда, а есть только полицейская расправа и даже не полицейская, а своры темных диких никем на то не уполномоченных злобных людей.

В деле Бейлиса, как в фокусе, сказался тот развал власти самого государственного аппарата, та государственная анархия, о чем я писал. И на этом деле произошел своего рода смотр, кто за правительство и кто против правительства.

В. Г. КОРОЛЕНКО НА ПРОЦЕССЕ БЕЙЛИСА

Мы жили в одной гостинице с А. В. Пешехоновым, который также приехал на процесс Бейлиса. Скоро в самом начале процесса приехал из Полтавы В. Г. Короленко и устроился с нами в той же гостинице.

Ему нездоровилось и он отказался было приехать на процесс, но в конце концов не утерпел. Он не мог оставаться только зрителем, когда рядом с ним развертывалось еще более несправедливое злое дело, чем Мултанское дело, не внести в него своего сердца и разума.

Я виделся с ним года за два, за три перед тем и был удивлен, каким встретил его. Он как-то вдруг состарился. И кожа на лице была какая-то вялая, и морщины расползлись по лицу, и седина густо окрасила его буйные волосы. Был у него беспокойный блеск глаз, как у человека усталого и вместе с тем возбужденного, мало спавшего, не потушившего сном своего возбуждения. И задышка, — его давняя с детских лет, как он говорил мне, которую я наблюдал у него в Нижнем-Новгороде и Петербурге только в исключительные моменты, когда дело шло о дорогом волновавшем его вопросе, — теперь эта задышка очень часто стала повторяться у него.

К нему воротилась старая бессонница, которая когда-то долго мучила его в Нижнем и Петербурге. Он почти не спал. Сопровождавшая его в Киев жена его Евдокия Семеновна рассказывала мне, что после бесплодных попыток уснуть, он вставал в два, три часа ночи, зажигал электричество, садился писать, пока перо не валилось из рук и не забывался он на короткое время беспокойным, тревожным, не усыпляющим сном.

И все-таки он тотчас же отдался работе. Не обвинительные пункты против Бейлиса беспокоили его, они были зыбки и легковесны, и защита была в руках умелых, умных, лучших представителей русской адвокатуры — его тревожил состав присяжных заседателей. Он собирал точные сведения о присяжных заседателях, о том, как они фильтровались и подбирались для обеспечения вынесения обвинительного приговора Бейлису. Он ездил в Лукъяновку на место нахождения трупа Ющинского, расспрашивал тамошних осведомленных людей. Раз я встретил у него двух рабочих из Лукъяновки, пришедших познакомиться с Владимиром Галактионовичем и поделиться своими сведениями о роли Веры Чебыряк. Сидел целые дни на процессе, устраивал совещания с адвокатами.

Его здоровье очень беспокоило меня. Я уговорил Владимира Галактионовича согласиться на консилиум и пригласил одного из известных киевских профессоров терапевтов. Помнится, мы нашли у него миокардит, склероз артерий и глубокое расстройство нервной системы. Мы назначили ему лечение, установили режим и категорически запретили вставать по ночам и садиться к письменному столу. Часть — очень небольшую [1] наших предписаний он исполнил, но работу по изучению дела не прекращал.

Больше всего меня беспокоило предполагавшееся его выступление на процессе, в качестве защитника. Я чувствовал, что он затем и приехал из Полтавы, чтобы сказать свое слово этим подобранным присяжным заседателям. Я долго убеждал его отказаться от выступления, говорил о сердце его и о нервной системе, что волнение и задышка могут даже помешать ему говорить.

Он полусоглашался со мной, полуобещал, но я не очень верил ему и просил О. О. Грузенберга, чтобы он и товарищи его по защите ни в коем случае не допускали выступления Владимира Галактионовича, предупреждая, что на суде с ним может сделаться тяжелый сердечный припадок.

Владимир Галактионович не выступал на суде. Он так же, как и мы, может быть еще больше, чем мы, волновался последние дни

[1] Вл. Гал. очень небрежно относился к своему лечению. У него, как у Толстого, было несколько скептическое отношение к медицине. Через несколько месяцев после возвращения в Полтаву, он писал мне в Крым, что наконец собрался принимать прописанный нами в Киеве **Adonis Vernalis** и что лекарство это очень хорошо действует на него.

перед объявлением приговора. Я побежал к нему тотчас же, как услышал об оправдании Бейлиса. — Владимир Галактионович уже знал о приговоре и встретил меня радостный. Мы крепко обнялись и расцеловались, и слезы блестели на глазах у Вл. Гал.

Он скоро уехал по окончании процесса. Я виделся с ним и потом, но почему-то в памяти моей ярче всего осталось именно это киевское лицо с беспокойным блеском глаз, усталого, волнующегося, задыхающегося от волнения человека.

А потом он писал мне. Кругом него неотступно стояла русская неправда, и неотступно бился он против неправды, против зла, чинившегося над людьми. И так редко спокойные и радостные ноты проскальзывали в его письмах, и так часто грусть и печаль о начинающейся немощи смотрела из них.

ОПЯТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

На Южный берег Крыма доступ мне был закрыт. Царствовавший там генерал Думбадзе был дикий человек, не признававший узды своей дикой воле. Известно, что он приказал сжечь и разрушить дом в Ялте, из которого бросили в него бомбу, и казне пришлось заплатить довольно крупную сумму владельцу за разрушенный дом.

Ко мне он относился особенно яростно. Он зол был за мою статью, где я высмеивал нелепые распоряжения его, Думбадзе, и поведение его офицеров, и сказал моей дочери:

— Вот статья вашего отца у меня постоянно на столе.

И помимо того Думбадзе, повидимому, считал меня наиболее опасным человеком в его области и раз выразился моим ялтинским знакомым:

— Я доберусь до этого замка тайн. [1]

А в другой раз также в обществе дал такую реплику:

— Пусть Елпатьевский не думает приезжать сюда, мы его выпроводим отсюда живого или мертвого.

[1] То-есть до моего дома

После отбытия наказания в Петропавловской крепости, последние годы перед войной, я стал по зимам ездить за границу. Собственных денег на это у меня не было, помог случай. Нашелся человек И. И. Орановский, который предложил мне ездить с ним за границу в качестве врача на исключительно удобных для меня условиях. По летам он живал в Гурзуфе, где имел постоянную квартиру и где я познакомился с ним. Изредка я лечил его, но главным образом мы видались с ним по поводу его постоянного участия в устройстве приезжих нуждающихся больных, на что он давал мне значительные суммы. Он раньше предлагал мне такие поездки, но я не хотел покидать Петербурга в бурный период русской жизни, а теперь после болезни, перенесенной мною в крепости, согласился.

Условия, на которых мы ездили с ним за границу, были исключительные. Я не обязан был проводить какое-нибудь лечение, но только быть вместе с ним в его заграничных скитаниях на случай заболевания; заграничным врачам он не очень верил. Чтобы быть совершенно независимым, я выговорил себе право никогда не жить с ним там, где он останавливался — в роскошных заграничных отелях, которые так связывают жизнь, в которых так смертельно скучно, а устраиваться, как я любил, в небольших пансионах, где останавливались не иностранные путешественники, а местные люди. Мне оплачивались все мои расходы по путешествию и тот минимум, который нужен был для прожития моей жене.

И в сущности выбор места, куда ехать, зависел в значительной мере от меня. Мне предлагалось на выбор несколько комбинаций, и обычно мы останавливались на той, которая была желательна и мне. Однажды он звал меня или в Японию через Индию, или в Америку, где он не бывал раньше, но я не хотел надолго отрываться от России и выбрал Египет, [1] где он уже живал. Другой раз уже летнюю поездку мы сделали по

[1] Результатом поездки была изданная мною книга «Египет».

Швеции, Норвегии, Дании, Голландии и Бельгии, которые хотелось навестить мне. Жили в Ницце, в Биарице и в особенности в Риме, в Италии, которую я любил больше всех стран.

Иван Иванович Орановский, с которым я ездил за границу, был интересный, оригинальный и я бы сказал в некоторых отношениях поучительный человек. О себе, о своем прошлом он избегал говорить, но от общих знакомых, знавших его в молодости, я приблизительно представлял себе его историю. Кажется, из белорусской, шляхетской семьи шестнадцатилетним мальчиком он ушел из дому, чтобы по-своему, на свой страх завоевать жизнь. И завоевал. Вся жизнь его ушла на то, чтобы составить себе состояние, независимую жизнь. Он работал, как редко работают русские люди, не зная отдыха, не позволял себе ничего, что мешало бы поставленной им себе цели. Некогда ему было обзавестись семьей, пользоваться, так называемыми, развлечениями, удовольствиями, радостями жизни, — он никогда не был ни игроком, ни женолюбом, не пил вина. Орановский попал в горячечную работу железнодорожного строительства конца 60-х и 70-х годов, строил дороги вместе с Губониным, скупал леса, поставлял шпалы.

И достиг цели, нажил большое состояние и, когда достиг, оглянулся на свою жизнь и. . . затосковал. Оказалось, что он проглядел жизнь, играл впустую. Он был совершенно одинок. Семьи у него не было, его товарищи по работе или перемерли или оказались далеки и чужды его духовной жизни. Он был настолько одинок, что когда составлял в Петербурге во время болезни духовное завещание, он назначил душеприказчиками меня и моего родственника, с которым познакомился у меня.

И он перестал делать деньги, у него не было уже дела, которое наполняло бы одинокую жизнь, он метался в тоске и скуке по миру из Петербурга в Остенде, в Биариц, в Гурзуф, в Рим, Неаполь, в Скандинавию. . . Он был широко образованный человек,

интересовался наукой и прогрессом техники, общественными и политическими движениями, литературными и художественными исканиями, всем тем, чем билась современная жизнь, но ему уже было около 70-ти лет, и он стоял только зрителем жизни, не принимая в ней участия.

И вместе с тем рядом с тоской одиночества и не использованной жизни, в нем проснулась особо острая жажда к жизни, вместе с материальной сытостью проснулся умственный голод, жажда удовлетворить запросы духа, которые ему некогда было удовлетворять в его деловой жизни. Большую радость из тех немногих, которые оставались ему в жизни, давала музыка. Как в Петербурге он неизменно бывал на интересовавших его публичных лекциях, так в Петербурге, в Париже, в Ницце, в Брюсселе, в Риме он не пропускал ни одного крупного симфонического концерта. Он был лично знаком с Чайковским, одно время был близок с Скрябиным. Был тонкий ценитель музыки, глубоко понимал ее и, помню, удивлялся, когда я говорил, что не понимаю Скрябина второго периода его творчества.

Орановский составил себе крупное состояние и не знал, что делать с ним, как употребить его еще при своей жизни. Повидимому он выработал себе особую теорию. Люди, сильные люди мощной воли должны концентрировать богатства и творить жизнь, которую не могут творить немощные ординарные люди, и, создавши богатства, отдавать обществу и государству то, что они получили от него. Он часто в разговорах упоминал об американских миллиардерах, создавших многомиллионные научные институты, об Англии, где частная инициатива играла такую большую роль в творчестве жизни. Раз он сказал мне, что на лекции профессора Янжула, говорившего, об использовании богатыми людьми своего богатства, он услышал то, о чем он всегда думал. . .

Орановский рассовывал свои деньги и в Петербурге, и в Ницце, и в Риме по разным благотворительным учреждениям, но как умный человек он знал, что деятельность этих обществ была жал-

кая и немощная и что его деньги — жалкая помощь. Он мечтал о создании большого общественного дела, которое удовлетворило бы его. Мне он передавал значительные суммы на разные дела. На революцию я и не спрашивал у него.

У него было двойственное отношение к революции. Как очень умный человек он понимал, предчувствовал неизбежность ее, но выводы, которые нужно было сделать из революции, отталкивали его и он не умно искал и ждал каких-то обходных путей. У меня не раз возникали с ним споры по рабочему вопросу. Он признавал, что положение пролетариата непереносно, что эксплуатация труда капиталом глубоко несправедлива и неоправдываема, и вместе с тем возмущался некоторыми сторонами рабочего движения и смутно говорил о возможности, о необходимости прекращения классовой борьбы, о каком-то будущем всеобщем компромиссе. Но охотно помогал людям, людям, очутившимся за границей в тяжелом положении. Раз, узнавши от меня о тяжелом положении эмигрантской семьи в Ницце, он передал мне несколько сот франков; в другой раз, узнавши, что я посылаю от себя деньги оставшимся в Сибири товарищам по ссылке, он предложил присоединить и его деньги. И просто давал деньги, не расспрашивая, кому они нужны. . . В Риме я встретил молодого юношу еврея, занимавшегося скульптурой, которым одно время — я знал — интересовался скульптор Гинзбург, буквально голодавшего, спавшего зимой в холодной мастерской, где приютил его итальянец скульптор. Орановский стал выдавать через меня ему стипендию.

Одно время он очень заинтересовался положением русских туберкулезных в Давосе.

Мне давно хотелось повидать Давос, познакомиться с его санаториями, их режимом и результатами лечения в Давосе. Там лечилась моя пациентка из Карасубазара, тяжелая больная, направленная мною в Давос. Она, хорошо поправлявшаяся в Давосе, помещалась в одной из самых дорогих санаторий, я часто бывал у нее и успел близко познакомиться с режимом и порядками жизни, хорошо устроенных давосских санаторий, но меня заинтересовало особенно устройство русских в Давосе.

Их тогда там много оказалось. Помимо состоятельных, живших в дорогих санаториях, там скопилось много людей с малыми средствами, в роде тех, которых мы устраивали в Ялте. Там также оказались добрые люди, взявшие на себя заботу об устройстве малоденежных больных на средства, которые они успели добывать сборами, концертами и всякими вечерами, были слабые и такие больные ютились очень тесно в нанятой небольшой вилле, плохо приспособленной для санаторного лечения.

Состав больных удивил меня. Кроме эмигрантов, рабочих, студентов, оказались даже крестьяне из России, каким-то образом проведавшие о Давосе и с великими жертвами добравшиеся до него. Один из них, крестьянин Киевской губернии, рассказал мне, что он узнал от сельского учителя о Давосе и его чудодейственном влиянии на туберкулез и, как упомянутый мною раньше вологодский крестьянин, перебравшийся из своего Кадниковского уезда в Ялту, продал часть своей земли и приехал в Давос. Он очень поправился, но деньги его подходили к концу, и он тосковал, что ему придется уехать не долечившись. Были и одиночки, не попавшие в этот пансион, плохо питавшиеся и ютившиеся в дешевеньких комнатках Давоса. Наиболее деятельное участие в устройстве русских нуждающихся больных и в заботе о них принимал энергичный и активный добрый доктор Виктор Евсеевич Вейнштейн, сам ушедший от могилы только благодаря Давосу. [1] Благодаря Виктору Евсеевичу я более или менее подробно познакомился с нуждами Давосской русской колонии.

По возвращении в Ниццу я рассказал Орановскому о русских больных туберкулезных в Давосе, говорил, что и англичане и немцы устроили в Давосе прекрасные санатории для своих сооте-

---

[1] Впоследствии к нему присоединился доктор Микушевич, столь же ревностно взявший на себя заботу о нуждающихся русских больных.

чественников, и только русские, преимущественно эмигрантская публика, не могущие лечиться у себя на родине в Ялте, должны ютиться в плохоньких неприспособленных помещениях. Орановский заволновался, как всегда волновался, когда ему предстояло спешное нужное дело, и захотел сам съездить в Давос вместе со мной. В ту же зиму мы поехали в Давос.

Орановский всегда ставил условием никогда не упоминать его имени и просил меня и нашего товарища по путешествию О. А. Колосовскую вести все переговоры. Я устроил с давосскими людьми совещание, на котором выяснилось, что кроме текущих прорех в их бюджете, единственное решение вопроса — покупка собственной виллы, где можно было бы устроить настоящую санаторию. Орановский заполнил нужные прорехи, между прочим уплатил вперед за долечивание упомянутого киевского крестьянина — и обещал дать некоторую помощь для покупки дома и снабжать в будущем средствами для содержания особенно нуждающихся.

Как деловой человек, он поставил одно условие, чтобы образовался комитет, в который вошли бы не только давосские люди, временно проживающие там, но и авторитетные лица, живущие постоянно за границей. Я съездил в Цюрих и легко сговорился с жившим там бывшим московским профессором Эрисманом об его участии в комитете; согласился войти в него и доктор Членов, давно поселившийся в Швейцарии. Через меня Орановский передал на давосские нужды, помнится, около семидесяти тысяч франков, большая часть которых пошла на покупку дома для русской санатории. Мне еще раз пришлось съездить в Давос и участвовать в выборе дома, кажется, он назывался вилла Мария.

Я не знаю дальнейшей судьбы русского дома. Нахлынувшая на Россию и Европу война спутала все планы и предположения. Не знаю кто — за отъездом в Россию доктора Венштейна и работавшего вместе с ним доктора Микушевича — остался в Давосе из деятельных русских людей, успевали ли они и могли ли

ли вносить срочные платежи за купленный дом, но знаю, что Орановский и после, когда жил за границей без меня, продолжал интересоваться Давосом и оказывать ему помощь.

Маленькое давосское дело не удовлетворяло Орановского, он мечтал о большом крупном предприятии, которое поглотило бы его всего. Одно время он облюбовал, было, такое дело. За время жизни моей в Ялте, у меня образовались планы широкого использования Крыма для больных России. Был проект устройства двух санаторий для земских и фабричных учителей и учительниц в Селяме около Ялты, завещанном умершим владельцем Орловым-Давыдовым на благотворительные дела. Одно время дело казалось возможным, так как один из душеприказчиков Петр Дмитриевич Долгоруков соглашался на такое использование Селяма. Был у нас, ялтинских врачей, проект устройства всероссийского санатория для врачей, что, хотя и в небольшом размере, было достигнуто; но больше всего занимал меня вопрос об устройстве образцовой санатории для крымских татар и для мусульман вообще. Я проектировал устроить совсем особую по стилю и общему тону санаторию, которая исходила бы из привычного татарского жилья, но вместе с тем устраняла бы вредные минусы его, которая бы и по характеру питанья и жилья и режима не только бы вылечивала бы больных, но и служила бы показателем, как нужно жить.

Орановский заинтересовался и учительскими санаториями, но особенно схватился за татарскую санаторию. Ему очень нравились крымские татары, он считал, что мы, русские, привили туберкулез крымским татарам и что такая санатория есть некоторая расплата за это наше зло. Когда я предупредил Орановского, что такая санатория будет стоит значительных средств, — я считал, что нужно будет около ста тысяч, он нетерпеливо отмахнулся рукой.

— Это второстепенное дело. Нужна земля, точный план и смета

О земле он начал было уже хлопотать. Я сообщил ему, что продается имение Ласпи, наследников Вассал, о котором я го-

ворил выше, около пяти сот десятин, приблизительно за триста тысяч. Орановский посылал в Одессу доверенное лицо разыскать Вассала, но тот Вассал, который уполномочен был продать имение, был за границей и доверенный человек вернулся ни с чем. Я не знаю в точности, как хотел использовать это имение Орановский, но, насколько я понимал, он хотел привести имение в курортный вид, где разные общественные учреждения могли бы устраивать санатории, а самому создать только санаторию для татар. [1] А потом наступила японская война — наш разговор был перед самой войной, — а за японской войной пошла та разруха, при которой трудно было строить определенные планы, и Орановский начал дольше жить за границей и реже появляться в Россию.

ОЗЕРОВ

Последние две зимы, проведенные мною в Ницце, я прожил в семье старого, можно сказать древнего, эмигранта, характерного во многих отношениях для старой эмиграции. Мы очень подружились, и он мне рассказал свою историю.

[1] Мысль о создании особой санатории для татар явилась не у одного меня: в Кореизе работал доктор К. А. Михайлов, идеальный земский врач и редкий по духовной ценности человек, создавший в Кореизе прекрасно обарудованную больницу. Когда я познакомился с ним и рассказал о своем неудавшемся плане — мысль эта не покидала меня, — оказалось, что он тоже давно мечтает об устройстве именно такой особой санатории для татар и уже успел получить от владелицы в Мисхоре Долгоруковой прекрасный участок для санатории; вел переговоры с архитектором о выработке плана санатории. Оказалось, что мы встретились с ним и в другом проекте — создать кумысо-лечебное заведение на Яйле, откуда можно бы было снабжать кумысом всех южно-бережных больных, увеличить тем лечебные средства, а главное избегнуть случавшейся необходимости отправлять некоторые категории больных из Южного берега на кумыс в Уфимскую губ. Он и здесь уже сделал практические шаги. По его просьбе знакомый ботаник исследовал растения Яйлы, и Михайлов показывал мне обстоятельнейший доклад — я уверен — сохранившийся в бумагах покойного Михайлова, причем оказалось, что во флоре Яйлы было много общего с уфимской степью.

Его отец был жандармский генерал в Крыму, типичный службист времен Николая 1, суровый, даже, судя по некоторым рассказам Озерова, жестокий. У них было большое имение, свыше двух тысяч десятин под Карасубузаром, которые брат Озерова промотал, ничем не поделившись с эмигрантом-братом.

Как полагалось, Озеров получил образование в военном училище и выпущен был офицером в кавалерийский, кажется, в драгунский полк, но, как не полагалось, но нередко случалось в русских семьях, мать была не николаевского уклада, прогрессивных взглядов, любившая литературу, не угнетательница. Озеров с нежностью вспоминал об ней. И сын, как тоже не полагалось, но нередко случалось, не пошел по стопам отца. Он мне рассказывал, — то было время конца 50-х годов, разгрома России под Севастополем, пробуждения общества, веяния нового вольного духа. Сказалось это и в молодом офицерстве. Образовались кружки для обучения солдат, изменилось отношение к нижним чинам, зачитывались новыми журналами и газетами, входило в молодые души и жадно впитывалось то новое и светлое, что, казалось, начиналось для России и прежде всего великое дело освобождения крестьян от крепостной зависимости.

И кончилось тем, что кавалерийский ротмистр Озеров, сын своего отца, в 63 году уже командовавший эскадроном во время подавления польского восстания, вместо ловли и расстрела стал спасать несчастных поляков и всячески помогать им. Дело было грозное, Озерову предстоял военный суд с вероятным решением расстрела, и выручил его только великий князь Константин Николаевич, лично знавший Озерова, как-то устроивший ему отставку и спасший от военного суда.

Озерову все-таки пришлось эмигрировать. Начались долгие скитания по Европе, между Швейцарией, Италией и Францией, поиски работы, бродячая жизнь. Одно время он устроил вместе с русскими и польскими эмигрантами в Париже сапожную мастерскую, пользовавшуюся в Париже известностью. Заказчиками

были Гамбетта, Жюль Фавр, и другие политические оппозиционные деятели Франции.

Озеров был знаком со всеми тогдашними крупными эмигрантами. Был близок с Герценом и одно время учил его детей, был знаком с Бакуниным, дружил со швейцарскими и особенно с итальянскими революционерами. С Бакуниным за несколько месяцев до парижской коммуны он делал революцию в Лионе, провозглашал коммуну и захватил вместе с лионскими революционерами лионский Hôtel de ville. . . И еще долго скитался. Долго был учителем в богатой русской семье.

А потом стареть стал, перестал бунтовать, поселился на постоянное житье в Ницце и жил уроками, которые давал детям богатых русских людей, проживавших в Ницце.

И не только русским детям. Озеров много рассказывал мне об уроках русского языка, которые он давал экзотическому человеку—индусу, сыну и наследнику Лагорского магараджи. Его отец был самостоятельный владетельный князь Лагора, англичане завоевали Лагор и завладели ценностями магараджи. Один мундир отца, усыпанный драгоценными камнями, по рассказам сына стоил много миллионов фунтов стерлингов. Его, единственного сына и наследника престола, мальчика 16 лет, увезли в Англию и поместили в Оксфордский университет. Когда кончил он университет, его женили и назначили огромную пенсию; но он, выкормец Оксфордского университета, не сделался англичанином. Он помнил, что он индийский магараджа и что там ждет его престол великолепного Лагора и задумал заговор.

У него явилась мысль освободить Индию от англичан при помощи русских, у которых были в Азии сталкивающиеся с англичанами интересы. Он послал доверенного человека, индуса, европейски образованного, в Москву, в Московские Ведомости, для переговоров с Катковым о плане завоевания Индии. По его словам Катков заинтересовался проектом, но служивший переводчиком и посредником секретарь Московских Ведомостей за большую сумму сообщил о переговорах наследника магараджи английскому правительству.

Дело кончилось плачевно для магараджи; жена разошлась с ним и оставила при себе двух детей, а он выслан был из Англии и жил в Ницце, в роде, как в ссылке, под надзором английского правительства. Выдававшаяся ему пенсия была резко понижена, и он скромно жил с единственным слугой и другом индусом — парсом.

Свою мысль о восстании Индии он не покидал и изучал русский язык для того, чтобы ему самому поехать в Петербург, и минуя посредников, говорить о своем деле с русскими государственными людьми. Он уверял Озерова, что достаточно проникнуть в Индию — Афганистан пропустит — одному, двум кавалерийским полкам, чтобы Индия восстала и прогнала англичан.

Когда я жил у Озерова, он был уже старый, больной тяжелым артритом, далеко продвинувшимся склерозом артерий. Уроками заниматься не мог, так как не выходил из квартиры и дома целыми месяцами лежал в кровати не вставая. Семья жила на маленькое жалованье, которое получал сын, служивший в банке, и на то небольшое, что умела жена, умная энергичная француженка извлекать из сдачи трех комнат своей небольшой квартиры приезжавшим на зимний сезон преимущественно русским людям.

Старика Озерова угнетала мысль, что он лежит тяжелым бременем на руках сына, бросившего мечты о высшем образовании из-за необходимости не покидать отца и матери, уже тоже старой женщины, мысль что он умирая не оставит им ничего кроме долгов, которые делала семья. И он создавал проекты, непрестанно проекты. Когда я входил к нему в спальню полечить его, то заставал его лежащим на кровати и пишущим. Он писал в Крым, и на Кавказ, писал французским, английским предпринимателям. Проекты были самые разнообразные: вывезти татарские туфли из Бахчисарая, шелковичные коконы из Кавказа. Один проект совсем было удался. Он образовал компанию по доставке

*

с Кавказа морем овец во Францию, и овцы уже были погружены, но судно с овцами затонуло во время бури в Адриатическом море.

Он был высокий худой с длинным носом. Тела было мало, а костей много, и кости выпирали острыми лопатками и ключицами и длинными узловатыми руками из натянутой кожи высохшего тела. И когда изредка сползал он с своей кровати, он ступал большими шагами своих длинных негнувшихся ног, как кавалерист, только-что сошедший с седла и расправляющий ноги.

Я не встречал другого человека, с которого так просто и легко можно было бы рисовать Дон-Кихота. И не только по внешности. Он так же начитался и наслушался русских рыцарских слов и с ними пошел в мир.

И так же непрактичен и беспомощен был в личной жизни, и нужно было, чтобы кто-нибудь думал, заботился о нем. Он и жена его рассказывали мне, как они поженились. Умирала от туберкулеза первая жена Озерова и перед смертью позвала к себе француженку, гувернантку в той русской семье, где был учителем Озеров, и умоляла исполнить ее предсмертную просьбу, — выйти замуж после ее смерти за Озерова. Говорила, молила, что Озеров не умеет заботиться о себе, что нужна хорошая женская душа около него. И француженка исполнила ее просьбу.

Он скоро умер, этот хороший русский человек.

Резко изменились количество и состав русской эмиграции. Бежали из России интеллигенция, рабочие, матросы с «Потемкина» и др. кораблей. Бежали после московского восстания, после разгона «второй» Думы, после всяких бунтов, бежали от Столыпинского «успокоения», появлялись успевшие убежать из сибирской ссылки. В одной Франции тогда насчитывали около двухсот тысяч эмигрантов.

Большинство размещалось в Париже, в крупных промышленных центрах, где легче было найти какую-нибудь работу, но появились нового типа русские жители в Ницце. В большинстве больные, они ютились в дальних улицах, в сырых и холодных

комнатах — некоторых мне приходилось лечить. Изредка удавалось достать работу — медицинскому персоналу — уход за состоятельными больными. Старый доктор Эльсниц умер, поддержку русским оказывал русский доктор Вальтер, из-за семейных дел принужденный переселиться из Харькова в Ниццу. Появилась в Ницце даже русская аптека, устроенная эмигрантом грузином Тумановым, организовалась русская читальня и библиотека, руководимая шлиссельбуржцем В. Ч. Ивановым. Как-то я встретил в Ницце даже двух ялтинцев, бежавших из Ялты после манифеста.

И было совсем особое отношение иностранцев к беглым русским революционерам. Западная Европа с лихорадочным вниманием следила за развертывавшимися после царского манифеста событиями в России, за непрекращавшейся революционной борьбой. Русский царь, единственный бесконтрольный, самодержавный монарх в Европе, который всякую минуту по мановению руки мог поднять и двинуть на кого угодно громадную Россию, стоял перед Европой как вечная угроза. И к людям, которые стремились свергнуть этого колосса, Западная Европа относилась с огромным любопытством и с значительной симпатией.

Наиболее ярко сказывались эти симпатии среди западноевропейских рабочих. В Париже и других центрах французские рабочие охотно устраивали на заводе русских рабочих. В особенности горячо принимались русские беженцы в Италии. Эмигранты рассказывали мне, что в Милане, в центральном доме рабочих организаций русским эмигрантам-рабочим предоставляли временно бесплатно квартиры и стол. Беглых матросов с «Потемкина» и других кораблей сердечно встречали в Генуе, и генуэзские моряки легко устраивали беженцев-матросов на океанские пароходы.

И не одни рабочие. В Риме я снял меблированную комнату в семье римского архитектора и, так как мне скоро пришлось лечить дочь архитектора, у меня образовались дружественные отношения с семьей. Меня стали приглашать на поздние обеды —

ужины, и я познакомился с четырьмя молодыми социалистами, столовавшимися в этой трудно перебивавшейся семье. Все время они засыпали меня вопросами о том, что делается в России. Старший из них, только-что окончивший юридический факультет в Риме, хорошо для итальянцев знавший сочинения Толстого и Достоевского, говорил, что он высоко ценит великого Льва Толстого, но что тайна его сердца был Достоевский, неподражаемый, беспримерный, по его мнению, в мировой литературе всех веков. Молодые социалисты говорили, что они давно напряженно следят за революционным движением в России, упоминали, что они читали «Плеханов», и почтительно произносили его имя.

Большой интерес вызывал к себе, проживавший тогда на Капри Максим Горький. Я был у него там два раза. Второй раз мы поехали втроем — с Фроленко и женой его. На Капри оказалась целая русская колония, полна народу была вилла, где жил Горький, и бывали у него не только русские, но и иностранцы. Между прочим, я застал у него француза композитора, сочинявшего оперу, не помню на какое из его произведений.

Совершенно исключительным вниманием и уважением окружена была в Париже Вера Николаевна Фигнер. На многолюдном собрании в честь ее приветственную речь говорил Анатоль Франс. Я был на другом собрании, где председательствовала Вера Николаевна и Пресансе говорил речь о русских тюрьмах. Огромный зал был полон русскими и французами, были американцы и англичане, хотевшие видеть, ставшую мировой известностью русскую женщину. Места не хватило для всех, толпа оставалась на улице, и я с трудом проник в зал.

Поднимался огромный интерес к России в ее литературе, ее искусству. Тогда еще не начинался, вспыхнувший потом в Европе культ Достоевского, но не только Толстой, покрывавший своей огромностью писателей всех стран, переводились Короленко, Максим Горький, Чехов и др. Особенный интерес возбуждала русская музыка и русский балет. Я помню восторженные статьи французских газет, когда в первый раз поставлена была в Лионе

опера Борис Годунов. В то время, про которое я рассказываю, за ближайшие годы перед мировой войной, кроме Чайковского, давно уже облюбованного Западной Европой, особенным успехом пользовался Мусоргский, и начинал привлекать к себе большое внимание Скрябин.

И русский балет и Шаляпин имели беспримерный успех во Франции.

ПЕРЕД ВОЙНОЙ.

Война давно носилась в воздухе. В особенности в последние два, три года слухи о возможности, о близости войны наростали все более и более.

К этому шла вся жизнь Европы. Лихорадочно расхватывали по кускам африканскую землю и африканских людей западно-европейские страны. В Африке, в Китае, в Южной Америке, во всем мире, столкнулись плечом к плечу, шел раздел мира, и мир становился тесен для Европы.

И были старые счеты, незабытые обиды, незажившие раны. Поражало меня, я бы сказал, обще-европейское враждебное отношение к Германии и к немцам вообще. Германия страшно росла и опережала другие страны своею промышленностью, она била своими товарами другие страны, но и чувствовалась нота, так сказать, личной, национальной неприязни. Отношение французов, никогда не мирившихся с потерей Эльзаса и Лотарингии, было ясно, просто и понятно. Труднее было понять какое-то насмешливо-враждебное отношение итальянцев к немцам. Слово «тедеско» звучало неприязненно в Риме. Мне приходилось слышать это в толпе по поводу проходивших немцев, не раз я с удивлением слушал, как приказчики в магазинах провожали именно этим насмешливо неприязненным словом «тедеско» ушедшего из магазина покупателя немца. Быть может здесь сказывались именно старые обиды, незаглохшая память об австрийских тюрьмах, в которых долго томились итальянцы, боровшиеся за свою свободу. Но наиболее обостренное отношение было у англичан

к немцам. Дело доходило до того, что в Ницце англичане отказывались останавливаться в отеле, где жили немцы, и ницкие французы жаловались мне, что именно из-за усиливавшегося, за последние годы, наплыва немцев на французскую ривьеру, англичане стали обходить Ниццу и обосновываться на итальянской ривьере, уезжать в Египет. То же было и в Египте. В швейцарско-немецком отеле, где я жил в Каире, были только немцы и русские, наоборот были дорогие чисто-английские отели, где под благовидными предлогами не пускали немцев. И на пароходе, на котором мы ехали по Нилу в Луксор, немцы очень скоро должны были выделиться в особую группу, англичане и французы сгруппировались в другой части парохода и не разговаривали с немцами. Я уже рассказывал об инцинденте, происшедшем в том римском отеле, где жил Плеханов.

Над правительствами стояла высшая власть капитала, но были два носителя власти, к которым с тревогой присматривалась Европа, — Вильгельм II и Николай II. Один, начавший свое царствование изречением: «Sic volo, sic jubeo», [1] с некрепко поставленной головой, без задерживающих центров, экспансивный дилетант, фельетонист на престоле, долго импонировавший Европе своими императорскими жестами, мечтавший о лаврах Наполеона и Александра Македонского и оказавшийся в конце концов, по воспоминаниям близких людей и его собственного сына, маленьким, серым и плоским человеком, — другой — тростник, колеблемый ветром, всеми ветрами, что крутились вокруг него, и в то же время самодержавный царь грандиознейшей в мире империи и тоже не в меру своего роста мечтавший о победах и завоеваниях. И оба они были страшны другим странам теми силами, во главе которых они стояли, и теми возможностями и неожиданностями, которых всегда приходилось ждать от них.

В последний раз я поехал за границу с моими постоянными

[1] Так хочу, так приказываю.

спутниками перед самой войной. Мы отправились через Финляндию в Стокгольм, побывали в Христиании, в Норвегии и застряли на неделю в Копенгагене.

Случайно я встретился здесь с сибирскими кооператорами, с крестьянами с Алтая и из Томской губернии — с маслоделами, отправившимися, кажется, делегированными сельскохозяйственными союзами для изучения крестьянского хозяйства в Дании и Англии. Это были очень интересные люди, я проводил с ними большую часть моего времени. Мне было любопытно слушать их впечатления от датского мужика, не только от хозяйства его, но и от него самого, датского мужика, его домашней обстановки, его семьи, где дочки становились учительницами, а сыновья инженерами и докторами, что, кажется, больше всего заинтересовало сибиряков.

Я обещал проводить их на пароход, на котором они должны были ехать в Англию, и как раз утром прочитал известие об убийстве австрийского крон-принца и жены его. И когда сообщил это известие отъезжавшим сибирякам, на их вопрос я уверенно ответил: будет война.

Мы тем не менее поехали дальше, пожили в Голландии и приехали в Остенде, где я прочитал ультиматум, предъявленный Австрией Сербии. Для меня было несомненно, что это начало войны. Мои спутники были другого мнения и уговаривали меня ехать с ними на лето в Грац, но я через несколько дней уехал из Остенде.

Газеты были полны тревогой, но в населении, на внешней жизни — это ни в чем не сказывалось. Все было тихо и мирно. Остенде, как всегда в купальный сезон, было битком набито и бельгийцами и французами, немцами, англичанами и русскими; и все это жило привычной курортной жизнью, — люди купались, нагуливали на набережной аппетит к завтраку, ходили в концерт, вели крупную игру.

И в Берлине, где я остановился на два дня, было как всегда шумно и людно, и мне показалось — весело. Русские студенты,

с которыми я случайно познакомился в меблированных комнатах, где я остановился, пригласили меня участвовать в поездке в окрестности Берлина. Был праздник, по реке бегали такие же маленькие пароходики, как и тот, который мы наняли, и, встречаясь, мы и немцы обменивались приветствиями. В загородном кабачке мы кутили по-немецки, на весь двугривенный, а когда люди развеселились и стали танцовать, в наше отделение набились немцы, очень одобряли русскую пляску и мило и любезно беседовали с нами.

На обратном пути те же взаимные приветствия с встречавшимися пароходиками. . . И одно время мне невольно подумалось, что я преувеличиваю опасность, что может быть и на этот раз дело окончится бумажной войной, взаимными угрозами и во всяком случае было невозможно думать, что через какие-нибудь две недели русские и немцы вцепятся в горло друг другу и что стихийно вспыхнет массовая злоба между странами.

А через десять дней после возвращения моего в Крым в Отузы война вспыхнула.

Было чудное крымское утро, тихое, безоблачное утро 18 июля, когда на улице Феодосии, куда я приехал по какому-то делу, я встретил бледного, испуганного, почти бежавшего председателя земской управы, бросившего на ходу, не сразу показавшиеся мне страшными, слова:

— Всеобщая мобилизация. . .

И сразу все замерло. Остановилась вся жизнь. Не ездили извозчики в городе, без покупателей стояли магазины, остановилась служба в гостиницах, прекратилась работа на виноградниках в имениях, на хуторах оборвались песни. Наступила странная тишина, жуткая и напряженная. Молчали люди. Плакали женщины и дети, мужчины молчали и с суровыми лицами, молча шли на сборный пункт. Пьяный садовник в Отузах, оставлявший большую семью, кажется участвовавший в японской кампании, собрал толпу и ругал скверными словами царя и все начальство.

Его не тронули, но толпа молчала, и неизвестно было, что она думала. Дворник из соседней дачи сначала говорил было, что народ не пойдет воевать, а когда народ пошел, стал говорить:

— Ну теперь пойдем, а только воротимся — земля наша будет.

Других протестов в наших местах не было. Я читал тогда много газет, повидимому везде — помню известия с Волги — было приблизительно то же. Водка была запрещена, не слышалось разухабистых песен, пьяного бахвальства. Плакали женщины, плакали дети, молчали мужчины и молча шли. И конечно дело было не в одном запрещении водки. Смутным массовым чувством люди сразу поняли, что это не японская война, что надвинулось что-то огромное, тяжелое и неимоверно трудное. И народ шел, потому что ничего не поделаешь — надо итти. [1]

Через месяц я видел в Балаклаве этих призванных по всеобщей мобилизации. За месяц с них спал садовнический, извозчичий, деревенский облик. Хорошо одетые, с ранцами, ружьями и баклагами, стройно шагавшие в ногу с горластыми песнями, — они были уже солдатами.

То был обыкновенный армейский пехотный полк. И было в нем, в солдатских лицах, в манерах, в поступи нечто новое для меня, чего я не видел в солдатской толпе за тридцать пять лет перед тем в турецкую кампанию, когда мне приходилось студентом-медиком работать в кавказской армии. Тогдашняя толпа была более серая, тогда было общее слитное неразделенное солдатское лицо в толпе. Было общее и теперь, общерусское солдатское лицо, так резко отличное от немецкого или французского солдатского лица, но люди были более индивидуальны, было больше определенности и отделенности солдатских лиц. Быть может потому,

---

[1] Я поместил под таким заглавием в Русском Богатстве статью об этом массовом крестьянском настроении. Статья вышла изуродованная цензурой с большими пропусками и кажется многих не удовлетворила. Помню один из русских крупных беллетристов упрекал меня при встрече в Москве за то, что я будто бы снизил настроение масс и не отметил национального воодушевления.

что полк состоял из южно-русских людей, более индивидуализированных, чем население коренной России. И обращали на себя внимание более смелые глаза, новая манера держать голову, новые, не семидесятых годов, солдатские лица.

Армейское офицерство давно перестало быть дворянским. Разночинцы были, насколько мне удалось узнать, и офицеры этого полка, начиная с полкового командира скромного человека, тихо и незатейливо жившего рядом со мной в гостинице. [1]

Думаю, не у одного меня было определенное представление об исходе начинавшейся войны. Свежа была память об японской войне, и то новое, что успевало проникать в газеты и что приходилось слышать в Петербурге, говорило за то, что правительство все забыло и ничему не научилось и что общая русская разруха была и в военном деле, в интендантстве, в назначениях на ответственные посты. И тем не менее, когда я видел этих хорошо одетых, сытых, горластых солдат с смелыми глазами, великолепно проходивших с песнями мимо моих окон, иногда я невольно думал, что я слишком пессимистично смотрю в будущее и недооцениваю силу русской армии.

Как-то я передал свои впечатления знакомому капитану этого полка, скромному молчаливому человеку средних лет, — он был любитель русской литературы, и мы часто встречались с ним в библиотеке и читальне.

— Да, народ хороший. Солдат правильный, а что будет — бог весть. Пока одеты, обуты, а что там будет на фронте — дело мудреное. . .

И, когда мы гуляли с ним на набережной, он обстоятельно рассказал мне о сравнительных технических условиях русской и германской армий, сколько пулеметов на роту полагается у немцев и сколько имеется у нас, рассказывал, какой замечательный кадр унтер-офицеров немецкой армии.

[1] Долго спустя я прочитал его фамилию, теперь ушедшую из моей памяти, как командира, сделавшего со своим полком блестящий подвиг в одном из сражений, кажется, на юго-западном фронте.

Я не помню цифр и отдельных подробностей из разговоров с капитаном, но потом, когда развернулись во всей наготе неподготовленность и техническое убожество нашей армии в сравнении с немецкой, я часто вспоминал моего балаклавского знакомого и поневоле думал, что этот скромный армейский капитан гораздо лучше был осведомлен о том, с чем шли мы на войну, и вернее расценивал положение вещей, чем царь и военное министерство.

А Россия шла суровая, молчаливая. Несла с собой думы крестьянские, рабочие думы, которые передумала за долгую жизнь и в особенности за последние годы. И были в ней люди, которые еще недавно устраивали «иллюминации» по деревням и выгоняли помещиков из имений, и были рабочие, что устраивали забастовки, организовывали тайные типографии с революционной литературой, и были городские люди, что недавно еще кричали: «Долой самодержавие». Шли разные люди.

Шла вся Россия. Молча шла.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

3 р. 50 к.

Переплет 25 к.